

В НОЧЬ С ПЯТНИЦЫ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Повесть

*А вот у поэта всемирный запой,
И мало ему конституций...*

Александр Блок

В СВОЁМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ...

...Да кабы не похмелье, так даванули бы мы «храповицкого» в тот день часиков до двенадцати. А тут – проснулись в четыре часа утра. Я-то, может, и поспал бы ещё, да поэт Серёга Донцов начал искать канистру с пивом.

– Сашка, – толкнул он меня в бок, – ты не помнишь, куда мы вчера по пьянке канистру засунули? Похмелиться не мешало бы.

Я открыл один глаз. Один, потому что второй открываться не хотел. В нашем двухместном номере международного спортивного комплекса «Олимпиец» стояли мягкие предрассветные сумерки. Они пробивались в комнату сквозь опущенные до самого пола и наглухо задёрнутые шикарные полупрозрачные шторы.

– Ему вот в Химки, а мне – в Медведки. Эх, бедолага, ну спи, Серёга! – ответил я строчками Высоцкого на донцовский вопрос. К нам они подходили как нельзя лучше – «Олимпиец» располагался в лесу под подмосковными Химками, а моего приятеля звали Серёгой.

Получилось так, что я спал на кровати, а он на полу, на ковровой дорожке, около меня. В противоположном углу номера пустовала вторая кровать.

Продирая второй глаз, я спросил:

– Серёга, мы вчера с тобой песни пели?

– Пели, – отозвался Донцов, вставая с пола. – Так куда мы канистру-то с пивом засунули? Там ещё минимум половина должна оставаться. Или Володька Хомяков спёр? Но он, кажется, с нами не пел.

– А ты в туалете посмотри. И под диванами, – посоветовал я, сев на кровати и охлопывая карманы брюк (надо же – так и спал, в брюках!) в поисках расчёски: моя всклокоченная голова отражалась в зеркале напротив...

– Если Володька спёр, так там у него ни капли не осталось. Всё, скотина, выжрал! А где мы тут, в безалкогольной зоне, похмелиться найдём? Да и денег у тебя, небось, уже нету.

– Нету, – согласился я. Про свои деньги Серёга не говорил, потому как у него их с самого начала не было.

– Канистра – хрен с ней, – продолжал волноваться Донцов, – не потащим же мы её из Химок обратно в общагу. Нам ведь не по пути, правда? Скажу потом Лужикову, что потеряли. А вот пива жалко.

Серёга уже побывал в туалете и теперь ползал по номеру на животе, исследуя пространство под кроватями.

– Нету канистры! Точно – Хомяк спёр! Чо на халаву не спереть? В каком он номере?

– Да в другом крыле, кажется, на последнем этаже, номер не помню. Не пойдём же мы сейчас весь «Олимпиец» будить?

– А почему бы и не пойти. Вчера все окончание «хурала» праздновали. У меня тут знакомых – хрен! Один только из Свердловска. И тот – критик. Разве критик даст поэту похмелиться? Скорей удавится! А у тебя есть однокурсники. Наверняка у кого-нибудь осталось на похмелье.

Предложение Серёги мне показалось дельным. Про то, что похмелиться необходимо, и сомнений никаких нет. С такой головой да физиономией людям страшно показаться.

– Да, – говорю, – есть тут наши ребята из Литинститута. И с дневного отделения кое-кто, и с нашего курса, заочники. Женька Носов, например, из Новосибирска. По обеим статьям тёзка автору «Усвятских шлемоносцев» и «Красного вина победы». Только фантастику пишет в отличие от того Носова. Прозаики – серьёзный народ, не чета нам, поэтам. Они всегда на опохмелку оставляют. Давай, подождём ещё часик-другой, а потом сходим к Женьке.

– Ладно. Пойдём тогда на балкон, покурим. Сигареты-то у нас есть?

Сигареты были. Московская «Ява». Хотя в этой распроклятой безалкогольной зоне не продавали ни курева, ни спичек. То и другое мы накануне возле останкинской пивнухи купили.

Серёга раздёрнул шторы, щёлкнул шпингалетом, и мы оказались...

– Как в раю! – восхитился Донцов.

Да и было чем восхититься: вокруг балкона – сверху, снизу, с боков – разливался зелёный цвет. Он падал вниз – от листвы в траву, и поднимался обратно, из травы – в листву берёз, тополей и других деревьев, названия которых мне были неизвестны. У нас на севере в основном ёлки, сосны да осины растут, и если не видал в глаза вяза, то его запросто можно спутать с липой, а липу – наоборот – с вязом.

Из-за берёзовой рощи выглядывал огненно-красный краешек дневного светила, и где-то там, за рощей, в аэропорту Шереметьево-2 серебристые лайнеры продували свои турбины, готовясь махнуть если не в самый Тель-Авив, то уж в Каир очно. А вокруг «Олимпийца», прячась в немыслимой зелени, заливались на разные голоса подмосковные соловьи.

– Слушай, Сергей, тебе не кажется, что наши с тобой физиономии не вписываются в этот пейзаж? И, вообще, не хочется отравлять цветущее майское утро какой-то «Явой». Тем более что после первой же затяжки меня стошнит.

– А меня – нет!

Донцов задымил сигаретой и, широко расставив на перилах балкона руки, дохнул никотином в клювы невидимым соловьям. На них, правда, Серёгин демарш никаким образом не подействовал: Божьи создания продолжали заливаться на разные голоса.

И тут я увидел нашу канистру с пивом. Она мирно стояла в углу балкона, и на синих её боках поблёскивали капельки спустившейся с небес утренней росы. А, может, это выступало на боках канистры останкинское пиво.

– Вот до какой степени можно надраться, – констатировал я. – А потом ещё и балкон на шпингалет закрыть. И шторы задёрнуть.

Донцов от радости чуть сигарету не проглотил...

Через минуту мы сидели с ним на вынесенных из номера мягких стульях. На фоне разливаемого в высокие казённые стаканы из тонкого стекла жёлтого пива майская невинная зелень выглядела ещё ярче.

– Жалко, соловьям не во что налить, – посожалел Серёга, поднимая стакан и чокаясь со мной:

– Ну, давай, за тебя!

– Чего это вдруг?

– Так тебя же вчера в Союз писателей СССР приняли.

– И вправду! – вспомнил вдруг я. – Вот сюрприз так сюрприз! За это стоит, как говаривал Венечка Ерофеев, «немедленно выпить».

Донцов накатил в наши стаканы из канистры по второй порции пива. В пластмассовой посудине плескалось ещё, по крайней мере, литра четыре бодрящей и пенящейся влаги.

События последней недели начали медленно прокручиваться в моём постепенно оживающем от вчерашнего мозгу...

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН...

В Союз писателей СССР я поехал вступать прямо от печки. Накануне приснился мне московский Кремль и Михаил Горбачёв, с которым мы о чём-то разговаривали на Красной площади. О чём именно был разговор, я не запомнил, но, сидя за утренним чаем, решил, что сон такой был мне неспроста и сегодня должно случиться что-то необычное.

День-то был самый обыкновенный, рабочий. Я клал в своей деревне, в новеньком деревянном здании будущей школы печку-голландку. Помощником у меня был бывший зека-рецидивист Володька Иванусов, грек по национальности. Настоящая его фамилия была Иванус, он её ещё больше на русский манер переделал. Родом мой помощник происходил из Тулы, хотя и грек, а в Архангельской губернии оказался по причине освобождения из мест не столь отдалённых – в третий раз за свою тридцатишестилетнюю жизнь.

– Чего я домой не поехал? – отвечал на мой вопрос Володька, блестя двумя золотыми фиксами. – А я на воле долго не могу. Всё равно снова сяду. Так какого хрена мне по пересылкам мотаться, если вот она – зона, под боком?!

Иванус месил глину, подносил мне её в двух вёдрах, таскал с улицы в помещение кирпичи и развлекал меня рассказами из лагерной жизни. Чёрный, как грач, со смуглой кожей, он был скорее похож на цыгана, нежели на грека. А, впрочем, греков вживую мне видать не приходилось.

Одна печка – кухонная плита – у нас была уже готова. Мой напарник три раза в день кипятил на ней в небольшой литровой кастрюльке колодезную воду и заваривал «чиф» – так он называл крепкий чай. Я иванусовский «чиф» пить не мог – потому как в стандартную кружку он высыпал пол-цыбика (пачка чая по-иванусовски – «цыбик») индийского «со слоном», это был не чай, а горечь несусветная, от которой тошнило и сводило скулы, будто черёмухи спелой не одну горсть съел. Иванус же прихлёбывал свой «чиф» из кружки мелкими глоточками, ничуть не морщась, «заедая» каждый глоток затяжкой термоядерной «Примы».

Надо сказать, что часа два после очередной дозы «чифа» мой напарник не мог сидеть на месте, он без передыха месил глину и таскал кирпичи, причём настроение у него при этом было преотличное.

Первый чай Володька заваривал в десять часов. Как раз во время этого действия в дверной проём будущей школы просунулась голова нашей деревенской почтальонши Граши Ломакиной, любившей, когда её называли начальником почты.

– Александр, – с удивлённым придыханием сказала Граша, – мне сейчас из райкома комсомола звонок был. Сказали, чтобы ты к ним приехал. Там бумага какая-то из Москвы пришла. Вот, мне продиктовали: «...вызывают на девятое Всесоюзное совещание молодых писателей». Понятно? Желательно, чтобы ты сейчас переоделся и ехал за бумагой.

«Вот он, сон», – подумал я, сунув кельму и рукавицы-верхонки в дымоход недоложенной печки и спрыгивая с подмостей.

– При чём тут комсомол-то? – задал я вопрос «начальнику почты». – Я не состоял и не состою ни в комсомоле и ни в КПСС.

– А я почём знаю, мое дело – передать, – Грашино круглое лицо расплылось вдруг в язвительной улыбке. – Вишь, Росков, каким ты знаменитым человеком у нас стал – в Москву вызывают...

– Не берись тут без меня за кирпичи, – наказал я, уходя, Иванусу, – напортачишь, а мне потом переделывать придётся.

– Бля буду, – поклялся мой напарник, – ни одного кирпича не положу!

* * *

...Через двое суток я стоял с небольшой походной сумкой посреди перрона Ярославского вокзала. По перрону расхаживали милиционеры с новенькими резиновыми дубинками – последним нововведением перестройки. Деревья, обрамляющие перрон с левой стороны, всю шумели листвою, – на севере, откуда я приехал, была поздняя весна, здесь – раннее лето. Носильщики гремели по выщербленному покрытию своими тележками, привычно покрикивая на путавшийся под колёсами тележек провинциальный люд. Вокзальный видео-салон приглашал пассажиров дальнего следования посмотреть на дорожку крутой штатовский боевик. Зачуханные воробьи стремительно вырывали чуть ли не из клювов у голубей крошки пирожка с мясом. Пирожок крошила себе под ноги пропитого вида старушенция, прислонившаяся к фонарному столбу, закусывавшая только что выпитую бутылку «Жигулёвского».

Сельскому жителю необходимо включиться в столичную жизнь. У себя в деревне он ходит неспеша, вразвалочку. Пять шагов в одну сторону сделал – в поле вышел, десять в другую – в лес уткнулся. Куда торопиться-то? А тут... Он выбрался, не торопясь, из вагона на перрон: с одной стороны его толкнули, с другой – обругали, сзади на пятки наступили. Потом подхватили, закружили, потащили. И он поневоле вынужден переходить на заданную ему скорость: вот уже сам кого-то толкнул, выmaterил про себя, ткнул коленкой под зад...

В первые свои приезды в Москву я никак не мог включиться в эту многомиллионную суету. В метро мне казалось, что все смотрят только на меня, в магазине я, стесняясь своего северного оканья, боялся спросить что-либо у продавца – распознает во мне провинциала и на смех поднимет или нагрубит. На установочной сессии в Литинституте мои новые приятели покатались со смеха, увидев на мне галстук в гармонии с джинсами. Это я в таком виде на лекции собрался.

– Сними галстук, дикий ты человек! – вытирал слёзы со щёк Костя Савельев...

Сейчас мой наряд также не блистал изысканностью: чёрный дерматиновый пиджак сочетался с дешёвенькими клеёнчатыми кроссовочками и рубашкой в мелкую чёрно-белую клетку. Рубашка была такой простенькой, что даже после глажки производила впечатление неглаженной. (Впоследствии в эту рубашку моя тёща Римма Алексеевна наряжала несколько лет подряд чучело на своём дачном участке, предназначив последнее охранять клубнику от вороватых сорок и ворон. Птицы пугала ничуть не боялись, а я, приезжая на участок и проходя мимо него, каждый раз вспоминал всё, о чём пишу сейчас.)

Довершали мой наряд чёрные брючата, сшитые из какого-то неизвестного химволокна, к коже эти штаны прикасались, как мокрая холодная пластмасса. Галстук с кроссовками на сей раз у меня хватило ума не нацеплять. А так как комплексом полноценности я не страдал и не страдаю, на пороге матушки Москвы в таком наряде я чувствовал себя несколько неловко.

Два года назад вот также я приехал в Москву поступать в Литературный институт – в этом же дерматиновом пиджаке, только рубашка под ним была тогда фланелевая. Тогда я около часа толкался в людской массе около Ярославского вокзала, стесняясь спросить даже у милиционера, как проехать на Тверской бульвар, 25. Стеснялся потому, что не милиционера боялся – мне был страшен сам факт моего появления возле дома Герцена, – перед поездкой в столицу я прочёл сборник «Воспоминания о Литинституте», изданный к 50-летию основания вуза, и у меня как-то не укладывалось в голове, что я могу переступить заветную и недосягаемую (в моём сознании) черту, шагнуть за порог, за который ступала нога многих и многих властителей дум, прозаиков и поэтов, которых до сей поры мне приходилось видеть только на телевизионном экране да на фотографиях, открывающих их гениальные книги.

И всё-таки я сел тогда в такси, назвал адрес, и московский водила лихо домчал меня всего за три рубля до желанной железной калитки, сквозь прутья которой когда-то наблюдали за молодыми талантами булгаковские Азazelло с Бегемотом. Ступив за калитку, я испугался, увидев эти самые таланты, то есть сидящих на скамеечках в скверике, таких же робких, как я, абитуриентов. Испугался не их, а количества книг, стопками и связками возвышающихся на скамеечках возле каждого сидящего, – в мою-то сумочку только учебник русского языка за седьмой класс был брошен. А абитуриенты лихорадочно листали разного рода пособия, хотя и сидели пока в очереди не на экзамен, а на регистрацию в приёмной комиссии...

Сейчас я уже без той робости шагнул за знакомую калитку и мысленно поздоровался с маленьким уютным двориком. В глубине его, на узких асфальтовых дорожках лежала дырявая тень от тополиной листвы, знакомый дворник разматывал резиновый шланг, собираясь полить клумбу возле ног бронзового Герцена. Тут и там во дворике группками стояли

студентки и студенты дневного отделения – была перемена между лекциями.

«Дневники» Литинститута отличаются от заочников своей молодостью. Здесь даже своего рода «прикол» существовал в наше время. Юноша спрашивает у взрослого мужчины: «Дяденька, а когда будут дипломы раздавать?» – «Не знаю, я первокурсник», – отвечает тот.

Да, среди нашего брата-заочника можно встретить и сорокалетнего первокурсника, настолько потрёпанного жизнью, что ему и все пятьдесят дать не жалко. На «фоне» его бывший десятиклассник, поступивший на первый курс дневного отделения института, выглядит птенцом, хотя апломба и гонора у него на пять таких заочников хватит. Но те не обижаются: жизненный опыт – вот что отличает заочника от «дневника».

Соблюдая дистанцию, разделяющую две категории студентов, я прошёл между беседующими группками в свой деканат.

– Ты что, Саша, не знаешь, где съезд будет проходить? – удивилась куратор нашего курса Нелли Константиновна. – Это же в международном спортивном комплексе «Олимпиец». Ты только с Олимпийской деревней не перепутай. Комплекс – он не в черте Москвы, а в лесу под Химками находится. Почему там? Знаешь, опыты прежних таких съездов показывают, что толпы пьяных поэтов отнюдь не украшают столичные улицы. Там, в лесу, вы хоть на голове ходите. Спортсменов на время съезда уберут из комплекса. Но заезд-то туда через день. Где ночевать будешь? Может, тебя в общежитие пока устроить?

– Не-а, – помотал я головой. – Знакомые в Москве есть.

И прямо из автомата, стоящего у железной калитки вуза, позвонил художнику Валере.

– Привет! – хриплым голосом отозвался тот. – Я, как видишь, ещё дрыхну – вчера гульнули крепко. Через сколько будешь? Через сорок минут? Понятно! Встречаю! Файв!

«Файв» обозначало в устах художника Валеры высшую похвалу.

С Валерой я познакомился просто. У меня был номер его телефона. Наш общий с ним друг Фёдор Михайловский уезжал из Москвы в азиатскую археологическую экспедицию в тот самый день, когда я приехал поступать в Литинститут. Он только и успел оставить мне телефон Валеры с напутствием:

– Станет туго – звони ему в любое время дня и ночи.

Туго стало мне уже через неделю. За полчаса до закрытия метро оказался я в добром часе езды до нашей общаги, под дождём, в каком-то тёмном парке. В столице августовские ночи и при фонарях тёмные, а тут ещё без фонарей... В парке мы оказались с Арвидасом Лапукасом, драматургом из Каунаса. Отметили в какой-то кафешке на старом Арбате сдачу первого вступительного экзамена, будучи ещё едва-едва знакомыми, и занесло нас в этот парк. А в глубине его на скамеечке дама сидела. Арвидас подсел к ней: то да сё, разговор у них завязался, и, судя по всему, длинный разговор. Пришлось мне из парка одному выбираться.

Выбрался я, нашёл в кармане «двушку» и телефонную будку нашёл. Позвонил Валере.

– Файв! – воскликнул тот. – Файв! Мне про тебя Федя говорил! Я стихи твои наизусть знаю! Что? Заблудился? Где находишься? Табличку на доме видишь? Читай: какая улица? А дом – номер? Машины в какую сторону идут? Валяй им навстречу – там, в конце улицы, метро. Нырй в него и езжай до «Кропоткинской». Тут недалеко, минут пятнадцать. Выйдешь на «Кропоткинской» – на той стороне улицы памятник Фридриху Энгельсу увидишь. Помнишь в лицо Фридриха? Стоит он, а не сидит. У правой его ноги я и буду тебя ждать.

К Фридриху я успел до закрытия метро. Эскалатор уже не работал и ни одного человека на нём не было. Я бегом по стоящему эскалатору поднимался. В переходах – тоже никого. Жутко так...

Валера стоял у правой ноги Фридриха – как и обещал. У этой ноги мы и познакомились, пожав друг другу руки.

* * *

Правая нога Энгельса и сейчас попирала пяточок московской земли так же уверенно, как два года назад. Около неё стоял художник Валера в домашних тапочках на босу ногу с трёхлитровым бидоном в руке. Крышка на бидоне отсутствовала, на одном боку чернела отвалившейся эмалью здоровая вмятина.

Что отличало Валеру от других смертных, так это всегда сияющий и восхищённый неизвестно чем взгляд – взгляд художника. Вот и сейчас он звякнул бидоном, восхищённо посмотрел на меня и вместо приветствия, как будто мы только вчера расстались, сказал:

– «Шарик» трещит – спасу никакого нет! Если б не ты – не встал бы. Лежал бы и умирал.

И ещё раз призывно брякнул бидоном:

– «Бабки» у тебя есть? Пойдём – там, за углом, должна пивная палатка работать.

Валерины тапочки на босу ногу подействовали на меня волшебнo. Я вдруг почувствовал себя как дома, на деревенской улице – там тоже мужики в тапочках ходят, без носков. На душе стало легко-легко, и мне захотелось идти с Валерой с бидоном наперевес хоть на другой конец столицы. Если что малость и тревожило, так это предчувствие грандиозной пьянки – её-то уж при встрече с Валерой никак не избежать.

Москва выгодно отличается от деревни тем, что здесь никто тебя не знает. В деревне, к примеру, вышел мой корешок Серёга Выползов из своей избы, за ним две пары старушечьих глаз, как минимум, уже следят. Там каждый его шаг известен. На следующий день вся деревня знает, у кого Серёга занял пять рублей, с кем пропил их и даже чем закусил.

А тут идём мы с Валерой по улице, и всем наплевать, куда мы идём с бидоном, и никто не спрашивает, почему Валера похож на татарина со своей рыжей бородой и бритым наголо черепом. Всем наплевать на его босые ноги, а заодно и на мой дерматиновый пиджак.

– За водкой у нас всё ещё очереди стоят, – рассказывал по дороге Валера. – Водку в бутылки из-под «пепси» разливают и продают. Это наш Гаврила Попов додумался. А чтобы «пузырь» купить, надо сначала пустую посудину сдать. Во, Москва дожила! Не зря у Миши Горбачёва заплатка на лбу!

Потом Валера меня «успокоил»:

– У меня посудин этих из-под «пепси» – штук десять дома лежит. Потом на водку обменяем, коли тебе денег не жалко. А пока пивка хочется. С пивком сейчас посвободнее стало.

Бидон пива мы, и вправду, купили быстро. Валера крутанулся туда-сюда – ни стакана, ни кружки найти не мог, в палатке пиво продавали только в принесённую посуду.

– Ну, я ещё не дожил до того, чтоб похмеляться посреди золотой моей столицы прямо из бидона. Пойдём, старик, тут неподалеку, в подвале, тоже художник живёт. Инструменталист. Стаканы у него есть.

У «инструменталиста» Василия – так обратился к владельцу двух подвальных помещений Валера, не то что стаканы – три литровых пивных кружки нашлись. И большая сушёная рыбина, то ли лещ, то ли камбала.

– Ну, за встречу и за ваше знакомство! – поднял кружку Валера. Показал Васе на меня:

– Это поэт. Настоящий. А ты зачем сейчас в Москву приехал? Сессия же у тебя в марте была, – вдруг обратил он ко мне восхищённую физиономию.

– Так на съезд же, – говорю, – молодых писателей. И костюм свадебный надо купить. Женюсь я.

– Файв! – восхитился Валера. – Файв! За съезд и за жениха – ещё по бидону! – И он наконец-то похмелился, выдув литровую кружку одним махом.

Я понял, почему Валера назвал Василия «инструменталистом»: комната, в которой мы заседали, была заставлена картинами с изображением различных инструментов: тисков, простых и садовых ножниц, молотков, дрелей. Особенно поражало

полотно размером два на два метра, воспроизводящее гигантскую, почему-то зелёную, мясорубку. Из её отверстий вылезали длинные красные черви перемолотого мяса.

Мясорубку и другие «инструментальные» полотна я разглядывал до тех пор, пока Валера с Василием ходили за вторым бидоном пива. Они заодно и все три кружки пивом наполнили.

Часа через два, после ещё нескольких «ходов» к палатке Василий, художник Василий, подарил мне рисованную мясорубку.

– Бери! – выкрикнул он, сделав широкий жест в сторону картины. – Свадебный, так сказать, презент! Всё равно я её ни на Арбат, ни в Измайлово продавать не поволоку!

– А он что – в деревню к себе поволокёт? – удивился восхищённый Валера.

И уговорил меня идти с ним менять бутылки из-под пепси на водку.

...Вечером у Валеры собралась какая-то странная компания. После длинной дороги, пива и похода в магазин я прилёг отдохнуть на Валерином диване и уснул. Проснулся оттого, что кто-то хлопал меня по щекам. Я продрал глаза и увидел за столом человек десять мужчин в чёрной форме.

Вообще-то у моего знакомого можно было встретить кого угодно. Захаживал к нему «король эпизода» киноактёр Сажин. Сажин жил в этом же доме, и иногда они с Валерой буйно отмечали появление у того или другого карманных денег. Бывал в этой однокомнатной квартирке писатель-эмигрант Юрий Мамлеев, которого Валера называл просто «Мамлей». Добавлю, что Солженицына он окрестил «Солжем», и, когда речь заходила о произведениях последнего, Валера, будто будучи с ним на короткой ноге, констатировал: «Тут Солж не прав!» Или: «Молодец Солж, правильно коммунякам врезал!»

А ещё Валера, как и всякий художник, любил женщин. И хотя причислял себя к русофилам, в женском вопросе вёл себя как стопроцентный космополит. В тот первый вечер нашего знакомства, когда Валера не дал мне потеряться в ночной Москве, я застал у него молоденькую евреечку, которую потом не раз видал во дворике Литинститута: она училась на дневном отделении и при встрече кивала мне как старому знакомому.

– Еврейки – горячие девки, – как бы извиняясь, сказал тогда художник, проводив гостью, – прабабушкой-то у них сама Ева числится.

Я ни разу не видел Валеру с кистью в руках и воочию знаком всего с тремя его работами, коими Валера дорожил: на стенах его квартирки красовалось два портрета некогда любимых художником женщин и полотно «Ледовый» поход генерала Каледина. Последний бой». Загадочно улыбающиеся дамы как-то не сочетались с белогвардейским офицером, поймавшим в рот красноармейскую пулю, но это ничуть не смущало хозяина квартиры.

В Валерином жилище оставлял свой след не только прекрасный пол: половина богемной столицы, имеющая прямое и косвенное отношение к кистям и краскам, прошла через него. Валера, собственно говоря, этим жил. К нему стучались, звонили, врывались с полными карманами и авоськами бутылок и закусок. Он на правах хозяина принимал, разливал, пил и ел. Одна компания, вывернув карманы и не найдя в них ни копейки, сваливала за порог, и тут же появлялась другая – с полными авоськами.

Если спиртного хватало надолго – компания обитала у Валеры по несколько суток и спала прямо на полу. Утром, под опохмелку, велись интеллектуальные разговоры, листались проспекты с выставок модных художников, в большинстве – западных, обсуждались последние новинки из «толстых» журналов – в те перестроечные годы литература была на подъёме, и в перерывах от пьянки до пьянки Валера «отслеживал» самое стоящее.

Короче говоря, жил он, как та птичка небесная, которая не сеет, не пашет, а сытой всегда бывает.

Забегая вперёд, скажу, что один раз по пьянке эта «птичка» имела неосторожность привести к себе двоих кавказцев, впоследствии оказавшихся урками. Валерина квартира уркам понравилась – в центре Москвы, хозяин – одинокий... Кавказцы стали захаживать к нему чаще и чаще, оставлять у него какие-то подозрительные свёртки, ночевать.

Валера, поняв, что влип в историю, начал темнить, не отзываться на телефонные звонки кавказцев, делая вид, что его нет дома. Однажды, когда он был один, в дверь позвонили. Валера понял, кто звонит, но открывать не стал. А когда через час вышел из квартиры по делам – обнаружил под дверью хитро улыбающегося кавказца.

После этой встречи художнику пришлось какое-то время жить по знакомым, чтобы отвести непрошенных гостей от своего жилья. Но всё это будет потом, а пока, проснувшись на Валерином диване, я увидел за столом десяток мужиков, одетых в чёрную форму. Один из них бил целой пятернёй по гитарным струнам, остальные орали припев к исполняемой песне:

– На Север! На Север! На Север!

Слова песни я, конечно, не запомнил, но она была жутко антисемитская. Валера подошёл к дивану с гранёным стаканом в руках:

– Проснулся? На, прими. Да не пугайся – это «памятисты».

Общество «Память», возглавляемое Дмитрием Васильевым, было в те годы известно не только в Москве своими националистическими лозунгами: СМИ сделали из него антисемитское пугало, благодаря которому в стране (в который раз!) остро встал еврейский вопрос, всячески раздуваемый тем же «Огоньком» под руководством Виталия Коротича.

«Памятистов» в Москве мне уже доводилось видеть. Как-то мы с однокурсниками поехали в Донской монастырь посмотреть на уцелевшие фрески с разрушенного храма Христа Спасителя – какая-то их часть в 30-е годы была свезена туда.

На монастырском кладбище люди в чёрных футболках с жёлтыми колоколами на груди убирали с могил прошлогодние листья и ветки, сорванные ветрами с окрестных деревьев.

Один из «памятистов», высокий и гундосый, проводил экскурсию по фрескам.

– Всё, что кончается на «о», – говно! – сообщил он вдруг экскурсантам, вспомнив ни к селу, ни к городу какую-то украинскую фамилию. И понёс националистическую чушь.

Люди, сидящие за столом у Валеры, говорили, что говно всё, что кончается на «ан» и «берг». Валера сообщил мне с гордостью:

– За ними стоят большие люди наверху. Лигачёв, например.

И посмотрел на меня восхищённо и победно. И мы выпили. И мужики в чёрной полувоенной форме тоже выпили.

У меня после порции водки сознание прояснилось:

– Давай, – сказал я гостеприимному хозяину, – пригласим сюда Федю. Одному мне от тебя не выбратся будет. А как же – совещание? Я в деревне одного Володьку Ивануса бросил. Он от безделья нахулиганит чего-нибудь – без помощника останусь. И на совещание не попаду. Давай звони Феде.

Федя приехал часа через полтора. Потом он рассказывал, что застал нас с Валерой за столом в обнимку с «памятистами».

Мы пили водку и орали:

– На Север! На Север! На Север!...

Федя выдернул меня из-за стола и увёз к себе...

КОРНИ И ИСТОКИ

...Я родился в телеге комариным июньским вечером. Мама начала меня рожать, наша соседка тётка Маша Ермакова запрягла лошадку, положила маму на телегу и повезла в райцентр – в роддом.

До райцентра было добрых двадцать километров, причём километра три из нашего захолустья до большой дороги – по лесу, по «узкоколейке», укатанной по бокам тележными колёсами и утрамбованной в середине лошадиными копытами. Двум лошадям на этой узкой дорожке было не разъехаться, одна из встречных подвод обязательно при этом сворачивала в лес.

Потом, будучи подростком, я много раз ходил и бегал по той «узкоколейке», по мере моего взросления всё больше и больше растающей мелкой ольхой и соснячком. Того захолустья – деревни Стойлово, в которой начиналась моя жизнь на белом свете, давно уже нет, и в настоящее время ту лошадиную дорожку по лесу мне не «справить», как выражаются мои земляки, потому как уже добрых два десятка лет она никому не нужна.

А тогда, комариным июньским вечером, как только лошадка выехала на большую дорогу – Петербургский тракт (правда, во времена Советской власти он назывался Ленинградским), я сразу и родился. И женщины повернули обратно в лес и поехали назад, в деревню. А потом с центральной усадьбы прикатил на велосипеде фельдшер Олёша Рябов, перевязал мне пуповину, и я стал жить.

В Стойлове было семь домов, деревня отвоевывала у леса поле радиусом где в километр, а где и меньше. Лес на задворках нашей избы, например, начинался метрах в трёхстах от хлева. Ещё на моей памяти в центре Стойлова стояла маленькая часовенка, около неё мы любили играть в прятки. Крест на часовенке отсутствовал, но под крышей у неё, по всему фронту, лепились красивые деревянные кубики с сохранившейся на них зелёной краской. Потом, когда часовенку сломали, мы с моим приятелем Сашкой Ермаковым оторвали от досок с десятков таких кубиков и играли ими, укладывая один на другой.

С часовенкой этой была связана одна история... В пору начала коллективизации (а тогда по архивным спискам население нашей деревни составляло 212 человек) на окрестные поля пала засуха – дождей не было весь июнь, рожь и жито засыхали на корню. Тогда и попросили старухи одного из стойловцев по фамилии Копин отслужить водосвятный молебен о даровании дождя. Копин, знавший православные обряды, совершил действо – сначала в часовенке, а затем и на поля вывел людей крестным ходом. Через день после молебна ударила сильная гроза, а через два ночью приехали из района трое военных на тарантасе и увезли Копина неизвестно куда. Так и пропал человек, больше никакого известия земляки о нём не имели.

От старого дореволюционного и довоенного Стойлова остались кое-где следы от деревянных фундаментов, заросшие лопухами и крапивой ямы, служившие когда-то людям погребями, да старые одинокие берёзы и ёлки, указывающие на то, что когда-то около них стояли деревенские избы.

В одном конце поля, около леса с незапамятных времён находился естественный пруд, именуемый в народе «лягой». От ляги, пересекая всё поле, шло в противоположную сторону неглубокое русло рождавшегося по весне, бегущего из ляги в лес ручья. Ручей бежал весь май, а в начале июня высыхал, на дне русла и по бокам его начинала зеленеть мягкая шелковистая травка вперемежку со щавелем. Щавель мы называли «кисиликой» и с удовольствием его ели.

Мы – это стойловские ребята: две девчонки – Олька и Полька Васишины, мой сверстник Сашка Ермаков и его сестра Танька. Танька была моложе нас на один год, Олька и Полька, соответственно – на два и на три года.

Были в Стойлове ребята и старше нас лет на шесть-восемь, это мой брат Толька, Вовка Часовенный (изба Часовенных стояла напротив нашей), Ванька Артамонов – приёмный сын дяди Саши Васишина, отца Ольки и Польки. Впрочем, дядя Саша сам находился в приёмышках у тётки Зои – матери девочек. Старшие ребята водились с нами редко, у них была своя компания.

Электричество было в диковинку ещё и на центральной усадьбе, в деревне Жуковской, что уж говорить про наше захолустье: вечерами народ сидел с керосиновыми лампами, огонь в которых «доставали» уже в полной темноте.

– Ну вот, посутёмничали, надо и огонь достать, – говорила моя бабушка и зажигала лампу. Прежде чем совершить это священнодействие, бабушка поручала мне протереть изнутри ламповое стекло – рука у меня была маленькая и пролезала сквозь отверстие в нём. Я усердно протирал стекло обрывком газеты или слегка влажной тряпкой – с прошлого вечера на боках его оставалась серая копоть. Иногда, когда кто-либо из нас выворачивал горящий фитиль в лампе до упора и он начинал вместе с пламенем выбрасывать чёрный язычок дыма, стекло чернело и во время чистки его газетный обрывок становился чёрным.

Лампу зажигали, пространство вокруг неё освещалось, стекло отбрасывало на потолок светлый кружочек, а углы нашей избы становились полутёмными и таинственными. Я любил смотреть на язычок пламени, пляшущий на фитиле, внутри стекла. Он был как живой, он походил на небольшую огненную бабочку со сложенными крыльями. Мне казалось, что, если долго смотреть на эту «бабочку», она в конце концов взмахнёт крылышками и взлетит сквозь верхнее маленькое отверстие стекла к потолку.

– Лампа – это хорошо, порато хорошо, – говорила бабушка, – вон как светло, хоть куделю пряди, хоть вяжи. А вот, бывало, мы с лучиной-то сидели...

С лучиной, по рассказам бабушки, «сидели» в деревне и до войны, и в войну.

– На другой год, как война-то началась, к нам сюда салдатов понагонили. Обучали их тут, воевать обучали. Много салдатов было, полна деревня. Все по избам стояли. У нас десять салдатов стояло. Ночью дак и до ветру сходить было нельзя – часового оне в сенях ставили. А уборна-то у нас во дворе. Одинова мне невтерпёж стало, пошла я до ветру (в туалет. – **А. Р.**), а часовой-от мне: «Стой, хто идет?!» А я говорю: «Чёрт!» Так-то хорошие салдаты были, все от своих домов оторванные. Окопы они на опушке вон копали да стреляли там. Три месяца жили у нас. А потом их на фронт повезли. И не довезли: по дороге немцы разбомбили эшелон, в котором салдатики ехали. Только двое их в живых и осталось. Письмо салдатик один нашей деревенской девке Фёкле Олонкиной написал потом, он ей тутова брюхо сделал. Писал, что разбомбили их и что, как кончится война, – к Фёкле приедет. Но не приехал – то ли убили его тоже, горемычного, то ли после войны в родные места подался. А по салдатикам-то мы тогда плакали всей деревней, привыкли к ним, дак.

...В Стойлове я жил до семи лет, и воспоминания о них и из них в памяти моей сохранились обрывисто. Мне кажется, что зимы в том раннем детстве почти не было и дождей не было, что там всегда светило солнце, тёплое и ласковое, не сходившее с небосвода круглые сутки.

Наша изба стояла у самой околицы, и весной, в мае, из окон было видно, как вдоль разлившегося ручья ходили журавли. А за ручьём убегала к лесу лошадиная дорога, весной и осенью она выделалась чёрной полосой на фоне оживающей или умирающей природы, летом же пряталась среди высоких хлебов: не в пример теперешним временам тогда каждый свободный клочок земли распахивался и засевался овсом, рожью, ячменём или другими посевными культурами. В один год стойловское поле засеяли льном, и во время его цветения всё вокруг было синим-синим, и если бы не полоска зелёного леса, окружающая деревню, можно было подумать, что небо слилось с землёй и продолжилось на земле.

Зимой же эту, ведущую в большой мир, лошадиную дорогу переметало снегом, и ещё в начале декабря, пока снег не был глубок, деревенские мужики обозначали её вешками. Так эти вешки и стояли до самой весны, по ним ходили пешком и ездили на лошадках всю зиму, дорога натапывалась, и в конце апреля, когда сугробы по всему полю таяли без остатка, на дороге ещё лежал белый ноздреватый лёд.

За лесом, на Ленинградском тракте, тоже небольшая деревушка стояла, называлась она – Калахтино. По тракту ходили не так ещё частые в ту пору машины, летние гости из дальних городов, приезжающие в Стойлово, добирались до Калахтина на попутках, там сходили и шли в нашу деревню пешком, через лес, по лошадиной дороге, волоча на себе тяжёлые ноши – большие чемоданы с блестящими никелированными уголками и ручками и бывшие тогда в моде сетки-авоськи, набитые городскими гостинцами. Когда кто-нибудь выходил из леса и показывался на краю стойловского поля, вся деревня напряжённо вглядывалась в далёкую фигурку и гадала, кто бы это мог быть?

Иногда, когда гости извещали о своем приезде заранее – телеграммой в Жуковскую (телефона ни в Стойлове, ни в

Калахтине, естественно, не было), дядя Саша Васишин ездил встречать гостей в Каргополь на молодом мерине Баяне, «приписанном» к нашей деревне. «К бабушке Ульяне на коне Баяне полношком колхозным едет наша Таня»... Не знаю, где и когда я слышал эти строчки, но они были как будто о нас: мою бабушку звали Ульяной и к нам в гости приезжал из Северодвинска (тогда – Молотовска) мой дядя Александр Иванович с маленькой дочкой, моей двоюродной сестрой Таней. Приезжала к нам и мамина сестра из далёкого города Саратова с двумя дочерьми и мужем – Николаем Егоровичем, военным лётчиком. Они привозили кучу всякой невиданной снеди и самое необычное – патефон, казавшийся мне тогда чудом из чудес. Гости приезжали обычно летом, изба наша наполнялась шумом и гамом, обеденный стол выносился на улицу, под высокую берёзу, там, под берёзой, мы завтракали, обедали и ужинали. Вечером Николай Егорович заводил патефон и на всю округу звучали Утёсов или Лемешев.

...Весной в Стойлове возле каждой избы буйно цвела черёмуха, а в окрестных лесах стоял несмолкаемый птичий гам – там вили гнезда многочисленные, большие и маленькие птицы. Особенно среди них выделялись трещалки, мы их так и называли – «трещалки», потому что издавали они не крик, а треск, похожий на звук русского народного музыкального инструмента – трещотки.

Причём трещать эти птицы могли без умолку и пять, и десять минут, и даже полчаса. Сами они серые, как воробьи, только больше воробья раза в четыре-пять. Может быть, это были дрозды, но ведь дрозды, как сказано в известной песне, не трещат, а поют.

Трещалочки гнезда располагались невысоко – в полутора-двух метрах от земли, обычно – на ольховых сучьях. Ольха в нашему лесу росла крупная, некоторые деревья достигали двадцати сантиметров в диаметре. Мы с Сашкой Ермаковым легко добирались до этих гнезд – нам любопытно было посмотреть сначала на голубенькие в чёрную крапинку яички, а потом – на жёлтоклювых птенцов, вылуплявшихся из этих яичек. Трещалки, во время наших вылазок к их гнездам, кружились над нами живыми самолётами и поливали наши головы и спины не свинцом, а жидким помётом.

Однажды я нашёл в поле гнездо жаворонка. Жаворонок звенел в голубом поднебесье целый день, подруга же его терпеливо сидела на гнезде, высиживая яички – малюсенькие, похожие на серенькие камушки (я рассмотрел их, когда самочка, увидев меня в первый раз, отлетела от гнезда метра на полтора). Я несколько дней подряд навевывался к гнезду, лежал на земле около него и любовался смелой серенькой птичкой, посверкивающей на меня маленькими глазками, но не покидавшей больше будущего своего потомства. Жаворонок, конечно же, видел меня из своего поднебесья, но песню свою не прерывал и ниже не спускался. Но, придя в очередной раз к гнезду, я не обнаружил в нём яичек, видимо, семья жаворонков решила перенести их в другое место, подальше от человеческих глаз.

В ляге весной метали икру лягушки, и их любовные песни, так же как и трещалочий треск, были слышны в деревне. А ещё в ляге водились пиявки, мы их страшно боялись, но, тем не менее, ловили во время купания и выносили на большой серый камень, наполовину лежащий в воде, а второй половиной вдававшийся в берег ляги. Камень был большой, на нём умещались все: мы с Сашкой Ермаковым, его сестра Танька, Олька и Польша Васишины.

Пиявки подолгу извивались на нагретой солнышком каменной поверхности, потом замирали, к вечеру от них и мокрого места не оставалось – солнце сжигало пиявок дотла.

Плавали мы неумело – возле берега, по-собачьи, то есть по дну руками. Возле наших голов на поверхности воды фланировали коровьи «лепёшки» – сюда на водопой из-за леса пригоняли колхозное коровье стадо, но мы относились к «лепёшкам» намного спокойнее, чем к пиявкам.

Дальше от берега, к середине ляги, мы и не совались – во-первых, там было глубоко, там, как говорил дядя Саша Васишин, лошадь с ушами скрывало; а во-вторых, там жил водяной. В существовании водяного никто не сомневался, потому как данному факту было подтверждение...

Во время войны, в 40-е годы, в ляге по два лета подряд не было воды, дно её даже распахивали и сеяли лён. Отсутствие воды объясняли просто: водяной за что-то обиделся на стойловцев и ушёл из ляги в реку Сеянгу, протекавшую километрах в десяти от Стойлова. А через два года обида у водяного прошла, он опять вернулся в лягу, и она снова наполнилась водой.

...Сейчас я – городской житель. И на родине бываю раз в году, летом, приезжаю туда дней на двадцать. И в каждый приезд обязательно стараюсь выбраться в то урочище, где когда-то было моё родное Стойлово. У меня всегда сжимается сердце, когда я выхожу в стойловское поле, вижу ёлки, черёмухи и берёзы посреди него, обхожу бугры и ямы, что остались от стоящих когда-то на этих местах изб. Я безуспешно пытаюсь найти то место, где пробегала тропинка, ведущая с одного конца деревни в другой, по которой я летом бегал босиком и мои пятки весело отбивали дробь по оголённой земле. Оглушённый воспоминаниями и образами детства, я подолгу сижу на камне, на котором мы жарили пиявок. Я прохожу на камень, сняв обувь и закатав до колен брюки: водяному, видимо, стало выгоднее жить здесь одному, без людей – ляга стала шире и больше, в неё лет десяток назад кто-то запустил карасей, и теперь мужики из Жуковской приходят ловить сюда их во время нереста: на берегу греются на солнышке несколько грубо сработанных плотов, рядом с ними лежат плетённые из ивняка морды-мережи.

Я ухожу с безлюдной своей родины, то и дело оглядываясь на одинокие деревья, унося в кармане несколько сухих еловых шишек с ёлки, стоящей по-за давно не существующим домом Степана Павловича и Анны Фоминичны Часовенных – берёза, возле которой мы обедали за столом и пел на патефонной пластинке Утёсов, давно упала, ствол её сожгли пастухи – несколько лет подряд в бывшем Стойлове работала летняя дойка и паслись коровы; с родного пепелища мне нечего взять на память. А еловые шишки лежат на рабочем столе в моём кабинете, и при взгляде на них передо мной встают милые сердцу картины.

...Около нашей деревни росли знаменитые красные рыжики. При царе-батюшке из Каргополя в Питер за 600 с лишним верст ходили лошадиные обозы, обозы эти везли беличью пушнину, изделия местных ремесленников и, конечно же, солёные красные рыжики. Причём рыжики в Северную Пальмиру отбирались самые мелкие, то есть самые вкусные, пролезающие в горлышко четвертной бутылки.

Можно представить, сколько тогда было рыжиков!

Мой дед по матери, Иван Матвеевич Воронин, сопровождал такие обозы в Питер больше двадцати раз. Он служил у купца Крылова, имевшего двухэтажные каменные хоромы в большой деревне Исаково, в приказчиках.

Крылов и женил дедушку на моей бабушке, она была моложе Ивана Матвеевича на 30 лет и тоже работала на купца. Бабушка не хотела идти за «старика», но Крылов сказал: «Пойдёшь, Уля, за Ивана – дам вам в приданое дом, корову и лошадь. А не пойдёшь – останешься в девках...» И бабушка согласилась. Поженились они перед самой революцией. Избу молодожёнам купец отвёл в Стойлове – в пяти километрах по прямой от Исакова. Исаково находилось ещё дальше от Петербургского тракта и кончилось раньше Стойлова. Купеческий дом стоит там одиноко и до сих пор, в 70-е годы затевали создать в нём санаторий для туберкулёзных больных, уже и ремонт кое-какой сделали, да споткнулись на дороге – если тянуть её по лесу, в большую копеечку влетит; так всё и бросили.

В долгих поездках в Питер (а обозы туда водили только зимой) дедушка застудил ноги, и последние несколько лет «лежал в углу», то есть не мог ходить. Бабушка ухаживала за ним, в баню на санках возила. Преставился Иван Матвеевич в 1935 году, почти за двадцать лет до моего рождения, оставив бабушку вдовой с четырьмя детьми на руках. Несколько первых детей умерли у них во младенчестве, зажили четверо, мама моя родилась последней – в 1927 году. Сестру её старшую, Аннушку, в девятнадцать лет свёл в могилу туберкулёз.

– Умирала она весной, – вспоминала мама, – на улице весело так было, ляга разлилась, птички кругом пели, девки с парнями гуляли. Вот с вешней водой и ушла Аннушка. Уж как не хотелось ей белый свет покидать...

Но я возвращаюсь к тому, с чего начал это отступление, – к красным рыжикам.

В лесу за Стойловым – в сторону Исакова – на двух больших полянах, поросших мелким сосняком, в изобилии росли рыжики. Поляны эти почему-то назывались Морковниками – Первый Морковник и Второй Морковник. По всей видимости, в прошлом веке на месте этих полей была пахотная земля, и на ней выращивали морковь – иначе как объяснить столь чудные названия?

Теперь же вместо моркови здесь росли рыжики. Сами по себе эти рыжики были красивы, рыжего цвета с той и другой

стороны, с тонкими белыми кружочками по всей шляпке. Они не прятались в траве, а, наоборот, выбирались на открытые, прогретые солнышком места. Срезанный рыжик имел особый запах – запах земли, солнца, мха и сосны, вместе взятых. Некоторые экземпляры имели причудливую форму – как будто какая-то неведомая сила взяла рыжик в руки, смяла его, как глину, перекрутила и воткнула в землю. Мы называли такой рыжик «бабье ухо», с нижней стороны на нём был белый налёт, и стоял он не на ножке, а как бы целиком вырастал из земли.

Красные рыжики, в отличие от груздей и волнушек, солили сразу. Грузди и волнушки перед засолкой мочили два дня, выводили из них всю горечь, меняя несколько раз воду в посудине, где они были замочены. А красные – те в день сбора просто мыли в воде и тут же засаливали в ушат, ставя на них гнёт – сначала широкую тарелку или блюдо, а на неё – ошпаренный кипятком тяжёлый камень. Дней через десять рыжики уже были готовы к употреблению – с картошкой и сметаной они шли за милую душу и были до того вкусны – едока за уши от них не оторвать. А ещё рыжики, принесённые с Морковника, можно было тут же сварить в молоке – тоже своего рода деликатес.

На тех же Морковниках, на открытых местах, в начале июля поспевала земляника. До и во время войны земляники в здешних местах созревало очень много.

– Мы с девками малёночными бураками (грибными корзинами) носили землянику в город продавать. После обеда по бураку набираем, поставим в холодильник, в сени, а с утра пораньше бурак на руку и в город, – рассказывала мама, – двадцать километров пешком пройдем, продадим ягоды в городе, хлеба купим и обратно – в Стойлово. У меня в одно лето от бурака нарыв на сгибе руки сделался. Несёшь-то ведь бурак на руке, а он тяжеленный...

В наши детские годы столько земляники на Морковниках уже не росло, но всё равно мы, пяти-шестилетние ребята, частенько приносили домой полными небольшие корзинки – хватало и к чаю, и на ягодницу. Ягодница делалась просто: в кринку насыпалась земляника, заливалась молоком и толклась деревянным пестиком. Ягодница с чёрным хлебом – объедение!

Молоко нам давала наша корова Зорька, часто убегавшая с покотины домой, за что пастух Семён Фомкин, по прозвищу Гром, живший в примаках в Калахтине, грозился «обломать» ей ноги.

– Ворониной корове ноги надо обломать! – кричал он, когда Зорька убегала из стада и уводила с собой ещё несколько бурёнок. И однажды Гром, по всей видимости, сдержал своё слово: наша кормилица стала припадать на задние ноги, хуже есть, меньше давать молока. Мама с бабушкой поплакали-поплакали, и решили сдать Зорьку на мясо, тем более что в те хрущёвские времена личный скот держать было трудно – для своих коров даже сено косить запрещали, косили украдкой, по ночам, на лесных полянах.

Участь Зорьки была решена, и корова, почувствовав неладное, в свою последнюю ночь пребывания в деревне открыла ночью хлев, ушла к Васишиным за сарай и там простояла до утра.

Мама нашла утром Зорьку за першинским сараем, навязала ей на рога верёвку и повела за двадцать километров в райцентр – на бойню. Чтобы управиться со всеми делами, ей пришлось заночевать в Каргополе у дальней нашей родни. На другой день утром я увидел из окна мамину фигурку, показавшуюся на опушке леса, на той стороне ручья и побежал ей навстречу. Мама показала мне спичечную коробку, в которой лежали вырученные за Зорьку деньги. На эти деньги мы потом купили железную кровать с никелированными спинками, с пружинной сеткой, на колёсиках...

Бабушка моя, Ульяна Яковлевна, ослепла, когда мне минуло пять годиков и когда мы ещё держали корову. Ослепла на оба глаза – тот и другой затянулись бельмами. Маме стало трудно управляться с хозяйством, со мной, Толькой и слепой бабушкой. На работу она ходила каждый день за четыре километра – в Жуковскую. Четыре километра туда, четыре обратно, после семи часов физического труда (мама была разнорабочей в колхозе) в любую погоду. Три раза в неделю на обратном пути она ещё делала крюк в два километра – заходила в магазин в деревню Артёмово. Артёмово было в стороне от тракта и в пять раз меньше Жуковской, но магазин и школа пока ещё находились там – их перевезли в Жуковскую, когда мы уже жили в ней. Мама покупала в магазине хлеб, другие продукты и возвращалась с тяжёлой ношей прямой лесной дорогой из Артёмова в Стойлово. Мой брат Толька с Вовкой Часовенным ходили по этой же дороге в школу.

Маме было трудно, из Саратова приехала её сестра, моя тётка Мария Ивановна и увезла в Саратов Тольку, чтобы немножко облегчить нам жизнь. Толька пробыл у нашей родни целый год, там он закончил пятый класс.

Рано утром мама уходила на работу, и мы со слепой бабушкой оставались на целый день одни. Бабушка очень переживала потерю зрения, она несколько раз в течение дня ощупью выбиралась на крыльцо и, стоя на крыльце, громко кричала:

– Валька! Валька!

Это она звала маму, хотя и знала, что та до позднего вечера с работы не придёт. Бабушка всё время держала меня около себя, не выпуская на улицу. Мне иногда это надоедало, и я убегал от неё, пользуясь бабушкиной слепотой и тем, что дальше крыльца она уйти не могла. Дядя Саша Васишин впоследствии любил вспоминать:

– Иду я мимо Ворониной избы, гляжу: Сашка сидит под берёзой в пяти шагах от крыльца, а Ульяна стоит на ступеньке и кричит: «Шурка! Шурка!» А Сашка палец к губам прикладывает, дескать, молчи, не выдавай меня.

Один раз, собираясь утром на работу, мама перестилала бабушкину постель и нашла под соломенным матрацем верёвку с уже готовой петлей. Мама в тот день долго плакала, на работу не пошла, всё разговаривала с бабушкой. С того раза к нам каждый день стала заходить тётка Дуня Шумилова и разговаривать с бабушкой о том, о сём.

Тетка Дуня была уже на пенсии (хотя разве можно назвать 10 рублей пенсией?), а муж её, дядя Вася, по прозвищу Котома, ещё работал. Мама ходила на работу вместе с ним: вдвоём дорога, особенно в осеннюю темень и слякоть, была не такой страшной.

Тётка Дуня сажала много репы и брюквы, которые парила потом в русской печке в чугушке и сушила, нарезав овощи мелкими кусочками, на железном противне. Сушёные овощи назывались парой, пара была вкуснее всяких там леденцов и ирисок, её можно было подолгу держать за щекой и сосать, как конфетку. Сырая же пара – из чугуна (в чугуна тётка Дуня клала овощи, разрезав их пополам) была такой же вкусной, твёрдые куски репы и брюквы превращались почти в кисель, их можно было даже не кусать, а жевать, как кашу.

Иногда я помогал тётке Дуне пилить дрова – стоял по ту сторону «козлов» и дёргал на себя пилу-двухручку. Дрова были нетолстые – берёзовые и ольховые кряжи, такой кряж тётка Дуня без всяких усилий водружала на «козла», и мы распиливали его на шесть-восемь поленьев. За час-два дёргания за ручку пилы я получал щедрое вознаграждение в виде сухой пары и счастливый бежал к бабушке или Сашке Ермакову – хвастаться «заработком».

У Шумиловых в Архангельске жили две дочери, Граня и Зина, приезжавшие каждое лето в Стойлово в отпуск со своими мужьями. Раз мы с Сашкой Ермаковым пошли на Первый Морковник за земляникой и случайно наткнулись там на почти голых Зину и её мужа. Мы с Сашкой испугались до полусмерти, побежали обратно в деревню и рассказали про увиденное нашей бабушке: нам показалось, что муж душил Зину. Однако, выслушав наш сбивчивый рассказ, бабушка вдруг рассердилась:

– Ништо, – сказала она, – не задушит. Ишь, углядели... Молчите и никому ничего не говорите...

Кроме уже названных мной семей в Стойлово ещё проживали: дедушка Саша Осинин, нищенка баба Ольга со стариком Олёшей Едакиным и другие Часовенные – считающиеся богатыми старики Степан Павлович и Анна Фоминична.

В престольные праздники (а в Стойлово их почитали) бабушка говорила мне:

– Сбегай к Анне Фоминичне, скажи ей «с праздником», она тебе гостинца даст.

Старики Часовенные жили в громадном доме, крыша на котором была покрыта осиновой дранкой. У них единственных в деревне в сенях и во всех комнатах красились полы. Сын Степана Павловича и Анны Фоминичны занимал какой-то высокий пост в Москве и ежемесячно присылал родителям, как говорила Ольга-нищенка, «шамашедшие» деньги. Часовенные были нам немножко родня:

военный лётчик Николай Егорович, живший с маминной сестрой Марией Ивановной в Саратове, приходился им племянником.

Я бежал к дому стариков, со страхом открывал двери в избу, с ещё большим страхом ступал на крашеный пол цвета яичного желтка (у нас полы «шоркались», каждое воскресенье мама натирала половицы песчаным камнем, а потом мыла их). Анна Фоминична, приняв мое поздравление, подавала мне большую глиняную кринку, полную свежей стряпни: шанёжек,

наливок и картофельных калиток, а в Пасху сверх того – несколько крашенных куриных яиц.

Теперь, по прошествии стольких лет, помня доброту Анны Фоминичны (её могилка на сельском кладбище, где я бываю каждое лето, находится рядом с могилой моей бабушки), я обрываю траву на бесхозном холмике и представляю, как бегу по тропинке к нашей избе, бережно держа перед собой кринку с праздничными дарами. Степан Павлович, умерший в одной из больниц Архангельска, там и был похоронен, московские внуки, видно, забыли родину отца: креста на могилке Анны Фоминичны нет, и теперь мало кто в округе знает, кому принадлежит этот, поросший травой, бугорок.

...Глава семьи других Часовенных, живших напротив нас, Николай Иванович очень любил охоту. Он держал собаку, по кличке Барбосиха, и шастал с ней по окрестным лесам, дичь в которых в то доброе время если не кишела, то водилась в достатке.

По осени дядя Коля приносил домой сразу по несколько убитых рябчиков и каждый вечер ощипывал их, сидя на крылечке. Птичий пух и перья он никогда не выбрасывал: жена его, тётка Нюра, использовала то и другое для набивки подушек. Дядя Коля стрелял не только рябчиков, но и перелётных уток, сядившихся на отдых на лягу, косачей и даже глухарей. Подушки у них в доме были большие и мягкие, они стояли на кроватях одна на одной, закинутые лёгким тюлевым покрывалом.

Нам же дядя Коля всегда дарил крыло косача или глухаря – крылом было очень удобно подметать шесток русской печки. Когда крыло вынашивалось, приносил другое.

Как-то морозной зимней ночью в деревню пришёл волк, сел на дорогу между нашим домом и домом Часовенных и завыл. Дядя Коля выстрелил в волка, не выходя из дома – прямо из окна, и убил серого одним выстрелом. Пуля, пробив стёкла двойных рам, оставила в том и в другом по аккуратной круглой дырочке, на которые хозяева наложили потом – на каждое – по две больших чёрных пуговицы с той и другой стороны и пришили пуговицы друг к другу суровой ниткой.

Так эти пуговицы и красовались на стёклах – и год, и два, пока Часовенные не перевезли свой дом на новое место – в Жуковскую.

Однажды глубокой осенью, когда на земле уже лежал первый снежок, дядя Коля с Барбосихой гоняли по лесу куницу и загнали её в дупло осинового пень-колоды. Здоровенную осину когда-то сломало грозой, а пень-колода высотой в два метра осталась стоять, и в ней образовалось дупло.

Дядя Коля, загнав в него куницу, забил в отверстие дупла свои штаны, оставшись в одних трусах, срубил топором колоду у самого её основания и приволок на плечах в деревню.

Дома он переселил куницу из дупла в тушилку, – такие тушилки были в каждой деревенской избе, в них хранились угли для самовара. В круглой крышке тушилки изначально были проделаны дырочки величиной с сегодняшний металлический рубль, куница сидела в тушилке, и глаза её горели голубым огнём. Дядя Коля совал в дырочки небольшие кусочки мяса, и лесная пленница ела эти кусочки.

Слух о пойманной кунице дошёл сначала до Калахтина, потом до Овчинникова – следующей деревни, стоящей на тракте...

И где-то через месяц после поимки зверька из райцентра приехал милиционер на лошади и отобрал у дяди Коли куницу вместе с тушилкой – не мог же он везти её в город в заплечной сумке.

...Изба дедушки Саши Осинина стояла немножко на отшибе, окна у избы располагались высоко-высоко, из сеней в избу вела длинная лестница с откосами – в две широких доски по бокам. По этим откосам, скользким, будто натёртым лаком, мы с Сашкой Ермаковым катались на заднем месте, благо ширина их позволяла делать это. Дедушка Саша не ругал нас за эту забаву, наоборот, у него в избе всегда кипел самовар, и он приглашал нас «пошвыркать» с ним чайку. Дедушка Саша сам вёл хозяйство: он держал несколько овец, сам стирал, сам пёк в русской печке удивительно вкусные житники – круглые такие хлебы из ячменной муки.

Забегая вперед, скажу, что дедушка Саша Осинин жил в Стойлове до самого конца деревни, все жители уже разъехались, все избы были увезены, оставалась только его изба. Зимой он раз в неделю ходил на лыжах за продуктами в Жуковскую – магазин из Артёмова уже перекочевал туда, а как коротал время в своей окружённой снегами и лесами избе, без электричества, без общения с людьми – одному Богу известно. Один раз он рассказывал в магазине бабам:

– Третьего дня уже спать собрался валиться, слышу – колотится кто-то в окошко. А окошки-то у меня высоко, я подошёл, поглядел: на улице темно, ничего не видно. Тут в другое окошко кто-то опять стукнул и крикнул во всё горло: «Эй, товарищ!» Я всю ночь не спал, сидел на кровати – душа в горсти.

А как-то поздней осенью по пьянке завалился к дедушке Саше местный балагур и весельчак дядька Вася Шумилов. Чего понесло его в такую темень и бездорожье в Стойлово, он и сам не мог объяснить – пьяный был шибко. Дед напоил его чаем, гость лёг спать на широкой лавке, подложив кулак под голову, – как ни уговаривал его хозяин на свободную кровать перейти – не перешёл.

Утром дед проснулся – нет в избе никакого гостя. Он уж решил, что явление было, померещился ему Василий, но потом встретил его в магазине, и тот сознался, что проснулся среди ночи, не стал будить деда – ушёл восвояси в Жуковскую.

Зато летом дедушка Саша блаженствовал в Стойлове. Хорошо, видать, было ему одному в белые ночи, когда всё вокруг цветёт и зеленеет, сидеть на крылечке своего дома, в своей родной деревне, где родился, вырос и состарился.

Летом сюда почти каждый день пастухи пригоняли коров на водопой, мальчишки из Жуковской приезжали на велосипедах купаться в ляге. Дед специально приходил на лягу и звал пастухов и мальчишек пить чай – самовар у него всегда кипел.

Иногда летом заглядывали в Стойлово бывшие его жители, переехавшие в Жуковскую или в Каргополь, а иногда и стойловцы-отпускники, живущие в дальних городах. Приезжали они сюда вспомнить деревенское детство, трудные военные годы, посидеть под берёзами да черёмухами, до сих пор родными, попить водочки и поплакать, не стыдясь, горючими слезами. Водку, естественно, отпускники привозили с собой, а на ночлег останавливались у дедушки Саши. Он от всего сердца был рад гостям, грел без конца самовар и поднимал за компанию рюмочку – за свою родную деревню...

Ольга-нищенка научила меня в нежном возрасте играть в карты – в простого и подкидного дурака. С той поры, как бабушка ослепла, Ольга стала часто приходиться к нам, «шторы Ульяне не тошкливо было», и мы с ней резались в карты час, и два, и три без передыха. Когда я оставлял её в дураках, Ольга ничуть не сердилась. Была она старая, седая и кормилась тем, что ходила по окрестным деревням, гадала на картах и попрошайничала ради Христа. Пенсия Ольге не причиталась, и, когда же её сожитель, бывший красный партизан Олёша Едакин получал пенсию, в небольшой их избушке был праздник с выпивкой и песнями. В такой день в гости к Ольге и Олёше приходил дядя Вася Котома, и они в два мужских голоса пели у открытого окна про объятого думой Ермака, сидевшего на диком берегу Иртыша.

Пенсион и прочую почту развозила на велосипеде по окрестным деревням Прасковья Аристова. Семья Аристовых проживала в небольшой деревушке под названием Туговино, коей также давным-давно нет на карте нашей необъятной родины. Газеты тогда были дешёвые, четыре семьи в Стойлове (в том числе и наша) выписывали районный «Коммунар», а Ермаковы и Першины – «Правду» и «Известия», так что раз-два в неделю Прасковья приезжала в деревню.

Олёша получал деньги и тут же шёл в Артёмово, в магазин – напрямую, по лесной дороге, до него было километра три. Там он покупал муку, чай, сахар и «Московскую» водку.

Ольга с Олёшей никогда не заготавливали дрова на зиму – лес был рядом, Олёша каждый день ходил туда и приносил на плече сухой ольховый ствол, каких в достатке стояло по опушкам, или небольшой берёзовый кряж. Он тут же, у крыльца, пилил и колол дрова, а потом над их домишком показывался из трубы голубоватый дымок.

Ольга-нищенка слыла заядлой чифиристкой, главным для неё, когда она просила милостыню, была раздобыть не хлеб, а чай. Она всегда носила с собой большую банку из-под консервов и кипятила в ней чифир там, где ей приспичит, иногда даже на обочине дороги, за канавой.

...Первое радио в Стойлове появилось у Васишиных. Дядя Саша с тёткой Зоей работали тут же, в деревне, на небольшом телятнике – откармливали бычков, коих потом колхоз сдавал на мясо.

Раз-два в году в Стойлово приезжали ветеринары – кастрировать телят. Полдня они работали: дядя Саша по одному загонял телят в специальную стайку, они вдвоём с ветеринаром держали перепуганное животное, второй ветфельдшер лишал бычка его бычиного достоинства и прижигал пораненное место йодом и ещё какой-то противно пахнущей жидкостью.

А потом ветеринары шли к Васишиным, жарили там на сковородке телячьи причиндалы, пили неразбавленный спирт, привезённый с собой, и закусывали жарким с картошкой.

Першины получали за свою работу на телятнике неплохие деньги, и однажды дядя Саша привёз на лошадке из райцентра радиоприёмник «Родина» и батареи питания к нему. Приёмник был большой, размером в два посылочных ящика, а батареи хоть и небольшие, но тяжелящие, будто залитые свинцом.

Вечерами всё Стойлово стало собираться у Васишиных – слушать радио. Я помню тревожные вести с Кубы, которые доносила «Родина» до нашего захолустья, помню Карибский кризис, о котором беспрестанно говорило радио, и взрослое население деревни пугало друг друга близкой войной с Америкой.

Вместо разряженных дядя Саша привозил из райцентра новые батареи питания, а старые мы с Сашкой Ермаковым разбивали о камни – внутри их содержалась чёрная масса, похожая на размолотый древесный уголь, и длинные круглые чёрные стержни с блестящими металлическими головками. Стержнями мы рисовали на стене ермаковского сарая чёрные круги, а потом пуляли в эти круги камнями, выясняя, кто из нас самый меткий.

А ещё я помню, как полетел в космос Юрий Гагарин, как об этом торжественно рапортовала васишинская «Родина» и как ликовало всё население нашей маленькой деревни. Сообщение о полёте передавалось несколько раз на дню, взрослые и дети сидели около приёмника и, затаив дыхание, смотрели на зелёный глазок размером с небольшую пуговицу, горевший на передней его части. Глазок этот казался стойловцам самой важной частью «Родины».

Гагарин полетел в космос в апреле, а месяца за два до этого в Стойлово приехал на лошадке священник из Каргополя и окрестил всех деревенских детишек. Моим крёстным отцом стал дядя Саша Васишин (он держал меня на руках во время обряда крещения), а божаткой – его жена, тётка Зоя. Сам обряд я запомнил плохо, помню только, что бабушка была очень рада, она гладила крестик на моей шее и приговаривала: «Без Бога – не до порога...»

В нашей деревне никто из взрослых в партии не состоял, а вот в соседнем Калахтине партийным был Николай Лушин, прозванный Левитаном (о нём речь впереди), он окрестил своих четверых детишек, и его, как говорил мой крёстный, «выкинули» из партии. Почему каргопольский священник решился на миссионерский вояж по деревням – до сих пор неизвестно, намного позже я узнал, что поступок этот не прошёл ему даром: поп попал в опалу, его вызвали в епархию, откуда он больше не возвратился в каргопольскую церковь Рождества Богородицы – свой приход. Сюда назначили другого священника.

Наш Толька и Вовка Часовенный уже носили пионерские галстуки, и Ванька Артамонов тоже. Они вынуждены были положить свои крестики на учительский стол после крепкой головоломки, за что их помиловали и оставили в пионерах.

...Сеня-Гром, угробивший нашу корову Зорьку, сыграл ещё одну злую шутку с нашей семьёй. Однажды зимней ночью, будучи пьяным, он пришёл из Калахтина в Стойлово и стал стучаться в двери нашей избы. Грома все боялись, потому как он неоднократно сидел в тюрьме и с виду был страшен, особенно страшными казались его глаза: навывкате, с бесовской искрой в зрачках.

Мама с бабушкой решили не открывать Грому, он стал угрожать, что сожжёт нашу избу и нас вместе с ней. Он принёс из поленицы охапку дров, уложил их на крыльце и стал разводить огонь. Мама с бабушкой плакали, я тоже плакал. Наши соседи Часовенные, видимо, крепко спали и ничего не слышали. Бабушка велела маме потихоньку выйти в хлев, вылезти из хлева на улицу в окошечко, через которое убирали навоз из-под Зорьки, и бежать к Васишиным – за подмогой.

Мама так и сделала: вылезла через хлев, по сугробам добралась до тропинки и побежала к Васишиным. Гром увидел её, кинулся вслед, догнал на крыльце у Васишиных и начал душить. На шум выскочил мой крёстный с ружьём и отогнал Грома, тот, матюгаясь, пошёл в свое Калахтино.

Потом мама хотела заявить в милицию, но её отговорили, сам Гром приходил из Калахтина извиняться: он там уже три года жил в приёмных, и у приютившей его женщины уже родились одна за другой две девочки. Ради этих девочек Гром был прощён. А я той ночью был сильно напуган. Этот, и ещё несколько факторов повлияли на мою речь – я стал заикаться, сначала почти незаметно, а потом всё сильнее (особенно в школьные годы) и заикаюсь до сих пор, как ветхозаветный пророк Моисей и как мой литинститутский учитель Александр Межиров.

Накануне инцидента с Громом мой крёстный повёз троих взрослых и меня на санях, на коне Баяне, в Жуковскую – в кино, в сельский клуб. Это была первая моя «вылазка» в большой свет, правда, она состоялась в темноте, кроме белого снега, ярких звёзд на небе и тёмного леса с двух сторон Ленинградского тракта я ничего не видел. Но кино меня поразило: показывали «Последний дюйм» по Джеймсу Олдриджу, цветной – на белом экране. Я ещё и сейчас помню кадры из фильма: мужчина в акваланге фотографирует под водой акул, те его кусают, и на экране появляется человеческая кровь. Я заплакал тогда, мне было очень страшно, да то и понятно: что я видел в своей небольшой жизни, кроме стойловского пейзажа? А тут: полный клуб народу, электричество, треск дизельного движка за стеной, луч света из кинобудки на экран в тёмном зале, и всё происходящее на этом экране.

...Второй мой выход в «большой свет» состоялся летом. Солнечным воскресеньем мы с мамой пошли в магазин в деревню Артёмово, но не по прямой дороге – через лес, а другим – длинным путём, через Калахтино и Овчинниково, стоявшие на большаке (второе, более часто употребляемое название Петербургского тракта) – мама решила показать мне эти деревни.

Большая дорога удивила меня своей шириной, жёлтым песком и камнями, втрамбованными в песок. Пока мы шли от Калахтина до Овчинникова, по большаку проехали два грузовика с деревянными кузовами, поднимая за собой клубы пыли. Я видел машины во второй или в третий раз в своей жизни и был поражён их скоростью, шумом и оставшимися за ними пыльными хвостами.

И в Калахтине, и в Овчинникове к нам подходили деревенские бабы, здоровались с мамой, гладили меня по голове и предлагали нам зайти выпить чаю. Но мы спешили в Артёмово и добрались до него уже за полдень. Этот счастливый день был наполнен для меня кучей впечатлений, да ещё вдобавок ко всему мама купила мне в Артёмове пластмассового медвежонка. Обратно в Стойлово мы шли напрямую – по лесной дороге, я держал медвежонка на руках и успокаивал его: дескать, я тебя, Мишенька, не брошу тут в лесу, не оставлю под кустом на съедение волкам, а принесу домой, буду с тобой играть и никому тебя не отдам.

В детстве я очень любил сказки. Их рассказывала мне бабушка, даже не сказки, а взаврадашные истории, связанные с лешими, ведьмами и чертями. Бабушка говорила: «Шурка, не бегай вечером за ручей – там, в поле, сидит сковородница. Ещё утащит тебя в лес!» Я пытался в своем воображении нарисовать эту самую сковородницу, и у меня получался образ лохматого животного, похожего на Барбосиху со сковородником вместо хвоста. Сковородник – это такая металлическая держалка на длинном деревянном черенке, с помощью его прихватывали и сажали в русскую печь сковородки с пирогами и наливками и доставали их обратно из печки.

А мама приносила по пути с работы книжки из деревенской библиотеки – из Жуковской и читала мне длинными зимними вечерами сказки. Я, не уча ещё алфавита, в шесть лет знал наизусть всё «Федорино горе» Корнея Чуковского и почти треть ершовского «Конька-горбунка».

Помню, меня очень тронула сказка про мать и её непослушных детей, про то, как она сделала себе крылья, обратилась в кукушку и улетела от них. Мне было очень жаль и кукушку, и брошенных ребят, я просил маму, чтобы она не улетала от меня, говорил, что буду всегда её слушаться...

Потом я пересказывал сказки Сашке Ермакову. Сашка слушал меня, раскрыв рот, и в знак удивления не восклицал, а разводил руками, как его глухонемая бабушка, которую в деревне звали не иначе как просто – куимка.

Сашкина бабушка не умела говорить и объяснялась с жителями деревни с помощью жестов. Сашка неосознанно кое-что перенял у неё и иногда пытался разговаривать со мной жестами. Сидим мы с ним, допустим, на черёмухе, едим спелые ягоды, а там, за ручьём, на дороге показывается со стороны Калахтина человеческая фигурка. Мы гадаем, кто бы это мог быть? Сашка трогает меня за плечо – чтобы я повернулся к нему, обеими руками начинает закручивать над верхней своей губой невидимые усы, а потом приставляет одну руку к животу: дескать, там идёт Олёша Едакин. Олёша носил длинные усы и бороду почти до пупа.

Одним из любимых занятий у нас с Сашкой было катание по деревне железных ободов от тележных колёс и обручей от больших деревянных бочек. То и другое можно было найти возле телятника, по соседству с которым после войны была небольшая конюшня. Обода и обручи хорошо катались как по травке, так и по дорожке. Можно было бежать и катить перед собой обод, подгоняя его рукой. Но существовал и другой способ: из толстой проволоки соорудалось что-то наподобие

ручки-держалки (на такой ручке держится валик для покраски стен), с одной стороны имевшей подобие крючка. Крючок охватывал обод с обеих сторон и с его помощью обод катился, издавая металлический звон и скрежет. Так хорошо, так уютно было мне в том деревенском детстве, где круглый день, с утра до вечера, звенел в солнечном зените жаворонок и катился по деревенской тропинке тележный обод, подгоняемый проволочной держалкой...

* * *

Конец Стойлова начался с того, что среди бела дня в деревню залетела кукушка, села на ёлку возле дома Ермаковых и начала куковать.
– Худо дело, – сказал дедушка Осинин, услышав кукушку, – или война будет или сторит деревенька наша. Ни войны, ни пожара, правда, не случилось. Вскоре началась хрущёвская компания по укрупнению деревень, стёршая с лица земли тысячи и тысячи поселений типа нашего, простоявших на этой самой земле не одно столетие...

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Федя – мой добрый гений. Познакомились мы с ним случайно, хотя, если следовать известной истине, ничего случайного не бывает. У Будды есть выражение: «Когда ученик созревает, Учитель появляется сам». К моменту нашего случайного знакомства я, видимо, «созрел» для стихов, и тут появился Федя. Появился он в городе Северодвинске за столом моего крестника Шуры Ипатова, известного в «провинции у моря» поэта и диссидента. И я оказался там, буквально на два часа, проездом из «Махачкалы в Копенгаген», то есть из районного города Шенкурска в районный город Каргополь. За этим столом и бутылкой красного вина мы и познакомились, и я прочёл свои первые вирши, именно – вирши, а не стихи, потому что стихами мои изначальные поэтические опыты назвать никак нельзя. Среди прочих там было такое:

Скрылось солнце за лесной опушкой,
Ночь туманом землю устилает.
Только запоздалая кукушка
Жизнь мою в осиннике считает.

Ах, какая добрая вещунья –
Девяносто лет накуковала!..
Отчего ж, задумавшись, грущу я? –
Девяносто лет – не так уж мало.

Только вряд ли правду мне сказала
Птица – такова её порода:
Мне вчера цыганка нагадала,
Что умру через четыре года.

Федя выслушал его и сказал:

– Г-м... Кукушку с цыганкой, по-моему, ещё никто не сравнивал...

А через месяц в мою деревенскую глушь пришло от него пространное письмо, даже не письмо, а целый трактат об основах стихосложения. И такие письма-трактаты я стал получать от Фёдора регулярно: мой добрый гений учил, как надо писать стихи, открывал мне имена многих и многих, не известных мне доселе поэтов, слал книжки.

А потом он пригласил меня в Москву в гости. Это был октябрь 1982 года, канун смерти Брежнева. На станции Няндомы за час до столичного поезда со мной случилось небольшое приключение. Я носил тогда длинные – до плеч – волосы, они у меня были чёрные и густые, не то, что сейчас – седые и редкие. Человек, не знавший, что я – коренной каргопол, ни за что не счёл бы меня за земляка, сказал бы: «Чурка ты азиатская». Так, между прочим, частенько и случалось. Дежурившие на вокзале менты (этих двоих мне здесь хочется назвать именно ментами, а не милиционерами), тоже, по всей видимости, приняли меня за нацмена. Да к тому же один из них засёк, как мы, скооперировавшись с двумя мужичками, выпили за углом вокзала бутылку вермута. Лично я пил, чтобы не так скучно и одиноко ехать: слишком уж редко приходилось мне оказываться среди незнакомых людей – считай, второй раз за семь лет от дома оторвался. Выпили мы, прошёл я в зал и присел на скамейку в ожидании прибытия поезда. Тут и положил мне руку на плечо один из ментов:

– Гражданин, пройдёмте.

Вход в милицескую дежурку был с тыльной стороны вокзала. Только я ступил за порог, мой провожатый размахнулся и со всей силой вонзил кулак мне под дых. Второй, вошедший следом, рванул за лацканы пиджака на мне (пальто я сам ещё в вокзале расстегнул – душно было) – только пуговицы с пиджака на пол посыпались. Я не успел прийти в себя, как менты быстренько обшарили мои карманы, вытряхнули на стол их содержимое вместе с кошельком, раскрыли нехитрую дорожную сумку. Что мне оставалось делать в такой ситуации? Сопротивляться – себе дороже. Менты, наверное, решили нажиться за мой счёт: почему бы «чурку» и не обчистить, раз он на вокзале оказался без соплеменников? Один из них вынул из моего паспорта билет на поезд, раскрыл паспорт, полистал:

– Так ты что – каргопольский?! – спросил недоумённо.

– Как видите... – ответил я.

Менты, поняв, что обмишурились, посмотрели друг на друга вопросительно...

– Знаешь что, друг, хватай свои шмотки и дёргай отсюда. И никому – ни слова! Иначе... – пригрозил спустя минутную паузу мент с сержантскими погонами.

Я не заметил, как и когда менты всё-таки сумели выпотрошить содержимое моего кошелька, обнаружилось это уже в поезде, который подошёл через десять минут после освобождения из дежурки. Хотел я купить у проводницы бельё, кошелёк открыл, а он – пустой... Хорошо, Федя встретил меня у вагона, а то и пяточка на метро эти сволочи не оставили. Так, без копейки денег, в пиджаке с оторванными пуговицами и вышел я на перрон Ярославского вокзала.

Федя в тот отрезок времени также испытывал денежные затруднения. На третий день по моему приезду, пока мы бродили вокруг Новодевичьего монастыря (Федино жильё находилось с ним рядом), в голову ему пришла чудесная мысль: – Слушай, давай-ка я отвезу тебя на дачу к одному писателю. Поживёшь у него, пока я финансами не разживусь. Это такой русский Стивенсон. Читал роман «Наследник из Калькутты»? Так вот, написал его он – Роберт Александрович Штильмарк. В сталинских лагерях написал. Сам – из обрусевших шведов. Честно признаться, «Наследника» я до сих пор не прочёл, а имя писателя мне в то время ничего не говорило. Тем не менее я оказался у него на даче, в Мытищах. Когда мы с Робертом Александровичем познакомились поближе, я узнал, что дача эта ему не принадлежит, семья Штильмарков снимает её. – Квартира у нас в спальном районе Москвы. А раньше была в центре столицы. Надо мной жил космонавт, подо мной – Герой Советского Союза, – разоткровенничался со мной старый писатель. – Бывшей жене я всё оставил. Что делать? – влюбился в молодую, пришлось пожертвовать некоторым благополучием... Да, новой, кажется четвёртой, жене Роберта Александровича – Александре – в момент моего пребывания в Мытищах было под сорок, а ему – далеко за шестьдесят. Встретил он свою последнюю любовь на Соловках, где побывал с делегацией московских писателей. Александра работала там экскурсоводом. Скоропалительный роман между ними завершился тем, что Александра переехала в Москву к своему возлюбленному. Разница в возрасте между ними сразу бросалась в глаза, может быть, поэтому как при посторонних людях, так и при близких молодая жена называла мужа «папой». Они воспитывали прелестную дочку Марусю, ей в то время было лет пять. И жили более чем скромно. Об этом мне дал понять Федя в первый вечер по приезду в Мытищи, за ужином. Я оставил на тарелке часть картофельного пюре, сказав, что уже наелся. Федя шепнул мне на ухо: – В этом доме съедается всё... Стояла тихая подмосковная осень, на мытишинских огородах горели костры из опавших листьев, в воздухе вместе с отлетающими птицами носилась щемящая грусть по уходящему лету. Чтобы хоть как-то отработать кусок хлеба, я бегал в магазин за продуктами (деньги давала Александра) и копал лопатой гряды на дачном огороде. Вечерами же читал диссидентскую литературу, в основном запрещённого тогда Солженицина. А Роберт Александрович слушал «вражий голос» по старенькому транзистору и писал рецензии на прозу начинающих авторов. Рукописи для рецензий он брал в издательстве «Молодая гвардия», издательстве, которое через каких-то семь лет открыло мне дорогу в тот же Союз писателей, в котором состоял Штильмарк. А пока я был ещё никем, а точнее – почти графоманом с багажом в каких-то двадцать стихотворений, ни одно из которых позже я не включал в свои публикации. Хотя, благодаря некоторым из них, меня впоследствии приняли в круг архангельских диссидентов, да и во время моего пребывания в Москве Федины знакомые (сплошь – диссиденты) удивлялись: надо же, парень в деревне живёт, а тоже туда, куда и мы! А удивляло их, например, стихотворение, написанное мной на незаслуженное вручение Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу золотой сабли и ордена Победы, который во всём СССР имели только маршал Жуков и сам Сталин:

Смотрю концерт по «телеку»,
Сижу, ушами хлопаю.
От смеха аж истерика,
На животе аж опухоль.
А что идёт – не ведаю:
Артисты экстра-класса
Какую-то комедию
Играют перед массами.
Кому, не различаю –
Там все вскочили с мест –
Торжественно вручают
Георгиевский крест.
Вручили... Шуму столько...
Захлопала беседашка.
Смотрю: стоит у столика
Какой-то странный дедушка –
В мундире, при регалиях,
С турецким ятаганом,
В египетских сандалиях,
Но, правда, без нагана.
Регалий-то, регалий –
Свободных нету мест!
Ещё за что-то дали
Георгиевский крест.
Он высказаться хочет –
Помочь бы старику,
Хлопочет и бормочет,
Ну смех, ну – не могу! –
Он что-то оправдает,
Он всем ещё задаст!..
А в зале все кивают
И хлопают за нас.
Мне б тоже хлопать ручками,
Но я держусь пока.
Взять, что ли, авторучку
И написать в ЦК?
Спросить их: а за что же
Георгиевский крест?
Но тут уж, брат, построже,
Тут сразу под арест!
Не пропоёт и птичка –
Доставят прямо в рай.
Напейся-ка водички
И – баинькать давай...

Сейчас, может, эти стихи могут показаться безобидными, но тогда, во времена ползучего сталинизма, прознай про них КГБ, по головке меня бы не погладили. А то что моя фамилия была известна этой организации, я узнал некоторое время спустя, как от моих архангельских знакомых, которых время от времени таскали в Комитет, так и от моего друга Коли Харитонова, рассказавшего мне на втором курсе Литинститута:

– Подходил ко мне один товарищ – сотрудник госбезопасности, предлагал на тебя компромат собирать и ему докладывать. Так и сказал: мы интересуемся твоим новым знакомым А.А. Росковым, в частности – тем, что он там пописывает, с кем водится...

Коля, конечно, послал гебиста подальше, а потом и сама эта страшная организация вступила в не лучшую пору своего

существования. И, надо думать, папочку с моей фамилией списали в архив. Но в том, 1982 году, само название – КГБ – на московских кухнях произносилось чуть ли не шёпотом.

Роберт Александрович, прослушав стих про Георгиевский крест, одобрительно покачал головой и без всяких колебаний разрешил мне читать «запрещёнку», сохранившуюся у него после обыска. А про обыск я узнал от Феди: год назад КГБ арестовало у Штильмарка рукопись автобиографической книги «Горсть света». Сам писатель давно находился под «колпаком у Мюллера», то бишь под надзором гебистов.

Штильмарк таскал в кармане круглое розовое стёклышко, которое называл «глазом оптимиста». Посмотришь сквозь это стекло на окружающий мир, и он предстаёт перед тобой целиком и полностью в розовом цвете. Сам писатель, носивший окладистую седую бороду, очень походил на волшебника из доброй сказки, особенно когда прикладывал к своим круглым роговым очкам «глаз оптимиста».

Надо сказать, что близких друзей среди писателей у него не было. В своё время он дружил с Иваном Ефремовым. На память от великого фантаста у него осталась демисезонная куртка, в которой я бегал в магазин и копал огород. Из разговоров между супругами я слышал, что Штильмарк хорошо знаком с тогдашним Патриархом Русской Православной Церкви. Однажды, когда хозяйева дачи отсутствовали, раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Бархатный голос в ней представился архимандритом таким-то и спросил Роберта Александровича. Узнав, что его нет дома, архимандрит поблагодарил меня и пожелал оставаться «с Богом».

За время моего пребывания в Мытищах автор «Наследника из Калькутты» успел съездить с группой писателей на несколько дней в Западную Украину, в Ужгород. В то время страна строила газопровод Уренгой – Ужгород с целью снабдить голубым топливом Западную Европу. Литераторам власти показывали грандиозную стройку. Перед отъездом писатель сетовал:

– Только бы в одно купе с поэтами не попасть. Чего не люблю, так это ездить с пьяными поэтами...

Роберт Александрович отбыл во Львов, а мы с Александрой поехали на следующий день в Загорск, в Троицкую лавру, которая произвела на меня громадное впечатление величию своих храмов и массой народа, пришедшего поклониться святым местам. И это в то – безбожное – время. Мы приложились к мощам Сергия Радонежского, полюбовались на рублёвскую Троицу, затем отстояли службу в главном соборе лавры, приложившись в конце её к кресту в руке облачённого в серебряные одеяния священника. Александра захотела купить свечки – домой, полезла в сумочку и оказалось, что кошелек в ней нет.

– Наверное, около раки с мощами Сергия оставила! Я же там мелочь на храм жертвовала! – спохватилась она.

Мы поспешили в ту церковку, где была установлена рака. Народ по-прежнему толпился около неё, кошелёк Александры лежал на том же месте, где она его оставила. И это после более чем полуторачасового нашего отсутствия.

– А чего тут странного?! – не удивилась моя спутница. – Это же храм, а не магазин.

В другой день мы ездили с ней и с Марусей в спальный район Москвы, в двухкомнатную квартиру Штильмарков, сплошь заставленную книгами. Ни ванной, ни душа на даче не было, и здесь я с удовольствием помылся.

Роберт Александрович вернулся через несколько дней полный новых впечатлений:

– Вот так Ужгород! – весело рассказывал он. – Там, мне показалось, одни диссиденты живут. Вот, например, главная улица города названа какой-то мужской фамилией. Я спрашиваю у прохожих: «Кто этот герой, чьим именем?..» И так далее. Несколько человек посмотрели на меня как на сумасшедшего. Один плюнул мне под ноги и пошёл дальше. Другой сказал: «Не знаю, знать не хочу и вам знать не советую...» И только, наверное, от десятого человека я узнал, что улица названа в честь какого-то чиновного коммуниста, погибшего от рук бандеровцев.

А потом Штильмарк взял меня в Москву, ему нужно было сдать в «Молодую гвардию» отрецензированные рукописи, получить там деньги и выступить в одном из кулинарных техникумов столицы – за такие выступления ему платили как члену Союза. Так я впервые побывал в настоящем книжном издательстве: вошёл туда с благоговением и вышел с благоговением ещё большим.

Кулинарный техникум мы искали минут двадцать, кружа вокруг да около. Несколько встречных прохожих на наш вопрос, как его найти, смеялись и отвечали, думая, что мы их разыгрываем:

– Спросите у Хазанова! – Известный сатирик в те времена произносил свои монологи от имени студента кулинарного техникума.

А ещё мы ездили с Робертом Александровичем в один из подмосковных санаториев (название забыл), опять же – на выступление. Перед выходом писателя на сцену нас очень вкусно покормили, даже по рюмочке налили. Во время выступления Штильмарк преображался, он как будто сбрасывал с плеч полтора десятка лет: сыпал остротами, шутил, потрясал слушателей своей памятью на даты, фамилии и события. Одна довольно-таки молодая дама спросила его с места:

– Прошу прощения за вопрос: сколько вам лет?

– Я мог бы ещё вам понравиться! – уклонился он от прямого ответа.

Штильмарк, несмотря на свою длительную отсидку в сталинских лагерях, любил Россию. Недаром последующие за «Наследником из Калькутты» его книги назывались «Образы России», «Повесть о страннике российском», «Звонкий колокол России» – о Герцене. В момент же моего пребывания в Мытищах писатель работал над книгой о русском драматурге Александре Николаевиче Островском. Эта книга вышла впоследствии под названием «За Москвой-рекой».

Плюс ко всему Штильмарк не любил семитов. Я не знаю, какие к этому были предпосылки, но когда мы с Фёдей приехали в Мытищи попрощаться перед моим отъездом, Роберт Александрович на полном серьёзе сказал:

– Сначала помойте руки, а потом уже и здороваться будем. Вы же там со всякими евреями здороваетесь...

Во время перестройки один из сыновей писателя стал редактором газеты «Чёрная сотня»: видимо, с отцовской кровью передался ему антисемитизм.

...Вернувшись в деревню, я отправил Штильмаркам почтовый ящик клюквы – нужно же было отблагодарить их чем-то за гостеприимство. И вскоре получил письмо от Роберта Александровича, которое, к сожалению, со временем куда-то затерялось. Он благодарил меня за клюкву, делал кое-какие наставления в плане стихов – сам он в молодости грешил ими... А через три года его не стало...

* * *

Федя разжился финансами и приехал за мной в Мытищи поздним вечером. Мы покатали с ним на электричке в Москву. Он читал по дороге набоковское «Приглашение на казнь», напротив нас сидел майор милиции, и я всё боялся, что офицер увидит «запрещёнку» и нам обоим мало не покажется.

Но Фёдор, по всей видимости, привык к милиции (сам жил в милицейском доме) и знал, что милиция – не КГБ, ей диссидентская литература по фигу.

Площадь Фединой комнаты не превышала пятнадцати квадратных метров. Федя поделил её пополам – на своеобразные кухню и гостиную, сделав из шторного материала что-то наподобие перегородки. Милицейский этот дом был сталинской постройки с большими окнами и высокими потолками. Такими высокими, что между потолком и полом можно было бы разместить ещё один «этаж» или настелить – по-деревенски – полати и поставить на них кровать, холодильник, полку с книгами и меня вместе с раскладушкой, на которой я спал в импровизированной кухне.

Дом был огромный, квадратный, общежитского типа – с длинными широкими коридорами и несколькими просторными общими кухнями на каждом этаже. Федя ходил на кухню жарить яичницу и греть чайник и толкался там бок о бок возле плиты с милицейскими чинами, наверняка не воспринимавшими его всерьёз: ну дворник и дворник. Откуда им было знать,

что на их этаже живёт диссидент, за которым на родине, в Северодвинске, следил КГБ и считал его настолько опасным, что однажды в поезде «Архангельск – Москва» Фёдору устроили шмон, обвинив его в краже кошелька у одной из пассажирок, наверняка – подсадной утки. Конечно, не кошелёк искали гебисты в Фединых вещах, а запрещённую литературу, которой, к счастью моего доброго гения, в тот раз у него не оказалось. Зато сейчас в «гостиной» у Фёдора спокойно лежали на столе и Солженицын, и пастернаковский «Доктор Живаго», и набоковская «Лолита».

Федя по утрам подметал двор возле милицейского дома, днём читал лекции в каком-то (я тогда не вдавался в подробности) учебном заведении, а вечерами несколько раз в неделю ездил учиться сам – в аспирантуру. Фёдор по образованию – историк, знаток Римского права, древних Греции и Рима. И, как я говорил, – поэзии. Он и сам писал стихи. В ту осень 1982 года, после моего отъезда из Москвы умер Брежнев, и Федя разразился по этому и другим поводам, можно сказать, – гениальной поэмой, которую я сейчас попробую отрывочно процитировать. Она называлась:

Письма провинциала
Времени идиотского
В переводе с языка Марциалла
На язык Иосифа Бродского.

1

В провинции, мой Муммий, – не у трона.
Здесь уровень событий очень низок:
Тоскливо, как за пазухой Харона, –
Такой вот чёрно-белый телевизор.

Зря пишешь ты, что в Риме тоже скверно:
Когда ты возле башен с бабой вместе,
Для интуристов-дикарей, наверно,
Ты – как из «Клуба кинопутешествий».

2

Пустое, Муммий, пусть загнулся Цезарь.
Хотя по человечески – так грустно.
Ты знаешь, у меня дурное чувство:
Ведь – иды. Не могли его зарезать?

Сенату в радость, нам на удивленье.
Ещё бы жил да жил. Вот царства груз-то!
Печально, Муммий. И в душе смятенье:
Пустое место был, а стало пусто...

Таких четверостиший насчитывалось в поэме штук двадцать, да жаль – большая их часть стёрлась из моей памяти...

Конечно, это было здорово: иметь в огромном городе свою камору, своё гнездо в пятнадцать квадратных метров, где можно спрятаться от уличного шума, от посторонних глаз, остаться одному и спокойно уснуть рядом с грохочущим, как трактор, стареньким холодильником. А среди ночи проснуться, выскользнуть на балкон (да, у Феи был и балкон!), закурить сигарету и почувствовать себя частичкой Москвы, ощутить всеми фибрами, что ты живёшь в столице, что от твоего балкона рукой подать до Новодевичьего монастыря, а «двумя руками» – до самого Кремля; что здесь, под крышами этого мегаполиса, делается мировая политика, что тут живут многие талантливые люди: актёры, писатели, поэты...

– Сегодня мы едем в гости к одной художнице. Там будет поэт Лев Рубинштейн. Слышал про такого? – спросил меня Федя.

– Не-а, – отозвался я, – композитора с такой фамилией вроде слышал, а поэта – нет.

– Узнаешь...

Художницу звали Алёной, она была ярко выраженной еврейкой с чёрными, как смоль, длинными волосами, большими карими глазами и хрупкой фигурой. Алёна встретила нас, то есть Федю, сообщением:

– Звонил (и назвала какое-то имя). Из Бейрута звонил. Мы, говорит, тут станцию телефонную захватили. Почему бы, говорит, мне в Москву бесплатно не позвонить?

Речь шла об их общем знакомом, недавно эмигрировавшем в Израиль, поставленном там под ружьё и отправленном воевать в Ливан – в Ливане в это время была большая буча.

Так я впервые оказался в компании людей с ветхозаветной кровью. Фёдор познакомился с ними через своего земляка-северянина Сергея Д. – сожителя Алёны. За столом собралось человек десять, семеро из которых были семитами. Лев Рубинштейн, маленький, рыжеватый человек неопределённого возраста с характерно выдвинутым вперёд верхним рядом зубов, завладев общим вниманием, читал свои тексты:

Дальний, дальний предок мой,
Передок кареты дальней...

Конечно, я чувствовал себя в этой компании белой вороной, залетевшей в московскую ухоженную квартиру из дикого архангельского леса. Да и что там говорить, мои познания в различных областях искусства были более чем скромные. Правда, у меня в запасе имелось несколько стихов типа уже упомянутого «Георгиевского креста», например «Рассуждения рядового колхозника, не имеющего защиты от атомной бомбы»:

Если только не случится мировая катастрофа,
Если только марсиане не пойдут на нас войной,
Не сойдёт с небес на землю раб, распятый на Голгофе, –
Изобилье и порядок воссияют над страной.

Эти добренькие дяди с их дешёвым оптимизмом,
С их пространным, многогранным, выдающимся умом,
Если очень им приспичит, будут жить при коммунизме,
И свободу нам даруют, и ханыг зальют вином.

Если кой-чему научит их печальный опыт Польши,
И не явятся России Пиночетовы очки,
Значит, пьянства будет меньше, продуктивность будет больше,
Значит, сельское хозяйство восстановят мужички.

Вдруг – война? А как спасёмся мы от ядерной заразы?
Нанесём ли австралийцам упреждающий удар?
Где достанем автоматы, где найдём противогазы?
В наших ветхих фуфайчках нам не взять Мадагаскар.

Ничего! Мы им покажем – мировым капиталистам,
Будут знать, как изгаляться и свободу попить! –
Прозвучит сигнал атаки – смело хлопнем грамм по триста
И спокойненько ляжем в чистом поле умирать.

Ах, как течёт и как всё меняет время! Прошло каких-то двадцать лет – Польша давно свободна. А тогда, чтоб подавить первые выступления «Солидарности», усилиями СССР там был посажен на «трон» генерал Войцех Ярузельский в чёрных очках. В начале 80-х годов прошлого века актуально звучала тема продовольственного обеспечения государства и подъёма сельского хозяйства на должный уровень. И если при Советской власти агропромышленный комплекс страны худо-бедно работал, то сегодня он полностью развален и даже термин «колхозник» канул в Лету. И наша «империя зла» больше не угрожает всему миру...

Я прочёл по просьбе Фёдора свои стихи, чем произвёл в застолье некоторый фурор, даже Рубинштейн уважительно чокнулся со мной рюмкой водки.

Спустя пять лет, будучи уже студентом Литинститута, я снова побывал в гостях у Сергея Д. и художницы Алёны, уже без Феди. И тут опять приехал Лёвка (здесь все так называли Рубинштейна), привёз какую-то большую рыбину, то ли карпа, то ли сазана. Пока рыбина жарилась, пока мы ели её, запивая сухим вином, Рубинштейн рассуждал о концептуальной поэзии и о поэтах- концептуалистах. Я попробовал говорить что-то со своих позиций, приведя для примера стихи Рубцова, на что Лев авторитетно заявил:

–Я Рубцова никогда не читал и не буду читать!

Чуть позже он, наряду с Дмитрием Приговым, Тимуром Кибировым и Денисом Новиковым, возглавил московскую поэтическую тусовку. Теперь на страницах Интернета Рубинштейна именуют «великим» и «всемирно известным поэтом», хотя последнее, как и первое, весьма сомнительно, если брать во внимание теорию относительности.

Однажды я стоял в очереди за гонораром в издательстве «Советский писатель», в этой же очереди был и Лев, но он сделал вид, что не узнал меня, а я к нему подходить не стал. В конце концов, эти наши застольные встречи ничего не значили ни для него, ни для меня.

...Такие вот знакомые были в Москве у Феди. Он хорошо знал и Юрия Кублановского, в ту пору – эмигранта, и ещё многих и многих людей, имеющих непосредственное отношение к литературе.

Надо отдать должное Феде – тому, с каким терпением он, занятой донельзя человек принял меня, безденежного, у себя, водил по московским квартирам, знакомил с умными людьми. Задним числом, теперь, я понимаю, что иногда ему было стыдно за мою деревенскую неотёсанность и непосредственность (например, я вслед за строчкой из приведённого выше стихотворения «не сойдёт с небес на землю раб, распятый на Голгофе», объяснял просвещённым столичным людям, что это – де, Иисус Христос), но он не показывал вида, а старательно и настойчиво образовывал меня.

А письма, его длинные, умные письма ко мне, на написание коих он находил время в этой столичной буче?! И я, несмотря на все свои завихрения, слушал его и слушался, и хотя Федя – мой ровесник, он казался мне, по крайней мере, лет на двадцать старше меня. Мудростью своей старше.

В марте 1983 года ко мне в деревню приехал, будучи в отпуске, Шура Ипатов. Я же как раз работал плотником, мы строили дом в нашей деревне. Мама моя уехала в гости в Саратов, я закинул топор в дальний угол, и мы с Шурой погрузились в пучину пьянства, в результате чего через неделю вышли на станции «Спортивная» в Москве, нашли милицкий дом и завалились в Федино жилище со словами «И вот явились к нам они, сказали "Здрасьте!", мы их не ждали, а они уже пришли!»

Нас, действительно, не ждали: Федя писал какую-то архисложную и архиважную научную работу, у него квартировал поменявший Ургенч на Москву его приятель Александр Кавтаскин, который в это время постился (Великий пост на дворе!) и питался только горячим кофе из термоса. Вчетвером мы кое-как переночевали на уже упомянутых выше пятнадцати метрах, а утром Шура потащил меня в редакцию газеты «Литературная Россия», где работал знакомый ему критик, ныне покойный Святослав Педенко. Педенко, не дождавшись обеденного перерыва, повёл нас в пивную, где мы и провели остаток дня и весь вечер.

Утром, на похмельные головы, Фёдор строго отчитал нас за наше поведение. Досталось от него Шуре, как «ведущему» в нашем «звене», а мне – как «ведомому»:

– Шура, – выговаривал в мой адрес Федя, – водку пить – это не ремесло. Смотри, загубишь в себе, что Богом дано, – грех большой будет. Давай-ка завязывай с этим делом, берись за ум.

И ещё много-много в том же духе.

...На следующий день он провожал нас на Ярославском вокзале. В том марте по ЦТ крутили многосерийный фильм «Карл Маркс. Молодые годы», и многие смотрели сериал: каналов-то тогда было раз-два – и обчёлся.

А Фёдор со своей чёрной бородкой очень походил на болгарского актёра, игравшего роль молодого основоположника марксизма. Мы стояли у вагона, прощались. Какой-то подвыпивший мужичок на перроне смотрел-смотрел в нашу сторону, потом как-то неуверенно подошёл к нам, положил руку на плечо Феди и на полном серьёзе спросил:

– Ты – Карл Маркс?

Сцена эта повергла нас с Шурой Ипатовым в такой транс, что мы не могли как следует попрощаться с Федей и прыгнули в двинувшийся вагон, загигаясь от смеха. Хотя мне-то в пору было плакать, а не смеяться: как бетонная плита, над головой висела неделя прогулов, за которые в те времена по головке не гладили; а также брошенный в угол топор и кот Степан, подвергшийся невольному домашнему аресту: я оставил его в своём деревенском жильё под замком. Всю дорогу я думал над Федиными словами, и, вернувшись в деревню, действительно, взялся за ум, следуя его словам и наказам.

А через три года Федя с Шурой сами по пути из Москвы в Архангельск сделали большой крюк, завернув ко мне в деревню. Я, трезвый и сосредоточенный, читал под черёмухой какую-то дрянную книжку и, оторвав от неё глаза, увидел перед собой две пары запыхлённых башмаков. Без всяких предисловий Федя сказал:

– Пока ты сидишь тут под черёмухой, умные люди поступают в Литературный институт. Не сиди, а иди поступай тоже!

И через год я пошёл и поступил, сдав накануне поступления экстерном экзамены за среднюю школу: до этого у меня была за плечами школа-восьмилетка, а с восьмью классами в вузы не принимали. Всё получилось очень удачно: великовозрастные учащиеся-вечерники сдавали экзамены за десятый класс, я, взяв в своём совхозе учебный месячный отпуск, примкнул к ним, а остальное уже, как говорится, было делом техники.

...На осеннюю сессию 1991 года добрая четверть студентов, в том числе и Коля Харитонов, не приехали: во-первых, за всю сессию предстояло сдать только один экзамен и два зачёта, что можно и до весны отложить; во-вторых, после августовского путча и победы демократии во главе с Ельциным, страна погрузилась в неопределённость и хаос, Москва была ужасно грязной, прилавки столичных продовольственных магазинов опустели, в людских умах царил страх перед будущим.

В общежитии было грязно и неудобно. Наш третий – заочный – этаж студенты заполнили меньше чем наполовину. И почти все приехавшие на сессию представители сильного пола «заквасили» – аж дым коромыслом. Почти до утра в комнатах горел свет, обитатели их читали стихи, плакали и пели. Мы в обнимку с Николаем Шипиловым много раз уже исполняли дуэтом «По муромской дорожке», сидя в комнате Володьки Беспалова – поэта из Сибири. Володька не отходил ни на шаг от своей временной пассии Людки Бессоновой, она отпускала его только в таксопарк или в общагу к вьетнамцам – за очередной порцией водки.

В минуту просветления я позвонил Феде:

– Приезжай, – говорю, – в общагу. У нас тут хрен знает что творится. Народ пьёт, на лекции не ходит. Неуютно мне как-то, не знаю, куда себя деть.

Федя приехал. И предложил мне, не медля ни дня, вылезти из этого болота: в Коношском районе, в деревне, нас ждёт его мама – Валентина Ивановна. Она каждое лето приезжает туда из Северодвинска и живёт до глубокой осени – в крохотной ветхой избушке на курьих ножках. А минувшим летом рядом с этой избушкой её зять-кооператор построил новый дом – порадовал тещу шикарным подарком. Дом готов, только печки в нём нет. А что за жильё – без печки? Кирпичи там запасены, глина есть. Дело за печником, то бишь за мной – я давно обещал Феде и его маме помочь с печкой.

Обещал так обещал. Плюнул я на сессию, на пьянствующую общагу, и через сутки мы с Федей вышли из плацкартного вагона на перрон станции Коноша в родной нам Архангельской области.

До деревни, где жила Федина мама, путь лежал не близкий: километров двадцать на попутке по грунтовому шоссе и километра три пешком по просёлку. Погода шалила: в столице уже несколько раз выпадал снег, а здесь было сыро, и, сойдя с рейсового автобуса у расписанной матюгами деревянной будки, мы не пошли, а поплыли по жидкой грязи и пока добрались до места, туфли мои стали похожи на огромные коричневые галоши – столько грязи и глины налипло на них.

Избушка и новый дом Валентины Ивановны стояли на берегу небольшого озера. В день нашего приезда по нему гуляли гребешки свинцовых на вид волн. На другое утро озеро затянуло льдом и присыпало инеем. На третий посреди водоёма сидел на льду мужик с зимней удочкой...

Внезапно наступившие холода спутали все наши карты: глина, лежащая в куче у крыльца, промёрзла насквозь, её пришлось долбить ломом и отогревать на костре. К тому же ехали мы сюда минимум на два дня – Федя сказал, что маме нужна простая кухонная плита с отопительным щитком. А оказалось – надо русскую печку класть. Хотя и небольшую, но русскую. А это в условиях внезапно ударивших морозов, считай, на неделю делов.

Как бы там ни было, а я хотел к концу сессии появиться в институте – нужна же печать и отметка в документе, что я был и присутствовал: сессию мне оплачивала городская газета «Архангельск», в коей я тогда работал. А без печати бухгалтерия не имеет права выдать деньги (да, в те времена не сам студент-заочник платил за сессию, а ему платили – государство...)

Федю тоже отпустили с работы только на два дня. К тому же в его вузе комплектовалась группа для поездки в Италию – по историческим делам, и Федя – кандидат наук, без пяти минут доцент – «пролетал» из-за русской печки с границей. На третий день работы мы отправили Валентину Ивановну в другую деревню, побольше – там была почта. Она дала телеграммы: моей жене – чтоб не волновалась, и в Федин вуз – чтобы его не потеряли.

На четвёртый день мы как-то успокоились (Федя смирился с тем, что не увидит Рима) и трудились уже в охотку. На правах печных дел мастера я командовал кандидатом наук, как хотел. Он, привыкший махать в азиатских экспедициях археологическим молотком, колот кирпичи ничуть не хуже меня, грел на костре глину, месил её и носил, короче говоря, был прилежным подсобником.

Тьма на округу ложилась рано, мы протянули из избушки в новый дом переносную лампочку, чтобы работать как можно дольше. С печниками тут было худо, несколько раз с другого конца деревни к нам приходила полуслепая бабушка, услышав, видно, что здесь печку кладут. Она не могла перенести ноги за высокий порог, каждый раз запинаясь за него и падала. Потом, от порога, обращалась ко мне:

– Дедушко, сложи ты мне печь, ради Господа Бога! Ублажи, батюшко, старуху! Замерзну ведь зимой-то – вся моя печь развалилась, топить боюсь – сгорю ещё!

Мне было прямо до боли в сердце жалко её, я отвечал:

– Да ведь не дедушко я, что вы, бабушка! Мне и ещё и сорока годов нету. Помог бы я вам, да не могу никак – в Москву надо. Мы и так тут задержались, начальство ругаться будет!

Она охала, ахала, уходила, а на следующий день опять падала через порог, сулила нам с Федей и деньги, и вино, видно, надеясь на что-то...

Спать мы ложились поздно, посмотрев по старенькому «Рекорду» последние новости. В Москве кипели политические страсти. Ельцин брал на себя всю полноту власти и грозился лечь на рельсы, если цены будут отпущены на волю. Голос только что приехавшего в Россию из-за «бугра» Михаила Шифутинского уже звучал из висевшего на стене динамика. Страна должна была вот-вот разродиться большими переменами, а в деревне стояла тишина, по ночам звенели на улице провода и трещал ранний морозец в стенах нового дома. Мы с Федей спали на полу под ватным одеялом, по нашим ногам всю ночь лазал толстый кот Валентины Ивановны – Кузя, которого, по её рассказам, боялись в деревне не только собаки, но и взрослые мужики. Москва казалась нам далёкой и недостижимой.

Наконец дело было сделано. Мы стряхнули с себя кирпичную пыль, попарились в баньке, выпили законное «дымовое» – печка топилась хорошо! – простились с Валентиной Ивановной и тронулись в путь при свете звёзд по той самой дороге, только из жидкой она теперь превратилась в каменную. Три километра показались нам за полтора – так быстро дошли мы до шоссе.

Грунтовое шоссе тоже промёрзло насквозь, а снега ещё не было, и поэтому из-под колёс проходящих мимо машин летела настоящая июльская пыль. В автобусе, куда мы сели, пыль покрывала сиденья, висела в воздухе и по мере приближения к Коноше всё ощутимее скрипела на наших зубах.

На небольшой площадке перед железнодорожным вокзалом мы долго отряхивали друг друга и тихонько ругались: баня пропала даром – волосы у обоих от пыли стали жёстче проволоки. Блаженное ощущение деревенской тишины и покоя потихоньку покидало нас, впереди маячили столичные заботы.

Билеты до столицы мы без проблем купили на поезд «Сыктывкар – Москва». Места нам достались в середине плацкартного вагона, боковые полки – верхняя и нижняя.

* * *

Здесь я хочу рассказать историю, не относящуюся к данной повести, но настолько история эта – из ряда вон выходящая, что просто нельзя её не рассказать...

Довольные тем, что едем вместе, а не порознь, мы с Федей расслабились и осмотрелись. Пассажиры выглядели добропорядочно. Кое-кто уже забрался на верхние полки спать – время приближалось к полуночи, но обитатели нижних мест ещё сидели, пили чай, ели, выпивали и травили дорожные байки.

Позади нас, в купе напротив, трое мужчин играли в карты. Я ещё, проходя мимо, при посадке, обратил внимание на одного из них, с колоритной внешностью. Он был похож на актёра Алексея Петренко, игравшего Григория Распутина в фильме «Агония» Элема Климова – такой же могучий, широкоплечий, лысый, с небольшой бородкой. Лицом – вылитый Петренко. Партнёры называли его Лысым. Эти двое ничем не выделялись, оба серые какие-то да ещё тень от верхней полки на их лица падала. На столике у игроков стояла ополовиненная бутылка водки.

Вагон жил обыкновенной дорожной жизнью, а мы с Федей сидели, смотрели в окно и в мыслях своих уносились к нашей русской печке, к Валентине Ивановне и коту Кузе, проводившему нас чуть ли не до половины дороги.

– Ну подумаешь, – поштукатурить не успели, – выразил вслух свои мысли Фёдор. – Зять богатый, летом приедет – кафелем печку обложит. Главное – стоит она и топится!

– Пидор! – вдруг раздался громкий возглас и вслед за ним прозвучал хлёсткий удар, как будто палкой о палку стукнули. – Как я тебя сразу не расколол?!

Я обернулся: Лысый сидел бледный, под носом у него обозначились две тёмные полосы крови. Губы тоже потемнели, и

кровь закапала с бородки на серую рубашку.

– Пидор! – повторил стоящий перед Лысым высокий худой тип. Он ещё раз ударил сидящего кулаком в ухо. Тот упал на нижнюю полку и закрыл лицо руками. Третий картёжник невозмутимо сидел в уголке и перебирал в руках колоду.

– И я с пидором за один стол сел! – высокий повернулся, и мы увидели его лицо: злое, решительное и брезгливое одновременно. Он был одет в серые брюки и в такой же, заправленный под ремень, серый свитер. На вид ему было лет тридцать-тридцать пять, месяц-полтора назад его остригли наголо, волосы на голове отрасли коротким «ёжиком».

– Валера, Валера... – заскулил лысый здоровяк, поднимаясь с полки.

– Молчи, сука! – Валера вдавил кирзовый сапог в его живот, схватил за грудки и сбросил на пол, в проход.

В обоих концах плацкартного вагона продолжался обычный галдёж, а в центре его народ примолк и с опаской следил за происходящим.

Валера переступил через свою жертву и пнул её под зад – уже стоя в проходе:

– Вставай, пидор! К проводнику – быстро! Ведро воды сюда!

Лысый вскочил с пола, утёр кровавые сопли и метнулся в конец вагона.

Валера, сунув руки в карманы брюк, прошёлся по проходу, покачался на каблуках, повернулся, плюхнулся на нижнюю полку в своём купе и закинул на столик ноги, обутые в кирзовые сапоги.

– Зеки, – сказал Федя вполголоса, – с зоны едут. Освободились, видно. В поезде познакомились. Их же там – в Коми – как собак нерезаных.

В купе прямо напротив нас сидели трое мужчин и одна женщина. Они молча переглядывались. Из-за соседних перегородок то и дело показывались испуганные лица других пассажиров. Кто-то произнёс слово «милиция».

Здоровяк прибежал от проводника с ведром воды, поставил его перед Валерой и вытянулся в струнку.

– Мой, – ледяным голосом сказал урка. – Сапоги мой.

– Сейчас, – плаксиво выдавил из себя Лысый, размазывая по лицу всё ещё сочившуюся из носа кровь, – только за тряпкой сбегаю. – И опять затрусил в конец вагона.

Я, недоумевая, сравнил их: Лысый своим кулачищем запросто мог бы размазать по стенке любого. Но пока выходило наоборот – он буквально трясся перед своим не ахти каким могучим попутчиком.

Здоровяк вернулся с тряпкой. Валера не произносил ни слова, только смотрел на него, как удав на кролика. Лысый обмакнул тряпку в ведро и провёл ею по Валериным кирзовым сапогам. Тот раздвинул на столике ноги. Здоровяк, медленно всхлипывая, начал драить кирзачи, да так усердно – как денщик генералу в старом фильме про белых и красных.

Валера прошёлся взглядом вдоль вагона. Его глаза не выражали ничего. Только лёд и холод. А губы вдруг растянулись в язвительной усмешке:

– А теперь – ему! – и показал пальцем на меня.

Лысый плюхнулся на колени передо мной. Я близко-близко увидел его багровую лысину, свалывшуюся от крови бороду и глаза – полные ужаса и ненависти. Его рука с тряпкой потянулась к моим туфлям. Я машинально поджал ноги – туда, под скамейку, куда народ прячет сумки и баулы.

– Мой! – прозвучал позади стальной голос. Я беспомощно посмотрел на Федю. Лысый встал на четвереньки, и я почувствовал, как тряпка заелозила по моим туфлям.

Молодая женщина, шедшая к титану с кружкой в руке, ойкнула, прикрыла рот ладошкой и повернула назад.

Я не знаю, как поступил бы на моём месте другой. Пнул бы здоровяка в лицо? Отскочил в сторону? Ушёл в тамбур? Или бросился на Валеру с кулаками? Или выставил бы ноги в проход: на, мол, мой. Не знаю. Наверное, каждый на моём месте просто бы растерялся...

Поезд летел сквозь тьму, притормаживая на полустанках. Во всех других вагонах люди наверняка ехали по-людски, а в середине нашего царил закон зоны. Страшный, непонятный нам закон... Получеловек-полуживотное, елозя на коленях по полу, уже перебрался к другому пассажиру – позади меня и мыл туфли ему. Тот так же, как и я, стыдливо прятал ноги под скамейку.

– Теперь пол! – бесстрастно приказал экзекутор.

Лысый быстро зашуршал тряпкой в проходе, смывая с пола капли крови и дорожную грязь, оставленную обувью десятков пассажиров. А когда вытер, вытянулся перед Валерой с тряпкой в руке.

«Возлюби ближнего своего», – сказано в Писании. Христос тоже омывал ноги своим ученикам, но...

С пятого класса я скитался по школьным общагам, где сильные ребята частенько издевались над слабыми. Потом – армия со своими внутренними неуставными законами. Но подобного нигде не было. Нигде!

Валера подвёл Лысого к столику соседнего с нами купе:

– Видишь, похавали люди, а мусор за собой не убрали. Убери.

Тот метнулся к столику, смёл с него широкой ручищей крошки, бумажки, остатки ужина и бросил в ведро.

Трое мужчин и женщина сидели неподвижно. Урка движением руки «попросил» одного из них встать, показал ему пальцем на Лысого:

– Ударь этого пидора.

Мужчина молчал, пальцы на его руках судорожно сжимались и разжимались.

– Ударь! Он – пидор!

Мужчина несмело ткнул здоровяка в грудь.

– Сильнее! Ты чего, фрайер, – слабак?

Следующий удар пришёлся здоровяку в живот. У него там что-то ёкнуло.

Урка махнул Феде:

– Сейчас ты – ударь!

Федя рассказывал мне что-то про Солженицына. Просто ради того, чтобы рассказывать. Он и ухом не повёл на обращение Валеры. Тот тронул Федю за плечо:

– Ударь этого пидора. Слышишь?

Федя резким движением потряхнул чужую руку со своего плеча и как ни в чём не бывало продолжал рассказ. Но я видел, на каком он был пределе. Желваки ходили на Фединых скулах, ноздри подрагивали нервной дрожью.

Урка, сунув руки в карманы, покачался на каблуках возле нас, прошёл на своё место, сел и отхлебнул из горлышка водки. Лысый стоял в проходе, всхлипывая и мелко вздрагивая. Экзекуция продолжалась уже больше часа. Центр вагона не спал, хотя лежащие на верхних полках люди и делали вид, что смотрят по десятому сну.

– Ну что, пидор, – растягивая слова, спросил Валера, отхлебнув ещё раз из бутылки, – давно тебя не драли? Иди в галльон, вставай раком. Я сейчас приду.

За всё время «действия» в центре вагона не появились ни проводник, ни контролёр, ни милиция. Главным распорядителем здесь был Валера.

– Иди! – экзекутор приподнялся на каблуках.

Здоровяк взвизгнул и, понунив голову, побрёл по проходу. Валера – за ним, расстёгивая на ходу брючный ремень. Он открыл дверь в туалет и втолкнул туда Лысого. Дверь за ними захлопнулась.

Вагон объял ужас. Как раз потушили верхний свет, полумрак – такой спасительный в этой ситуации – объял каждое купе. Те, кто ещё сидел на нижних полках, быстренько бросились стелиться: в воздухе замелькала снимаемая одежда, зашуршали простыни.... Мы с Федей, следуя примеру других, тоже легли: он – на нижнюю полку, я – на верхнюю.

Третий зек всё так же сидел у окна, улыбаясь чему-то про себя (я видел это в полутьме) и закусывая выпитую только что водку горбушкой хлеба. На протяжении всего «действия» он оставался невозмутимым – один во всём вагоне. Ни слова не произнёс, не сделал ни одной попытки остановить товарищей по карточной игре. Сидел и улыбался про себя. Видимо, представлял, как встретят его там, куда ехал он из мест не столь отдалённых.

...Валера вывалился из туалета первым. Застёгивая на ходу брючный ремень, он посвистывая прошёл к своему месту.

– С пидором неинтересно, – сказал сидевшему у окна. – Пойду бабу поищу.

И ушёл – в другие вагоны.

Лысый появился в проходе плачущим. Он плакал жалобно, с содроганием, с каким-то собачьим повизгиванием. Присел осторожно на краешек нижней полки и закрыл лицо руками, продолжая содрогаться.

– Ложись спать, – бесстрастно сказал ему сидящий у окна.

– Так Валера же не велел, – плаксиво отозвался тот.

– Ложись, – спокойно ответили ему. – Слизняк.

Лысый забрался на вторую полку, подложил под голову какую-то одежонку и замолк. Его «коллега» тоже вскорости улёгся и тут же мирно захрапывал.

Поезд остановился на какой-то большой станции. Несколько пассажиров вышли из вагона, вместо них вошли новые, внеся с собой запах морозного воздуха и ночного вокзала. Один из новеньких, ничего не подозревая, устроился на второй полке – напротив Лысого.

Сон ко мне не шёл. Я лежал, вновь и вновь прокручивая про себя всё случившееся. Сознание собственной беспомощности давило и жгло. Вон ведь сколько здесь нас, мужиков. Да все вместе мы бы этого Валеру... А с другой стороны – за что? И за кого? В конце концов, почему этот Лысый позволяет издеваться над собой? Здоровья-то у него на десятерых хватит. Как наяву, я видел перед собой измазанное кровью лицо, налитые ужасом глаза...

Мужчина, ударивший беднягу два раза, тоже не спал, ворочался на своей полке, вздыхал. Видимо, переживал слабость свою и трусость.

Лысый вдруг спустился на пол. Постоял в проходе, не двигаясь. И быстро шмыгнул в соседнее с нами купе, к столику, с которого час назад убирал мусор. На столике стояла открытая бутылка лимонада. Он схватил эту бутылку и вылил остатки содержимого себе в рот. Видимо, жажда его мучила. Потом тем же макаром вернулся на своё место.

Я повернулся носом к стенке и задремал.

...Поднялись мы, когда в вагоне было светлым-светло. Солнышко так и било в окно, за которым бежал серый подмосковный пейзаж. Ни Лысого, ни Валеры, ни их третьего попутчика в купе не было – на их месте сидели двое юношей с двумя девушками и тоже, как и их предшественники, резались в карты. И заразительно смеялись. Народ ходил по вагону туда и обратно, носил в разнокалиберных кружках и чашках кипяток из титана, цеплялся руками за вторые полки, боясь его расплескать.

Трое мужчин и женщина – наши соседи – уже встали. Они сидели, не разговаривая и не глядя друг на друга.

Мы с Федей о сошедших ночью с поезда зеках и словом не обмолвились. Поглотали кипятку, помолчали. А тут, глядь, и Москва. На перрон Ярославского вокзала вышли, не попрощавшись с соседями. Ни они, ни мы, правда, в этом и не нуждались.

Ах, какие хорошие чувства жили в нас до посадки в поезд! Там, позади, в деревне, топилась новенькая русская печь, висел над шиферными крышами месяц и потрескивал, набирая толщину, лёд на озере. Ощущение тишины и покоя, умиротворение от сделанной работы и ещё что-то, не передаваемое словами, но хорошее и светлое, не покидало нас. Вплоть до того самого выкрика: «Пидор!».

Состояние гадливости и отвращения едва ли не ко всему человечеству пронесли мы – каждый в своей груди – по длинному перрону. С ним и нырнули в подземный переход.

А там завертела, закрутила нас живая людская масса, понесла вниз – к эскалатору – только успевай поворачиваться...

* * *

Во времена моей учёбы в Литинституте мы с Федей встречались часто – я много раз бывал у него в гостях в Печатниках: он жил там в квартире родителей первой жены, у него подрастали дочка Ира и сынишка Гриша.

А раз произошёл вообще сногшибательный случай. В первый день очередной сессии я собрался навестить Фёдора (он ещё не знал, что я приехал), спустился в метро на станции «Площадь Ногина», дождался поезда, вошёл на заднюю площадку одного из вагонов. Народу в нём было густо, тут и там стояли люди, держась за поручни. А в уголочке, куда протиснулся я, стоял собственной персоной Федя и читал книжку. Я тронул его за рукав, он поднял голову, и у него чуть книжка из рук не выпала:

– Вот так встреча! Такая один раз из трёх миллионов возможных выпадает!

...В последние годы мы с Федей видимся редко. Он женат уже второй раз в своей Москве, в Северодвинске бывает наездами, раз-два в году, чтобы навестить Валентину Ивановну. Федя теперь – доктор исторических наук, профессор, преподаватель Московского педагогического института, автор учебника для 5-го класса «История древнего мира». Я же в Москве практически не бываю, мы иногда перезваниваемся, и я чувствую по голосу: Федино ко мне расположение осталось таким же, как и пятнадцать лет назад.

Да, времена стали другими, мы повзрослели, и я уже не нуждаюсь в опеке.

Первая моя книжка «Всё, что осталось от лета» посвящается Ф.А. Михайловскому, это – дань уважения моему другу и учителю...

БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ЗОНА

Но – возвращаемся к началу повествования: Федя выдернул меня из общества «памятистов» и художника Валеры и увёз к себе. Он обитал уже не в каморе, у него было полноценное жильё – двухкомнатная квартира на станции метро «Текстильщики», на улице Кухмистерова (кстати, совсем рядышком с улицей Гурьянова, где в сентябре 2000 года рванул многоэтажный дом). Жильё, правда, тёщино, но, тем не менее.

– Валера чудит, – говорил мне по дороге Федя, – сегодня у него «памятисты» заседают, завтра – сионисты. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда.

...Ночевал я у Феде в уютной домашней обстановке. Конечно, мы выпили с ним за встречу, на старые «дрожжи» меня немножко повело, и вскоре я уснул на раскладушке посреди просторной кухни. Утром проснулся с тупой головной болью, прокрутил в мозгу весь вчерашний день: Валера, пиво, «памятисты», водка, Федя, водка; мысленно поругал себя за несоблюдение чувства меры и вспомнил, что нужно уже отправляться в пункт назначения, то есть в тот самый «Олимпиец».

Мы с Федей в удовольствие попили чайку, покурили на балконе, и он вызвался меня проводить, благо у него был свободный

от всех занятий день. До Химок мы с ним доехали на электричке, уже во второй половине дня, а дальше пришлось брать такси, доставившее нас аккуратно к Международному спортивному комплексу, въезд на территорию которого перегораживал широкий полосатый шлагбаум.

– Всё, – сказал таксист. – Дальше меня не пустят.

Федя помахал мне на прощание рукой из окна «Волги», и я остался один на один с неизвестным мне «Олимпийцем». Перед входом в него выкурил сигарету. Голова болела, к горлу подступала тошнота, в душе сидело неизмеримо горькое чувство одиночества, навещавшее меня всегда, когда я оказывался в незнакомом месте с незнакомыми мне людьми. Я с сожалением вспомнил про вчерашний день: эх, сейчас бы с Валерой с его бидоном, да к бочке пива! – и шагнул за порог, внутрь гостиничного здания комплекса, где шла регистрация участников будущего совещания. Мужественно вытерпев эту довольно-таки нудную процедуру и получив ключи от двухместного номера, я решил раздобыть бутылочку пива – слишком уж муторно было на душе.

– Ну что вы! – огорчила меня дежурная по этажу. – Здесь, на территории комплекса, – безалкогольная зона. Запрещено продавать спиртное, табачные изделия, спички.

– Во, влип, так влип! – подумал я про себя и покорно пошёл разыскивать свой номер. По коридорам шатались в одиночку и группами молодые писатели и писательницы, видимо, искали своих знакомых. Ни одно лицо знакомым мне не показалось, и я, побродив с полчаса по этажам, залёг в своем номере на мягкий удобный диван. Вся уютная обстановка располагала к душевному спокойствию, я задремал, и мне уже снилась недокладенная мной печка и Володька Иванусов, сидящий с кружкой «чифа» в руке на гряде кирпича. Володька сделал глоток, широко улыбнулся мне и вдруг сказал не своим голосом:

– Гостей принимаете?

Оказывается, это сосед по номеру вторгся в мой безмятежный сон, взяв у горничной второй ключ от номера. Я встал с дивана, вошедший протянул мне руку и представился:

– Сергей. Журнал «Литературная Осетия», заведующий отделом поэзии.

Сергей выставил на стол бутылку коньяка... Диалог у нас почти не клеился, больше говорил он, а я слушал, ощущая, как коньяк тяжело ударяет в виски, охватывает голову подобием железного обруча, не пьянит, а как-то не по-хорошему дурманит.

Сергей с едва заметным акцентом говорил о своём народе. Оказывается, осетины когда-то были большой и сильной нацией, владения их простирались от Волги до Дона, и они называли себя аланами. А потом многочисленные вражеские племена, в том числе и славянские, вытеснили алан с их исконных земель, часть – в предгорья Кавказа, часть – на Запад, где аланы основали новое государство – будущую Францию.

Сосед, разливая по казённым сосудам коньяк, жаловался на засилие русского языка в Осетии, на то, что сам он мыслит на русском языке и поклоняется русским поэтам – Юрию Кузнецову, Иосифу Бродскому. И стихи пишет на русском, хотя его родной язык – осетинский.

Я же, ощущая не хмельное тепло, а какую-то коньячную тяжесть в затылке и солнечном сплетении, думал, наоборот, о том, что русский народ скоро растворится в восточных народах, причём окончательно. В какой бы, даже самый маленький городишко, даже у нас на Севере, ни загляни – везде наткнёшься на так называемых «лиц кавказской национальности», торгующих цветами, фруктами или строящих что-нибудь на просторах матушки-России, охмуряющих русских доверчивых «дэвочек», падких до денег и жгучих брюнетов. «А что будет через двести-триста лет?» – думал я, угрюмо глотая коньяк.

Но ничего этого не сказал моему соседу. И ни он и ни я не знали и не предполагали тогда, что через два года в стране начнутся события, которые намного быстрее, чем я думал, приблизят русский народ к краю пропасти, на котором он и стоит сейчас, в начале третьего тысячелетия. А Осетия будет воевать сначала с Грузией, потом – с Ингушетией, осетины и теперь с ингушами – смертельные враги. Но не будем забегать вперёд...

Спать мы легли, думая каждый о своём, бутылка коньяка не позволила почувствовать нам даже малейшего расположения друг к другу, хотя я вроде и обязан был своему соседу за его широкий жест, тем более – в безалкогольной зоне.

* * *

Утро встало над «Олимпийцем» голубым и безоблачным. Сергей поднялся раньше меня и пошёл разыскивать земляков, которые должны быть здесь. Послonyaвшись по комплексу в поисках столовой, я всё-таки нашёл её, съел на завтрак манную кашу и выпил стакан чая. А там уже и сбор затрубили, на широкой асфальтовой площадке перед комплексом выстроился с десяток блестящих почти новенькой краской «Икарусов», с этажей начали спускаться на грешную землю молодые дарования, кое-кто из них уже и с «солнышками», то есть лысынами на темечках. Дарований, к моему изумлению, оказалось очень много, причём дарований разноязычных, съехавшихся сюда со всех концов одной шестой части суши – огромного по своей территории Советского Союза.

Ни одного знакомого лица я не увидел в разноликой толпе и сразу же заскучал, и душа моя погрузилась в тоску, несмотря на такое весёлое майское утро. Мой дерматиновый пиджак и дешёвенькие кроссовки большого внимания со стороны толпы не вызвали, никто не проявил ко мне интереса, и я в глубоком одиночестве поднялся по железным ступенькам в «Икарус», прошёл в заднюю часть автобуса и сел в мягкое кресло к окну. Рядом со мной пристроился такой же одинокий, как я, то ли казах, то ли бурят, по всей видимости, приняв меня за человека, близкого к своей нации.

Водители, подождав, пока все займут свои места, стройной колонной двинулись в сторону Белокаменной. За окнами бежала приятная глазу подмосковная природа. Жители пригорода уже посадили картошку – об этом говорили чернеющие перепаханной и перекопанной землей огороды. Около деревенских домов паслись куры и гуси. Проехали Химки. Пассажиры нашего автобуса прилипли к окнам и не отлипали от них до самого концертного комплекса «Орлёнок», расположенного в центре столицы. Здесь, в «Орлёнке», и должно было состояться торжественное открытие 9-го Всесоюзного съезда молодых писателей.

В фойе «Орлёнка» били фонтаны, росли причудливые цветы и расхаживали нарядные молодые дамы, мягко подсказывая, кому и куда надобно проходить. Но все прибывшие из-под Химок толпились возле фонтанов, где уточнялись списки участников совещания. Я «уточнился» и с сожалением узнал, что представляю Архангельск и нашу необъятную губернию в разьединственном числе. Наполниться гордостью мешал мне мой нелепый наряд, выглядевший более чем бледно на фоне джинсовых и парадных костюмов, мелькающих тут и там. Да ещё какая-то полная расфуфыренная дама, нарочито «акая» по-столичному, возмущённо выговаривала главному «уточнителю»:

– А Максим Дубаев из Архангельска? Разве он не приглашён на съезд? А как же – Максим Дубаев?

– Извините, но Дубаев в списках не числится. Вот у нас от Архангельска – один Росков. И больше никого!

Впоследствии я узнал, кто такой Максим Дубаев. Через год узнал, когда переехал жить из своей деревни в столицу Беломорья. Максим оказался девятнадцатилетним москвичом, проходившим срочную службу в звании рядового – сотрудника военной газеты «Часовой Севера». Я даже познакомился с Максимом – он дослуживал последние полгода. Парень с детства писал стихи, родители у него – и тот и другой – литераторы. Мама Максима и возмущалась так громко в фойе «Орлёнка», она была несправедливо уверена в том, что её сынуля приедет на съезд, хотя... разве мало в Архангельске и области своих, а не заезжих молодых людей, пишущих стихи?

Забегая вперед, скажу, что Максим сразу после службы поступил на дневное отделение Литинститута – заботливые родители всё же привели свое чадо за ручку в литературу. А потом, может быть, спохватились – наступили другие времена...

ГОРЕЛОВ

Меня охватило сомнение: а вдруг – какая-то ошибка? Вдруг на съезд должен был приехать вовсе не я, а какой-то неизвестный мне Максим Дубаев?..

И тут я увидел первое знакомое мне лицо: ко мне, приветливо улыбаясь, подходил литературный критик Павел Горелов. В середине 90-х, он, правда, (опять забегаю вперёд!) ушёл из критиков на телевидение – канал ТВЦ, где до сих пор ведёт передачу «Лицом к городу», в которой запросто беседует с Юрием Лужковым и вице-мэром Москвы Валерием Шанцевым. Лужков запросто называет его Павлом и Пашей, я смотрю на экран и говорю жене: «Вот, обрати внимание – мой добрый гений Павел Горелов». В записной книжке у меня есть домашний адрес его и телефон, но со времени окончания института я ему не звонил и не писал, а при таком запанибратском отношении с московским мэром Горелов наверняка улучшил свои жилищные условия. Да и зачем напоминать о себе человеку, покинувшему литературу. А ведь в своё время хотел меня с Вадимом Кожинным познакомиться, да я застенялся...

А с самим Гореловым мы познакомились в сентябре 1987 года во время установочной сессии в Литинституте. В общежитии ко мне подошёл однокурсник из соседней с нашей комнаты Костя Савельев. А надо сказать, что в то время как все мы, бывшие абитуриенты, а затем – счастливчики, поступившие в заветный вуз (конкурс-то творческий всё-таки был не малый – 38 человек на место!), перезнакомились друг с другом, и не только перезнакомились, но и не один раз воспользовались услугами таксопарка (какими именно – я скажу ниже), Костя Савельев жил как-то

замкнуто, по-отшельнически. С ним также по-отшельнически проживали в комнате ещё два поэта – Ваня Гуз и Юрий Давидович Тамаркин. Костя с Юрой приехали в Москву из Харькова, Иван – из Чернигова.

Костя был единственным абитуриентом, сдавшим вступительные экзамены на одни пятёрки, между нами ходили слухи, что он воевал в Афганистане и что у него за войну есть даже орден Красной Звезды. У Савельева был всегда сосредоточенный и неприступный вид, он ни с кем не заговаривал, ни с кем не общался, кроме Гуза и Тамаркина.

Я, естественно, удивился, когда он подошёл ко мне в упор и спросил:

– Ты – поэт Александр Росков из Архангельской области?

– Да, – говорю, – я – поэт Росков из Архангельской области.

– Слушай, в издательстве «Молодая гвардия» работает редактором мой хороший знакомый Пётр Алёшкин. Он сказал, что к нему в руки попали твои стихи – те, что ты прислал на творческий конкурс в институт. Есть у тебя свободное время? Давай, завтра после лекций съездим в «Гвардию».

«Молодая гвардия» находилась рядышком со станцией метро «Новослободская», как раз по пути из нашего вуза в общагу. В общежитие мы ездили обычно на третьем троллейбусном маршруте – «троебане» по-нашему – с остановки «Улица Чехова», что близ кинотеатра «Россия» (ныне – «Пушкинский»). А там через три остановки Садовое кольцо, а за ним – здрасьте-пожалуйста – «Новослободская».

...Как и договорились, на следующий день мы с Костей были в издательстве. Я до сих пор не знаю, каким образом мои стихи из приёмной комиссии попали в «Гвардию». Скорей всего, их передала аспирантка Лариса Шульман, принимавшая у меня вступительный экзамен по литературе, милая голубоглазая девушка, судя по возрасту, младше меня лет на пять. Отец её Юрий Шульман – уроженец поморского села Ненокса, брат Михаил учился на дневном отделении Литинститута. Я собрался было рассказывать ей что-то по билету, она загадочно посмотрела на меня и сказала:

– А ведь мы с вами земляки. Стихи ваши – очень хорошие. Я читала.

Она поставила мне по литературе «отлично» – на бумажке и передала эту бумажку главному экзаменатору по фамилии Сиромеха, экзаменовавшему нас по русскому языку. Сиромеха, перед тем как мне пересечь за стол к Ларисе Юрьевне, закатил за мой ответ «удовлетворительно», что и немудрено при моём знании фонетики. Но по сумме двух оценок Сиромеха вынужден был выставить мне «хорошо», и я с лёгким чувством покинул аудиторию.

...Алёшкин – энергичный высокий мужчина средних лет с карими цепкими глазами и высокими затылками также похвалил мои стихи:

– Настоящие! – сказал он. – Не придуманные. То, что нам надо!

– Только зачем вы их печатаете так – два на одной странице? На странице должно быть одно стихотворение, пусть оно даже из единственной строфы состоит, – заметил сидящий в кресле у стола широколицый крепыш-шатен.

Это и был литературный критик Павел Горелов. Алёшкин только что передал ему страницы с моими стихами, он бегло осмотрел их, сделал замечание и положил стихи в папку.

Потом они с Алёшкиным стали задавать нам с Костей вопросы про Литинститут, про преподавателей. Узнав, что я попал в семинар к Межирову, Горелов предостерёг:

– Осторожнее с ним. Межиров – не наш человек, не русский. Он с евреями водится.

И дальше пошла речь о засилье евреев в литературе. Мне было немножко обидно за Межирова, но возразить Горелову я не смел, да и не мог, поскольку мало ещё что знал о столичных баталиях между славянофилами и западниками. Горелов-то с Алёшкиным как раз принадлежали к первым, и мне, стало быть, нужно причислять себя к ним, так как на моих стихах лежала печать «почвенничества»...

Недели через две по приезду в свою деревню с установочной сессии я получил письмо от Горелова. Он просил извинения за то, что к моменту нашей встречи в издательстве ещё не был знаком с моими стихами, а прочёл их только что, и они привели его в неописуемый восторг. И ещё он просил, чтобы я прислал ему всё, что мной написано, вернее – что я сам у себя считаю совершенным. «Будем печатать!» – был его вердикт.

На будущий год с легкой руки Алёшкина и Горелова в «Гвардии» вышел альманах «Истоки» №18 тиражом 50 000 экземпляров с тридцатью моими стихотворениями под рубрикой «Книга в альманахе». Пока я жил в деревне, мы с Павлом Геннадиевичем регулярно переписывались, встречались в Москве во время моих сессий в Литинституте. Правда, встречи эти протекали скоротечно, ибо Павел был деловым человеком. Он выпустил в столице книжку своих критических статей «Кремнистый путь», широко печатался в московских изданиях, в «Комсомольской правде» весной 1988 года вышла его большая статья «Там, на одном мосту, чугунный лик Горгоны...», в которой он «драконил» стихи Иосифа Бродского. Но это была уже политика.

А в 1990 году в той же «Гвардии» усилиями Горелова вышел стихотворный сборник четырёх поэтов, открывал который широко известный ныне поэт Тимур Кибиров, а заканчивал ваш покорный слуга. Предисловие к сборнику написал Павел, правда, книжка вышла уже перестроенным тиражом – 3 500 экземпляров. Недавно я наткнулся в Интернете на статью о Кибирове, где сборник этот назывался «библиографической редкостью»...

Итак, Горелов подошёл ко мне, стоящему у фонтана в фойе «Орлёнка», и легонько хлопнул по плечу:

– Ну что, писал я тебе, что вызовем на съезд? Смотри, не теряйся!

Тут всех пригласили в концертный зал, где перед нами выступили высокопоставленный партийный чиновник Михаил Ненашев, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников (если мне не изменяет память на его имя-фамилию), глава Союза писателей СССР Герой Советского Союза бывший фронтовик Владимир Карпов и поэт Егор Исаев. Исаева, правда, засвистели и захлопали – не приняли его молодые таланты...

КОРНИ И ИСТОКИ – 2

Первыми из Стойлова уехали наши «порядовные» соседи Часовенные – Николай Иванович с тёткой Нюрой. Они перевезли свой дом в Ловзангу (второе, изначальное название Жуковской) и стали жить там. За ними снялись с места Ермаковы – те продали дом на дрова и поселились в новой квартире, выделенной им совхозом в двухэтажном деревянном доме в пригороде Каргополя – нашего районного центра.

Я лишился своего приятеля Сашки Ермакова и стал водить компанию с Олькой и Полькой Васишными. Обе сестрёнки страдали детской болезнью золотухой, и родители поили девчонок рыбьим жиром. Надо думать, какой противный был этот рыбий жир: Оля и Полька орали благим матом, когда их мать – тётка Зоя – подносила ко рту той или другой столовую ложку жёлтой жидкости.

Сёстры постоянно что-то делили и часто дрались, расцарапывая друг другу до крови и без того покрытые золотушной коростой щёки. Наверное, они брали пример со своих родителей: дядя Саша, мой крёстный, иногда, раз в два-три месяца крепко напивался. Тётка Зоя, увидев его пьяного, закипала гневом, в гневе же она была очень страшна: я несколько раз видел, как дядя Саша бежал на задворки с верёвкой в руках – вешаться. Рубаха на нём была располосована в клочья, из носа текла кровь. Один раз тётка Зоя разбила ему чугуном голову и дядя Саша неделю ходил с повязанной головой.

Конечно же, он пугал тётку Зою, что повесится, – для блезиру мой крёстный закидывал верёвку на сук, делал петлю, примеривался к ней, а потом, как будто вспомнив чего-то, бежал обратно в избу – продолжать битву с сожительницей.

Крёстного моего в Стойлове называли «приёмышем» и «подбрюшнинником» – тётка Анна приняла его к себе жить в том, в чём он пришёл к ней: в штанах, рубахе и кирзовых сапогах. Больше у дяди Саши ничего ни в пожитках, ни за душой не было, а тётка Зоя всё же имела большой дом со всей прилагаемой к нему рухлядью, корову и сына Ванюшку. Поэтому она и «качала права», когда дядя Саша напивался. Трезвый же он всегда шутил, всегда ходил по деревне весёлый и улыбчивый...

Когда мне надоело водиться с Олькой и Полькой, я шёл или к Ольге-нищенке играть в карты, или к тётке Дуне Шумиловой – пилить дрова. Бабушка наша уже смирилась со своей слепотой и позволяла мне отлучаться из дома настолько, насколько я хочу. У неё часто болела голова, она почти целый день лежала на кровати и о чём-то думала. Утром она просила меня:

– Шурка, намочи-ко тряпицу в холодной воде да наклади мне на лоб.

Я выполнял её просьбу, бабушка затихала на кровати, и до обеда мне позволялось гулять, где хочу. Днём я прибежал домой, мы с бабушкой обедали, я снова намачивал ей тряпицу на лоб и снова был свободен до вечера...

Третьими, вслед за Ермаковыми, из Стойлова уехали мы. Но не в пригород Каргополя и даже не в Ловзангу-Жуковскую, а в деревню Овчинниково, стоящую на большой дороге в километре от Калахтина: Калахтино, где жил страшный Сеня-Гром, осталось позади.

В Овчинникове мы купили небольшой домишко у двух старых дев, сестёр Шуры и Пани Овчинниковых, приехавшихся нам дальней родней. Мама продала какой-то городской организации на дрова дом в Стойлове, к этим деньгам кое-что добавили наши родственники из Саратова и Северодвинска, и покупка состоялась.

От других здешних домов (а всех их в этой деревне начитывалось восемь) наш дом отличался тем, что крыша у него была односкатная, причём с весьма небольшим наклоном, таким, чтобы дождевая вода не стояла на крыше лужей, а стекала вниз по желобочкам, сделанным в потемневших от времени кровельных досках.

Но мама была и такому домишку рада – ежедневный путь её на работу сократился наполовину, даже чуть больше. Не нужно было идти зимой по переметённому снегом полю и по тёмному лесу, да и магазин стал ближе – его перевели из Артёмова в Ловзангу.

А наш дом в Стойлове стоял ещё с полгода – его не торопилась разбирать на дрова та самая организация. И наш кот Васька, перевезённый на новое место жительства в корзине, завязанной сверху толстым бабушкиным платком, всё время убегал туда из Овчинникова.

– Иду я мимо вашей избы, – говорил дядя Саша Васишин, всегда заглядывающий к нам по пути в Ловзангу (телятник в Стойлове ликвидировали, и они с тёткой Зоей стали ходить на работу туда), – гляжу: сидит на крыльце и мяукает, домой, значит, просится, – и доставал из-за пазухи Ваську.

Васишины после ликвидации телятника прожили в Стойлове недолго: им немножко помог совхоз, Иван – приёмный сын моего крёстного к тому времени мужиком стал, да у тётки Зои было много родни в окрестных деревнях; они разобрали свою избу и на тракторе за несколько рейсов перевезли все бревна и доски и всё своё имущество в Ловзангу.

За оставшейся в Стойлове кое-какой домашней мелочью дядя Саша приехал потом на лошадке, нагрузил полную телегу и уже в темноте (дело было под осень), проезжая через Овчинниково, остановил подводу у нашего дома и зашёл к нам.

– Ульяна, Валентина, – обратился он к бабушке и маме, – знаете, чего я сейчас слышал?! Погрузил я все причиндалы на Молву (Молвой звали лошадь) и поехал, благословясь, из Стойлова. Ручей переехал, уже к лесу стал подчаливать, вдруг слышу: плачет кто-то. Остановил я Молву и слушаю... И вот: как будто женщина ходит по деревне и плачет, да горько так, с причетом. От того места, где Ермакова изба стояла, к Ворониным подошла – к вам, значит. Там поплакала, потом к нашей берёзе направилась. А солнышко-то как раз опустилось за Шумилову елушку, темнать стало. Мне аж не по себе сделалось, даже волосы на голове зашевелились. Хлыстнул я погонялкой Молву и – дай Бог ноги!... Видно это хозяйка деревни ходила да плакала, жалко ей, что столько годов жили тут люди, и всё вдруг нарушилось...

Бабушка перекрестилась, мама всплакнула – жалко было брошенную деревню.

К тому времени и тётка Дуня Шумилова с дядькой Васей-Котомой перебрались на Погост (это ещё одно название деревни Жуковской, называвшейся до войны Ловзангским Погостом. – **А. Р.**) – им там комнатёнку дали в только что построенном совхозном доме. Ольга-нищенка с красным партизаном Олёшей Едакиным покинули Ловзангу ещё до нас – их забрали в богадельню. В деревне оставался один дедка Саша Осинин.

– Не мог же он так плакать – женским голосом, – размышлял я про себя, впечатлённый рассказом своего крёстного. – Наверно, и вправду хозяйка деревни плакала.

Я старался представить её – хозяйку деревни, и передо мной почему-то вставало лицо Ольги-нищенки. На голове её была повязана тёплая толстая шаль, из-под которой торчали жидкие седые волосы...

* * *

В Овчинникове я обрёл нового друга – Генку Бахметова. Наши избы стояли рядом, и Генка был всего на год старше меня. Генкина мать, тётка Нина в детстве оглохла после простудной болезни. Она не слышала совсем, но говорить умела, а то, что говорят люди, научилась распознавать по их губам и с народом общалась запросто.

– Глуха, дак меньше греха! – хохмил Генкин отец – дядя Федя Косолапый. Косолапым его прозвали за кривые ноги, пятки его ног смотрели вперёд, а носки – назад. Таким он родился, так и жил на белом свете. Ходил тяжело, широко расставляя по земле уродливые ноги, всегда опираясь одной рукой на самодельную трость. Тем не менее, Генкин отец работал конюхом – в Овчинникове была небольшая конюшня. А ещё он на лошадке в деревянном коробе с крышкой развозил хлеб по маленьким деревням – в Туговино, Ананьино, Щёкалово. Иногда дядя Федя возил в сорокалитровых флягах обрат для телят с Ловзанги в Артёмово. Без дела дядя Федя не сидел никогда, кроме всего прочего он умел хорошо сапожничать, и народ из окрестных

деревень носил ему в починку разнокалиберную обувь, в основном – валенки и кирзовые сапоги. В избе у Бахметовых всегда пахло дёгтем и варом. Вар – это сваренная сосновая смола с какими-то пахучими добавками, дядя Федя натирал им сложенную в несколько рядов суровую нитку, отчего она становилась цельной и прочной – двум мужикам рвать – не разорвать.

Но первое знакомство с Генкиным отцом потрясло меня до слёз. На следующий день по переезду из Стойлова в Овчинниково сидел я на завалинке нашего нового жилища и ждал, когда по большой дороге проедет какая-нибудь машина, чтобы посмотреть на неё. И вдруг с бахметовского крыльца кубарем скатился пьяный дядя Федя, изрыгающий дикий мат. Скатился, поднялся на свои уродливые ноги и тут же упал – головой в канаву, в густые крапивные заросли, покрытые густо дорожной пылью. Туловище дяди Феди оказалось в канаве (она была неглубокая), а ноги – на обочине её.

Из дома выбежала тётка Нина в разорванном платье, кинулась к канаве:

– Фёдор! Вставай! Вставай!

Подбежали ещё люди: дядя Ваня Овсянников, тётка Анна Агафонова. Они склонились над канавой, пытаясь вытащить дядю Федю из крапивы.

– Пошли на фуй! – орал дядя Федя. – Все пошли на фуй! – и пинал из канавы своими уродливыми ногами всех, кто пытался к нему приблизиться. Тётка Анна Агафонова, получив удар в живот, отлетела от канавы на несколько метров. Подбежали ещё мужики и общими усилиями вытащили буяна из канавы и крепко накрепко связали ему толстой верёвкой руки и ноги. Связав, волоком оттащили матюгавшегося на всю «ивановскую» дядю Федю в избу.

– Непочто и переехали мы в это несчастное Овчинниково, – плакал я, наблюдая за происходящим уже не с завалинки, а из окна нашего нового жилища. Мне хотелось назад, в наше уютное, маленькое Стойлово, где дядя Саша Васишин хоть и выпивал иногда, но он был моим крёстным, а, будучи пьяным, никогда не задевал других людей. Генкин же отец со своими кривыми ногами показался мне похожим на злого разбойника из бабушкиной сказки.

Но трезвый он оказался добрым. Мы с Генкой любили смотреть на то, как он ремонтирует обувь. За ремонтом дядя Федя любил рассказывать нам всякие истории, связанные с нечистой силой:

– Знаете, робята, какой он, Шулыкин – леший-то? – спрашивал он нас, натирая суровую нитку варом. – Он высокий, ростом со взрослую сосну. По лесу идёт – все верхушки у деревьев сгибаются. И ходит иль совсем без одежды – а тело у Шулыкина всё рыжим густым волосом покрыто, – иль в военной форме без погон. А при случае может и старым дедком прикинуться, а может и невидимым стать. Лучшая оборона от Шулыкина – крест. Вы вот по лесу бегаєте около деревни, дак глядите: чуть чего непонятное али страшное покажется – крест на себя накладывайте, вот так, – и дядя Федя размашисто крестился.

Он всё грозился повести нас с Генкой на далёкую лесную реку Сеянгу, где водилась редкая рыба – хариус. Сеянгу мы с моим другом освоили самостоятельно, когда чуть подросли. Дядя Федя, конечно же, фантазировал насчёт совместного похода, он не мог ходить на своих худых ногах на длинные дистанции, но, видно, очень уж ему хотелось этого:

– Погодите, робята, вот разделаюсь маленько с делами и – пойдём, – говорил он, и мы с Генкой радостно переглядывались: уж очень хотелось нам с ним сходить на Сеянгу...

Физическая неполноценность того и другого родителя ничуть не сказались на Генке, он рос нормально развитым, смекалистым и ловким парнем. В Овчинникове мы прожили три года, и все три года моим лучшим другом был Генка, хотя в небольшой нашей деревушке жили и другие ребята – Богдановы и Овсянниковы.

Генка очень любил всякую технику, любил крутить гайки и болты, конструировать из этих гаек и болтов и других железок всякие хитрые штуки. Один раз к моему старшему брату Тольке (он к нашему переезду в Овчинниково уже вернулся из Саратова) приехал на велосипеде с Ловзанги его ровесник Коля Кочерин. Он оставил велосипед около нашего дома, и они с Толькой ушли в лес за грибами. Мы же с Генкой, взяв ключи, разобрали кочеринский велосипед по частям, за что нам крепко досталось потом от вернувшихся из леса старших ребят.

В окрестных полях и за лесом – с ранней весны до поздней осени работали трактора с разными навесными и прицепными орудиями, причём трактористы, а по осени и комбайнёры оставляли на ночь свою технику в поле. Вот уж тут нам с Генкой было чем поживиться! Особенно мы любили откручивать красные стеклышки-фонарики с тракторных прицепов и медные трубки – где увидим. Конечно, действия наши были хулиганскими, но нам тогда, в детстве, они таковыми не казались.

Из медных трубок мы с Генкой делали взрывные устройства. У дяди Феди хранилось в шкафу несколько пачек пороха, Генка потихоньку таскал этот порох, мы брали медную трубку, заплющивали на камне один её конец, набивали трубку порохом и другой конец заплющивали тоже. А потом разводили костёр где-нибудь на опушке леса, бросали в него трубку и прятались за толстые деревья. Трубка в костре взрывалась, хлопок от этого взрыва был громче, чем выстрел из ружья.

Как-то за деревней шла посевная, на меже лежали мешки с зерном, с ними управлялись несколько «тунеядцев» – они засыпали в сеялку зерно и по очереди стояли на ней, то есть ездили, стоя позади сеялки на специальной подножке по полю. «Тунеядцами» в деревне называли мужчин и женщин, которых при Хрущёве высылали из крупных городов на Русский Север. В нашей деревне, в районе и области больше преобладал народ, высланный из Ленинграда.

В Овчинникове «тунеядцев» не было, жили они в основном в Ловзанге: кое-кто из мужчин пристроился к одиноким деревенским женщинам, кто-то жил на квартире у стариков и старушек, и человек восемь обитали в здании старой школы. Работали «тунеядцы», как у нас говорили, – «на разных», то есть куда пошлют.

Три «тунеядца», работавших на посевной за нашим Овчинниковым, сели обедать на меже у костра. Мы с Генкой пришли как бы погреться у этого костра, присели на брёвнышко рядом с мужиками, протянули к костру руки. Они нас о чём-то спросили, мы что-то им ответили. Улучив момент, когда «тунеядцы» не смотрели в нашу сторону, Генка вынул из-за голенища кирзового сапога набитую порохом медную трубку, сунул её в огонь и скомандовал мне:

– Бежим!

Мы, ничего не объясняя мужикам, рванули с места в карьер по вспаханному полю. И уже у самой Бахметовой избы оглянулись, услышав за спиной грохот взрыва: с неба на землю падали взлетевшие вверх огненные головешки, а «тунеядцы» бежали в разные стороны от костра.

Потом целый день, до вечера, мы с Генкой прятались у него на чердаке, откуда нас выволок разъярённый дядя Федя и пару раз стеганул моего друга, как старшего в нашей компании, кнутом, которым погонял лошадей.

Но это не отбило у нас охоту к огненной потехе, правда, мы стали действовать другим, более изощрённым способом. Ту же медную трубку с порохом, размером и толщиной с мизинец взрослого мужика, мы стали заворачивать в кусок ваты и выходить, как два разбойника, на большую дорогу между Овчинниковым и Калахтиным.

Заслышав с той или другой стороны большака гул приближающейся машины, Генка поджигал спичкой кусок ваты, и тут же гасил её. Вата начинала тлеть и ужасно дымить. Генка клал «бомбу» посреди дороги, прямо в накатанную колею, и мы с ним прятались в лесу, за канавой. Вата тлела и дымила, трубка внутри её раскалялась и, когда доходила до «кондиции», – взрывалась.

Редко когда взрыв происходил за задним бортом уже проехавшей машины. Обычно водитель тормозил, заведя впереди дымящееся «нечто», выходил из кабины и приближался к «бомбе». «Бомба» оглушительно взрывалась, и мы с Генкой умирали за канавой от хохота, наблюдая за тем, как до смерти перепуганный шофёр бежит обратно к кабине и машина резко срывается с места.

Сейчас, задним числом вспоминая эти проделки, я думаю: слава Богу, что никому тогда не выбило глаза, не повредило ни одной части тела, – ни «тунеядцам», ни шофёрам, ни нам с Генкой. А ведь могло бы, причём – запросто...

В середине июня в лесу созревал сосновый сок. В это время сосна набирает очередное годовое кольцо, и колечко это у неё – мягкое-мягкое. И сочное! Вот это самое колечко и есть – сок.

Мы с Генкой любили ходить в лес за сосновым соком. Мы брали из дома топорик, ножи, тонкую и крепкую проволоку – «струну», находили на опушке или в самом лесу стройную сосёнку сантиметров в пятнадцать в диаметре у основания и валили её на землю, уже на земле обрубая сучья до самой вершины.

А потом – отделишь у комля сосны кусочек коры, возьмёшь его в руку, дёрнешь – и своеобразный ремень из коры бежит по всему стволу, легко отделяясь от него, и обнажая под собой сок – жёлтый, похожий на сливочное масло.

После того, как ствол целиком очищался от коры, кто-либо из нас – я или Генка – брали в руку проволоку, прижимали её к стволу и вели по направлению «на себя». Сок под проволокой – это мягкое годовое колечко – отделялся от ствола широкой пластиной, с неё всю капала мутноватая влага, пластина эта так и просилась в рот и была вкусная-превкусная, с чуть заметным привкусом смолы, она хрустела на зубах и воспринималась нами как некое изысканное лакомство, в то же время насыщая нас лучше любого хлеба.

Говорят, во время войны сосновый сок продавали в Каргополе целыми корзинами. А потом, когда миновали голодные годы, лакомились им только мы, ребяташки. Сок на соснах бывает в самое комариное время и сочить (мы так и говорили: «сочить сок») его можно дней 7–10, не больше, потому что потом годовое колечко начинает твердеть и его уже не взять ни проволокой, ни ножом. А через какое-то время сок превращается в дерево – в очередное годовое кольцо.

Был у нас и ещё один способ добывания сока. Толстые сосны валить нам было не под силу, а сок на них, между прочим, намного вкуснее, чем на тонких. В этом случае мы забирались по сучьям вверх большой и толстой сосны, устраивались там поудобнее, ножом очищали кору со ствола – с небольшого его отрезка, и сочили сок прямо на живой сосне.

Сосны эти стоят и сейчас, бывая на родине, я узнаю их по полуметровым чернотам на стволах. Черноты – это следы от наших ножей, затянутые живицей и потемневшие от времени. Увидишь такую сосну, и сразу кольнёт под сердцем, сразу вспомнишь и детство, и себя – сопленосого мальчишку, сидящего верхом на сосновом суку с кухонным ножом в руках, тайно утянутым из дома на время похода в лес за сосновым соком...

А берёзовый сок в конце мая! Тут даже никуда далеко ходить за ним не было потребности, берёз в Овчинникове росло много, и мы ничуть не вредили им, когда надевали на сломанный сучок выпрошенную у родителей пустую бутылку из-под «Московской» водки – пол-литру или чекушку. Сок шёл около двух недель, и эти две недели мы пили только его, бегая раз по десять на дно к берёзе с висевшими на ней моей и Генкиной бутылками.

А ещё мы Генкой ели верхушки молодых сосёнок. Подрастая, сосёнка «выстреливает» вверх продолжение своего будущего ствола – этаким мягкий, покрытый липкой смолистой корочкой отросток сантиметров в 8–10. Мы называли их «пестиками», ломали, очищали и ели вовсе не из чувства голода, просто в детстве, наверное, в нас пробуждаются гены далёких-далёких предков, живших первобытно-общинным строем и занимавшихся собирательством. Нас никто не учил и не заставлял есть эти «пестики», мы делали это непроизвольно, на подсознательном уровне.

Весной, перед тем как вспахать и засеять окрестные поля, трактористы выжигали на них прошлогоднюю стерню, остававшуюся от ржи, жита и овса после их уборки. Стерня горела хорошо, огонь и дым стелились по всему полю, нам с Генкой это очень нравилось, мы бегали вслед за тракторным плугом, отпугивая жирующих на свежей пашне грачей, выискивали на непаханых участках клочки прошлогодней соломы и подбрасывали их в огонь.

Потом по краям поля, на выжженных, но не потревоженных плугом местах вырастал хвощ – не трава, а сам ствол хвоща с шишечкой на конце, весь коричневый, как будто обгоревший. Мы также срывали эти шишечки и отправляли в рот, хотя они были, можно сказать, и невкусные, но, тем не менее, что-то внутри нас подсказывало, что их нужно срывать и есть.

А потом в сырых луговых местах вырастал щавель – наш «подножный» корм... Чего только не ели мы с Генкой, включая так называемые «собачьи дудки», и никогда ничем не хворали, животы у нас не болели, мы чувствовали себя более чем прекрасно.

А в июле за лесом, в ловзангском поле, поспевал горох (его почему-то всегда сеяли там). Поле это было недалеко от Овчинникова – через лес напрямую – не больше километра. Мы с Генкой несколько раз ходили в «разведку», проверяли, скоро ли длинные тонкие «лепёшки», висевшие на гороховых стеблях, превратятся в стручки. И в один прекрасный день это происходило! Мы потихоньку выбирались из леса в гороховое поле и начинали лакомиться сочным, спелым горохом. Утолив первое желание наесться, мы начинали класть стручки за пазуху, предварительно заправив в штаны и потуже затянув ремнями наши застиранные, выцветшие на солнце, майки.

Под майку можно было набить много стручков – и спереди и сзади. Майки наши оттопыривались на животах, образуя «пузо», наполненное горохом. Придерживая «пузы» руками, чтобы не рассыпались, чтобы майка невзначай не выскользнула из штанов, мы бежали по лесной дорожке в свою деревню. И здесь устраивались где-нибудь поудобнее, чаще – на плоской крыше нашей избы, и начинали лущить стручки и уплетать горох за обе щёки. Можно было есть его по одному стручку, а можно налущить побольше, собрать целую горсть налитых соком горошин и отправить их в рот – это была самая вкуснотища!

Уничтожив «пузы», мы с Генкой печально вздыхали и начинали пережёвывать и сосать кожуру от стручков – в кожуре тоже содержалось много горохового сока. Или бежали опять через лес – за новыми «пузами».

В Овчинникове тоже не было электричества, пищу готовили в печах, а чай грели в самоваре. И радио не было, и телефона, хотя вдоль дороги играли, пели и гудели провода на телеграфных столбах. Проводов было много – двадцать два провода. Мы с Генкой специально подсчитали их, гадая: а откуда, интересно, и куда бегут эти провода? Между Овчинниковым и Калахтиным стоял деревянный верстовой столб с прибитой к нему жестянкой. На жестянке красовалось только одно число «618». Мы знали, что от нашей деревни до большого города Ленинграда именно столько километров, сколько указано на жестянке. Следующий столб с числом «619» стоял в Калахтине за Фокиной избой.

Мы с Генкой бегали иногда по большой дороге в Калахтино, в гости к тамошним ребятам. Там жили две семьи Лушиных и Фокиных. Мы с Генкой прибегали в Калахтино, Лушины и Фокины ребята встречали нас, и мы всей гурьбой бежали в Стойлово – купаться.

Ещё в Калахтине жили Фомкины – страшный Сеня-Гром с тёткой Марьей. Говорят, что они стали жить просто: он шёл по большой дороге, освободившись из тюрьмы, куда глаза глядят, попросил в крайней избе в Калахтине напиться, да так и остался тут, нажив со случайной сожительницей двух девчонок.

От трёх калахтинских домов (так же, как и от восьми овчинниковских) теперь тоже остались только ёлки, берёзы да черёмухи.

У нас в Овчинникове всегда было много ласточек, под каждой застрехой лепилось по несколько ласточкиных гнёзд, они летали весёлыми стайками над деревней, стайками сидели на телеграфных проводах и распевали ласточкины песни. Как-то, будучи в отпуске на родине, сходил я на то место, где было Овчинниково. И поразился увиденным: на телеграфных проводах так же, как и тридцать лет назад, сидела и щебетала весёлая стайка этих милых птичек. Время от времени то одна, то другая быстроскрылая ласточка срывалась с провода и подлетала к мощной, густой и разлапистой ёлке, около которой стоял когда-то дом Овсянниковых. Я подошёл к ней, задрал голову и увидел... добрый десяток ласточкиных гнёзд, прилепленных под толстыми сучьями вдоль ствола.

Неужели это внуки и правнучки птичек, гнездящихся когда-то под застрехами овчинниковских изб? Неужели птичья память и привычка сберегла приверженность ласточек именно к этому месту, где вдоль большой дороги стоит с десяток старых ёлок и берёз? Ласточки возвращаются сюда каждое лето. А люди, некогда жившие здесь?... Часто ли они навещают место, где родились?..

Наблюдая за весёлыми птичками, сидящими на проводах, я присел около берёзы, осенявшей когда-то наш дом с плоской крышей, и воспоминания детства нахлынули на меня.

Однажды из Калахтина в Овчинниково пришёл пьяный Сеня-Гром. Дело было весной, снег только-только растаял, на большой дороге и в канавах стояли мутные лужи. Гром снял с себя около деревенского колодца всю одежду вплоть до трусов, положил её на крышку колодезного сруба и вышел на дорогу. Все деревенские жители тут же убрались с улицы и позакрывали изнутри свои избы, зная ужасный характер пьяного Сени-Грома. А он стоял на дороге в чём мать родила, подрагивая тощими белыми ягодицами, ничем не прикрывая своё мужское достоинство, дескать – нате, бабы, глядите! Он стоял и раздумывал, какой бы фортель ещё выкинуть. И выкинул: сел в самую большую лужу посреди дороги и стал пригоршнями поливать на себя мутную воду.

Приняв такую ванну, Гром встал из лужи и направился к Богдановой избе. Возле избы стояли качели, на которую Богдановы ребята нас с Генкой никогда не пускали. Гром залез на один из её столбов, обхватил его, как обезьяна, руками и ногами, и стал делать движения, как будто он пытается вырвать столб из земли.

В это время по большаку ехал «козлик» с каким-то начальством. Шофёр, завидев голого мужика верхом на столбе,

тормознул. «Козёл» постоял минуты две, люди, сидевшие в нем, полубовались на голого Грома, но выйти из машины не решились, поехали дальше.

А Гром слез со столба, подошёл к избе тётки Кати Шубанихиной и стал ломиться к ней в дверь. Она потом рассказывала:

– Я перепалась (испугалась. – **А. Р.**) вся, вышла в коридор, спрашиваю: «Семён, ты почто ко мне колотишься, к одинокой женщине, чего тебе надоть?» А он: «Катюха, открой, мне спичек дай!» Я ему: «Ой, что ты, Сенюшка, ты ведь голый, как я тебе открою? Я ведь тебя боюсь! А почто тебе спички-то? Ещё подожжёшь кого...» А Гром: «Слышь, Катюха, ежели не дашь спичек, я сейчас на провода залезу и по проводам ходить буду!» Я ему: «Давай-давай, Сенюшка, только иди по проводам-то в своё Калахтино. Марья-то, небось, тебя заждалась...

Гром, видимо, протрезвев немножко после холодного купания, взял с колодезного сруба одежду, и, размахивая ею, пошёл потихоньку в своё Калахтино.

Тётка Катя Шубанихина, овдовев, жила одна. Ей было уже за пятьдесят, оба сына её после армии домой не вернулись, один осел в Питере, другой в Северодвинске устроился на военный завод. А с Клавдией, дочкой её, поскребышем, произошло нечто, о чём долго говорили не только в Овчинникове, но и в других окрестных деревнях...

Клава после окончания школы стала работать на телятнике вместе с матерью Генки Бахметова: в Овчинникове, как и в своё время в Стойлове, «действовал» небольшой телятник. Была она, как говорят в народе, – «кровь с молоком»: высокая, грудастая, не по возрасту широкая в бедрах. Парней – ровесников ей – в Овчинникове не находилось, она бегала в Ловзангу на танцульки. «Боевая девка у Кати выросла, глаз да глаз за ней, кабы в подоле не принесла», – слышал я, как говорила моей бабушке тётка Анна Агафонова. «Принести в подоле» или «нагулять», то есть родить неизвестно от кого в девках, считалось в те – наши времена – очень большим грехом.

И вот однажды, когда тётка Катя ушла к престольному празднику Петрову дню в Ловзангу к близкой родне, да причём с ночёвкой, тянула Клава воду из колодца, что стоял посреди деревни. Петров день – 12 июля, на улице жарко было, на Клаве – лёгкое платьице, подчеркивающее все её прелести... Тут и остановился около колодца грузовичок, вылез оттуда молодой мужчина – шофёр, попросил у Клавы напиток... Вся деревня видела, как присел он на краешек сруба, заговорил с девушкой, как рассказывал ей что-то весёлое, как смеялась она, стыдливо одёргивая на крутых бедрах короткое платьице. Разговор затянулся у них чуть ли не на полчаса, Клава один раз показала шофёру рукой на свою избу, говоря что-то...

А потом был скандал... Никто не знает, чем улестил шофёр деревенскую девушку, только получилось так, что уехать-то он уехал на своём грузовике, но недалеко: свернул на нём на одну из многочисленных лесных дорожек, спрятал в лесу машину, а сам, когда смеркаться начало, пробрался задворками в деревню и шмыгнул в дом Шубанихиных, благо двери на засов Клава не закрывала.

Но какие там 12 июля сумерки? Так, чуть-чуть посереет на улице, когда солнышко на каких-то три часа за лес уйдёт. Светло белой ночью, как в пасмурный осенний день.

Видели от Богдановых, как вошёл парень в открытую дверь... Хотели разбудить и послать кого-либо из ребят в Ловзангу – за тёткой Катей. А та и сама – тут как тут, то ли не захотелось ей ночевать у родни, то ли почувствовало сердечко что-то неладное... Дорога не дальняя, ночь белая: пришла тётка Катя домой, толкнулась в дверь – открыто. Ругая про себя дочь «полоротой» (ишь, не заперлась на ночь!), поднялась по лестнице, вошла в избу... И застала свое чадо во всей красе в постели с незнакомым молодым человеком. Схватила тётка Катя за сердце и за скалку, да поздно уже было: потеряла Клава свою девичью честь...

Потом, когда пересуды да сплетни малость поутихли, отправила тётка Катя дочь свою неразумную в Северодвинск, написав предварительно сыну Анатолию, чтобы устроил её туда, где требовались рабочие руки. Клава поступила в Северодвинске в ФЗО, дали ей место в общежитии. А мать её стала жить одна...

Как в Стойлово, так и в Овчинниково, а потом и в Ловзангу к нам частенько наезжал мамин брат Александр Иванович Воронин из Северодвинска – в гости, привозил гостинцами сладости, невиданную здесь рыбу палтус, толстую колбасу, которую я не мог есть, не выковыряв из неё предварительно белые комочки жира. Колбаса пахла мясом, не то что теперь: прилавки в магазинах завалены разного рода колбасами, но такой, какая была в детстве, среди них не найти...

Дядя Саша любил выпить. Он часто уходил в Ловзангу (сам говорил – «иду на Погост») к знакомым ещё с молодости мужикам, в том числе и бывшим, как он сам, фронтовикам (а воевал мой дядя в танковой Кантемировской дивизии и в её составе участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году). Денег дядя привозил много (работал он гибщиком на Севмаше и получал прилично).

Он их не жалел, швырял налево и направо, собутыльников находил в достатке и иногда несколько ночей подряд не приходил в Овчинниково. Сынишка его, мой двоюродный брат, тоже Толик, младше меня на четыре года, говорил маме и бабушке:

– Пускай папка водку пьёт, пускай пьяцает! А мы будем спа-ать...

Толика в гости к нам привозил сначала дядя Саша, а когда он подросток – стал приезжать самостоятельно.

Иногда к нам, когда Александр Иванович отдыхал после очередной пьянки, заходил Вася-слепой – мужик лет сорока, «сидевший» несколько лет в няньках у моей незаконной родни – Овсянниковых. Он был им совершенно чужой человек, но жил на правах своего и нянчил погодков Кольку, а затем Нинку.

Глаза у Васи-слепого не раскрывались с рождения и всегда были закрыты, как у спящего человека, но он прекрасно ориентировался и в доме Овсянниковых, и на улице, и к нам приходил, находя дорогу каким-то шестым чувством. Он ступал через порог и говорил тоненьким голоском:

– Александр Иванович, доброго утречка! Чегой-то выпить захотелось...

Дядя Саша, радовавшийся любому собутыльнику, вытаскивал из заначки (а заначку он делал всегда) «Московскую», просил у женщин несколько кусков хлеба с солью, срывал с огородной грядки десяток луковых перьев, и они шли с Васей-слепым под ближайшую берёзу – выпивать.

Вася-слепой читал на «публике» стихи, которые выдавал за свои. Я даже запомнил одно из таких «произведений»:

Жили-были три китайца:
Як, Як Цидрак,
Як Цидрак-Цидрык-Цидрони.
Жили-были три китайки:
Цыпи, Цыпи-Дрыпи
И Цыпи-Дрыпи-Альпа-Поми.
Три китайца поженились:
Як на Цыпе,
Як Цидрак на Цыпе-Дрыпе,
А Як Цидрак-Цидрык-Цидрони
На Цыпе-Дрыпе-Альпа-Поми!

Не знаю, почему Вася-слепой нарёк китайцев совсем не китайскими именами, но стихотворение это слушать было забавно, оно произносилось автором скороговоркой, «публика» – деревенские мужики и бабы – смеялись и хлопали в ладоши.

А ещё Александр Иванович выпивал с дядькой Колей Лушиным из Калахтина, носившим редкое в деревнях прозвище – Левитан. Дело в том, что он имел такой же крепкий голос, как и известный диктор Всесоюзного радио. Но пользовался он мощностью своего голоса исключительно по пьянке. Беда его была ещё и в том, что он не мог жить без политики, как и многие деревенские мужики. Одно время дядя Коля состоял в рядах КПСС, но его «выкинули» (так говорили в деревне) из партии за то, что он покрестил своих детей в тот самый визит священника в нашу глушь, когда был крещён и я.

Но партийная идеология по-прежнему крепко сидела в его голове, он выписывал центральную «Правду» и ещё несколько газет, благо стоили они тогда копейки, и прочитывал их от «корки до корки». Дядя Коля досконально знал, что происходит в любом уголке земного шара, где и как запятнали себя позором ненавистные капиталисты, какая из очередных африканских

стран сбросила с себя колониальное иго и куда недавно совершил государственный визит Генеральный секретарь КПСС, Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущёв. И все эти знания выливались из дяди Коли, когда он напивался. На работу Левитан ходил, как и моя мама, в Ловзангу, путь его туда и обратно лежал через наше Овчинниково. Выпивал дядя Коля обычно в Ловзанге, после работы, с мужиками. И шёл домой – в Калахтино.

– Ну, опять Николушка левитанит, опять сегодня – лекция о международном положении, – говорил кто-нибудь из овчинниковцев, заслышав за лесом, ещё в ловзангском поле что-то типа:

– Линия партии и Советского правительства... Свободу Патрису Лумумбе! Куба – да! Янки – нет!

Всю дорогу от Ловзанги до Калахтина Левитан клеймил позором заокеанский вражий стан:

– Все люди доброй воли, – вещал он, появляясь на большой дороге, – с тревогой следят за милитаристскими приготовлениями ФРГ! Но наши баллистические ракеты – гарантия мира и безопасности во всём мире! Мы покажем им кузькину мать!

Левитан шпарил как по-писаному, сопровождая свою речь энергичной жестикуляцией. Иногда он останавливался посреди большака, чтобы, набрав в лёгкие воздуха, чётче произнести какую-либо замысловатую фразу, размахивая руками, выталкивал её изо рта и двигался дальше. Во время «лекции о международном положении» Левитан, как глухарь на току, ничего не видел вокруг и не слышал.

Проходя вдоль нашей деревни, дядя Коля ещё изрыгал проклятия в адрес империалистов-колонистов, но по мере приближения к Калахтину начинал постепенно переключаться на свою жену Глафиру:

– Эти Осинины, – гремел Левитан (девичья фамилия Глафиры была Осинина), – всю кровь из меня выпили, все кишки мне измотали! Гранька, щучья твоя морда!... Сейчас я тебя и твоих выпердышей!...

«Выпердышами» Левитан называл Сашку, Таньку и Вовку. Тётка Грания, услышав ещё за Овчинниковым голос своего пьяного мужа, хватала детишек в охапку и уходила к Фокиным или к Фомкиным. Когда Левитан приближался к своей избе – соседи прятали его супругу с детьми под пол.

Походив от избы к избе, «поаратовав» ещё с полчаса, Левитан укладывался спать... Тётка Грания с детишками вылезала из укрытия, и жизнь в Калахтине опять начинала катиться своим чередом, до следующей дяди-Колиной пьянки...

Жена калахтинского дяди Миши Фокина тётка Поля работала на птичнике. Птичник находился в километре от большой дороги, в урочище Кучино, примерно между Калахтиным и Овчинниковым. Тётка Поля ухаживала за курами, кормила и поила их, собирала яйца, а дети её – Вовка и Сашка – помогали матери и иногда приглашали нас с Генкой в Кучино. Чердак птичника был просторный и сухой, мы натаскивали туда свежего сена, заваливались в него и слушали Сашку Фокина. Сашка учился уже в третьем классе и много читал. На чердаке птичника он пересказывал нам прочитанные им книжки. Мы очень любили слушать про войну, про «наших» и про «немцев», и сопровождающие иногда Сашкины рассказы раскаты грома во время короткой летней грозы казались нам залпами далёких фронтовых орудий.

Как хорошо было лежать на сене под прогретой солнышком дощатой крышей и слушать шлёпанье дождевых капель по ней, внимать шуршанию дождя в зелёной густой траве под стенами птичника и ощущать, что наша жизнь – она ещё вся впереди, она там – за лесом, там, куда уводит большая дорога – оба её конца...

СОВЕЩАНИЕ

Во второй половине дня всех участников совещания вывели из «Орлёнка» на высокую лестницу со множеством ступенек и сфотографировали – на память.

Затем рассадили всех обратно в «Икарусы» и повезли в Химки. На этот раз рядом со мной на сиденье оказался пожилой человек с несколькими фотоаппаратами на груди. Он представился:

– Николай Георгиевич Кочнев! Я по писателям специализируюсь.

И весело, с подробностями рассказывал мне всю дорогу, как фотографировал многих известных литераторов, и ныне живущих, и давно покинувших сей мир.

– Мои работы с удовольствием берут и «Литературка», и «Огонёк», и прочие издания...

За рассказами фотографа обратная дорога показалась короткой. Чувство голода давало о себе знать, потому-то по приезду в «Олимпиаец» я отправился перекусить в столовку, где оказался за одним столиком с прозаиком из Республики Коми Алексеем Поповым. Мы, познакомившись, обрадовались друг другу (почти земляки!), вместе покушали, потом вышли на воздух, погуляли вокруг комплекса, покурили, в разговоре нашли общих знакомых из Коми – студентов Литинститута: Сашку Лужикова и Диму Фролова с дневного отделения, Михаила Елькина – с моего курса... А там и вечер наступил, пришла пора спать укладываться. Моего осетина в номере не оказалось, он пропал куда-то ещё в Москве. Я попил водички из графина, выкурил на балконе сигарету и, почувствовав вдруг накопившуюся за этот полный событий день усталость, разобрал постель, лёг и сразу же провалился в сон, глубокий и крепкий...

* * *

Девятое совещание молодых писателей в высших литературных кругах было решено проводить так: каждый день руководители семинаров – маститые прозаики, поэты, критики и драматурги к девяти утра приезжают на «Икарусе» в «Олимпиаец», проводят занятия в своих «кружках», а вечером автобус отвозит их обратно в Москву.

Утром они и приехали – руководители: я заметил среди мэтров Владимира Личутина, с которым до сих пор близко не знаком, мелькнуло лицо Льва Ошанина, пробежал по лестнице поэт Кирилл Ковальджи, временно заменивший на кафедре творчества в Литинституте Александра Петровича Межирова. Тут были и Евгений Винокуров, и Анатолий Жигулин, и Юрий Кузнецов, и ещё многие и многие известные литераторы.

Каждый семинар, как правило, возглавляли трое мэтров: тот, в котором оказался я, возглавили критик из издательства «Советский писатель» Михаил Числов и два московских поэта: Сергей Мнацаканян и Геннадий Красухин, работавший в отделе поэзии «Литературной газеты».

Группа, к которой меня причислили, насчитывала человек двадцать, среди которых оказались: Вадим Степанцов – ныне широко известный магистр Ордена куртуазных маньеристов, лидер группы «Бахыт-компот»; несколько студентов-дневников из нашей «альма-матер»; интересная поэтесса из Воронежа Марина Улыбышева; один бурят; три представителя из разных республик СССР; а также поэт из рязанского городка Сасово Володька Хомяков – мужичок примерно одного возраста со мной, о котором вся речь впереди. Прочих я даже не запомнил.

В первый рабочий день совещания наши руководители познакомились с каждым из нас, и семинар начался. Проходил он так же, как и в Литинституте: поднимался кто-либо из участников (по алфавитному списку), читал пяток своих стихотворений, машинописные копии этих стихов раздавались всем сидящим в аудитории, и обсуждение начиналось. Вердикт зависел от субъективного мнения того или иного выступавшего в ходе обсуждения прочитанных стихов. Например, от принадлежности его к течениям – русофильскому или же западническому. Будь хоть того талантливее стихи у русофила Иванова, западник Копштейн всё равно найдёт, к чему в них придраться и размажет Иванова по стенке вместе с его стихами. И наоборот: Иванов размажет по стенке, правда, не так умело, стихи Копштейна вместе с их автором. И ещё нюанс: пусть русофил Петров пишет посредственные стихи, но его друг Иванов отыщет в них и процитирует более-менее яркие строчки в пику Копштейну, чтобы поддержать своего друга.

Короче говоря, обсуждение стихов как на литинститутских семинарах, так и здесь, на совещании, частенько обижало их автора. Весь итог обсуждения зависел от руководителя (здесь – от руководителей): его веское слово должно поставить всё на свои места, он не должен быть пристрастным и становиться на чью-либо сторону: объективность и только объективность!

В первый день совещания мы обсудили пятерых семинаристов, стоящих первыми в алфавитном списке. Обсуждение проходило по приведённому мной выше сценарию, только Володька Хомяков, поразительно похожий на своего тёзку Владимира Винокура, всех миловал.

– Мне радостно сознать, – начинал он свою речь при обсуждении очередного автора, – что среди нас находится поэт такой-то, мне радостно, что у этого поэта есть такие хорошие строчки, и вот такие... И он цитировал эти строчки по бумажке.

Его фамилия, как и моя, стояла во второй половине списка, и Володька, судя по всему, готовил почву: вряд ли кто будет ругать его стихи, ведь он-то всех хвалит!

После окончания занятий мы с ним вместе вышли из аудитории и пошли на улицу – покурить.

– Что за зона такая бл-ская! – высказал Хомяков мысли, близкие к моим. – Не выпить тебе, не расслабиться! Даже курево не продаётся! Тоска зелёная! Вот я только что был...

Оказывается, Володька прибыл прямо сюда с какого-то то регионального совещания молодых литераторов средней полосы.

– Вот у нас там было! По фигу все эти горбачёвские указы! Спекулянты везде найдутся. Правда, дороговато у них...

Володька похлопал себя по карманам и, тараща на меня белёсые глаза и улыбаясь широкой винокуровской улыбкой, вдруг спросил:

– Слушай, у тебя деньги есть?

– Есть! – тут же отозвался я, мгновенно подумав, что общение с тем же Хомяковым за рюмкой водки было б намного приятнее, чем за стаканом чая и тарелкой манной каши.

– Давай! – перешёл на заговорщицкий шёпот Хомяков. – Давай! Тут ребяташки собрались мотануть до Химок.

– Сколько? – полез я в карман своего дерматинового пиджака, отчётливо понимая, что нам-то с Володькой в Химках в разгар борьбы с пьянством и алкоголизмом делать нечего.

– Давай на три «пузыря»! Нам с тобой по «пузырю» и ребяташкам за работу – один.

Я чувствовал: свадебный костюм уплывает из моих рук, но улыбчивая рожа Хомякова настраивала на оптимистичный лад. Да, честно говоря, и самого подтыкал в ребро какой-то бес: дескать, давай, не жмись, – какое же общение между поэтами без спиртного!?

...Потом мы сидели с Володькой в моём номере, курили, выходя на балкон. Он время от времени спускался вниз – узнать, не приехали ли «ребятышки». Те оказались на высоте: из одной такой вылазки мой новый приятель вернулся сияющий с двумя бутылками водки, четырьмя пачками «Явы» и шестью пирожками с мясом.

Через полчаса мы с Володькой уже читали друг другу стихи, вспоминали и цитировали великих, выпивали за них, за поэзию и ещё много за что.

– Мне радостно! – кричал Хомяков. – Мне радостно, что я познакомился с тобой, что у тебя есть такие строчки! – И просил меня прочитать снова мой «дурдомовский» цикл.

Земляк Есенина мне положительно нравился. Ну, бывает же: пропился человек на региональном совещании, что тут такого? Неужели поэт поэта не поймёт? Ещё как поймёт! Главное, что я уже не чувствовал себя одиноким, после выпитого у меня было такое ощущение, что я знаю Володьку сто лет, а в этом самом «Олимпийце» живу, как минимум, месяц.

Потом я пошёл провожать Володьку в его номер, мы долго блуждали по этажам, пока не обратились к горничной за помощью. Горничная отнеслась к нам по-доброму, довела до дверей хомяковского номера и мягко пожурила:

– У нас здесь режим! А вы нарушаете! – и погрозила пальцем.

– Мы – поэты, нам можно, – пробормотал мой приятель, с пятого раза попав ключом в замочную скважину.

...В тот вечер, когда мы нарушали режим, нарушал его и поэт Сергей Донцов, которого я случайно обнаружил на следующее утро в столовой в очереди за тарелкой манной каши. Он сразу же бросился мне в глаза, потому что возвышался над очередью на целую голову. На нём была выцветшая рубашка цвета хаки, выдавшая виды дерматиновая сумка свисала с правого плеча. Жёлтая Серёгина голова со свисающей на правую сторону жёлтой соломенной чёлкой, видимо, почувствовав на затылке мой взгляд, медленно повернулась, и Донцов поднял руку, приветствуя меня...

ДОНЦОВ

Серёга Донцов был классным поэтом! А почему, собственно, был?! Насколько мне известно, теперь он проживает в славном городе под названием Тверь вместе с пленившейся его стихами второкурсницей-литинститутовкой Леночкой Чукиной. Правда, Леночка далеко уже не второкурсница, правда и то, что до переезда в Тверь они некоторое время благополучно проживали под крылышком вдовы Ярослава Смелякова Татьяны Стрешневой на смеляковской даче в Переделкино.

А до Переделкино Серёга обитал в деревне Леонтьево Ступинского района Московской области в двухэтажном коттедже моего однокашника, поэта-тракториста Андрея Алексева. Обитал сначала в единственном числе, а потом вместе с Леночкой Чукиной, а затем опять один, потому что Андрей хоть и был классным трактористом, но всё равно один не мог прокормить свою семью и чету Донцовых-Чукиных. Без четы он бы как-нибудь ещё прокормил жену, детей, свою старушку-маму а заодно и себя. Но вот с четой никак не получалось. И потому только из уважения к донцовскому таланту он разрешил Серёге обитать под своей крышей в единственном числе, без Леночки.

Поначалу Андрей хотел привлечь Донцова к общественно-полезному труду и поставил на сеялку, волочившуюся за его трактором по обширным полям Ступинского района. Но один день стояния на сеялке настолько выбил Серёгу из поэтической и жизненной колеи, настолько привёл его в изумление и лишил бодрости духа, что вечером Андрей привёз его, изумленного, под окна своего коттеджа как живого трупа (да-да, именно: как трупа, а не труп!), сгрузил как живого трупа около крыльца и к общественно-полезному труду больше не привлекал, питая Серёгу овощем со своего огорода и хлебами из сельского магазина за просто так, то бишь за беззаветную Серёгину преданность поэзии и только поэзии, ибо любой труд, даже такой, как стояние на едущей сеялке под крылышками выющегося в солнечном зените жаворонка, негативно

влият на донцовские творческие поиски.

Будучи сам неплохим поэтом, Андрей меценатствовал, неистовствуя в своём меценатстве. Представьте такую картину: загоревший под ступинским солнышком, пропахший солярой, мазутом и минеральными удобрениями, запылённый и оглохший от треска двигателя гусеничного трактора Андрей возвращается поздним вечером под крышу дома своего, а на верхней ступеньке крыльца этого дома стоит с чашкой дымящегося кофе в руке и лёгкой мечтательностью в глазах Серёга Донцов и декламирует только что рождённое в недрах алексеевского коттеджа стихотворение. Нет, вы представляете такую умилительную картинку?!

У поэта Андрея Дементьева есть неплохие строчки: «Кто-то там гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы...» Да, Андрей Алексеев умел гениально слушать донцовскую «флейту», он разобрался в настоящей поэзии и преклонялся перед ней. Но ведь есть ещё и жена, которую раздражает присутствие в доме, причём длительное и ничем не объяснимое для неё, чужого человека. В конце концов, Серёга был согнан под каким-то благовидным предлогом со двора алексеевского дома.

Встреча с Леночкой Чукиной была для него подарком судьбы. Когда они случайно, после какой-то студенческой пирушки, оказались вдвоём в её убогой комнатухе литинститутской общаги и Серёга прочёл ей свои стихи, бедная девушка, поражённая, как громом, донцовским талантом, приняла его такого, какой он есть, – беззаветно преданного поэзии и русской литературе, презирающего во имя поэзии любой другой общественно-полезный труд. Леночка приняла Серёгу душой и телом, и они пошли, то есть поехали по жизни вместе, сначала в деревню Леонтьево, потом в Переделкино, на смеляковскую дачу, а уже оттуда – в славный город Тверь, где в данный отрезок времени и пребывают, надо полагать, в любви и согласии.

Нет, Серёга никогда не постигал азы поэзии в Литературном институте, он, как Максим Горький, учился у жизни и работал над собой. До появления в столице нашей необъятной родины Донцов проживал на Урале, откуда в один прекрасный день пришла мне в Архангельск телеграмма с вызовом на телефонные переговоры. Недоумевая, кто бы мог мне звонить из Свердловска, я снял трубку в кабине переговорного пункта и услышал донцовский голос:

– Александр, ты не смог бы мне выслать двести рублей займа?

Двести рублей в советские времена (а точнее – осенью 1989 года) были большими деньгами, я сам в то время падал в глубокую финансовую пропасть и потому ничем помочь Серёге не мог.

Но это было потом, осенью, а сейчас, весной того же года, мы встретились с ним в столовке «Олимпийца» в очереди за порцией манной каши.

К тому моменту я знал Донцова по нескольким стихотворениям и двухчасовому общению за бутылкой водки в общедоступной, в комнате курганского поэта Сергея Бойцова. Меня поразили тогда донцовские стихи, которые, картинно и вдохновенно, размахивая длинными руками, читал их автор. Как бы подтверждением донцовского таланта было его появление здесь, в лесу под Химками: устроители совещания молодых писателей нашли его и пригласили на столь представительный «форум». Этот факт говорил о многом. Впоследствии всё объяснилось просто: в Москве у поэта-бродяги Серёги Донцова проживало немало влиятельных в литературных кругах людей, включая того же Николая Шипилова, давшего в 1990 году громадную подборку донцовских стихов в журнале «Литературная учёба», который выходил в то время чуть ли не миллионным тиражом. Тот номер «Учёбы» триумфально прошеествовал по всему Советскому Союзу, сделав Донцова знаменитым в поэтических кругах...

– А я у Андрюхи Алексеева на посевной работал, – гордо сообщил мне Донцов, приглашая широким жестом встать впереди его в очередь за манной кашей.

Это был именно тот отрезок времени, когда Серёга, отправив Чукину сдавать весеннюю сессию за второй курс, обитал в Леонтьево в единственном числе. Именно в Леонтьево, а вовсе ни на каком Урале и ни в Москве, хотя от алексеевской деревни до столицы через воспетую Галичем станцию Белые Столбы – рукой подать. По водочному перегару, исходившему от Серёги, я понял, что деньги, выданные ему Андреем под совещание молодых писателей, уже прогуляны.

– Ты у кого в семинаре? – спросил я Серёгу, внутренне радуясь тому, что хоть одного знакомого (Хомяков и Попов не в счёт, я познакомился с ними здесь) всё же встретил в «Олимпийце».

Оказывается, Донцову посчастливилось попасть в семинар, руководимый Юрием Кузнецовым. Но из-за посевной он опоздал на совещание на целый день, и его алфавитную букву «д» уже пустили по кругу, то есть очередь свою на обсуждение Серёга прозевал. Но, по его словам, он попробует попросить у Кузнецова прощенья и обсудиться сегодня.

Так оно и вышло: Донцов «обсудился» в тот же день, причём стихи его всем семинаром были приняты на «ура», а мы с Хомяковым промаялись полдня, слушая вирши приехавших с периферии, то есть из Бурятии и Казахстана, двоих поэтов. Сначала они читали стихи на своих родных языках, потом – на русском с подстрочников – в прозе, а потом в чужом переводе – опять на русском, но уже зарифмованные.

– Мне радостно... – начал было Хомяков своё выступление, но, запутавшись в подстрочниках, хмыкнул и сел на место. Степанцов глубокомысленно смотрел в окно, находясь в своих куртуазных мыслях где-то в веке эдак восемнадцатом. Числову, Мнацаканяну и Красухину пришлось отдуваться за весь семинар, но они с честью вышли из положения, профессионально разобрав по косточкам стихи бурята и казаха.

...Вечером в «Олимпийце» ожидалась премьера фильма «Интердевочка» (он ещё не шёл в московских кинотеатрах), но кто-то там, наверху, волевым решением отменил премьеру, посчитав, видимо, недостойными молодых писателей первыми лицезреть шедевр, и вместо «Интердевочки» в кинозале показывали документальную ленту о событиях в Чернобыле.

Мы: я, Донцов и Хомяков часа два прогуливались вокруг спортивного комплекса, дышали свежим воздухом вперемешку с табачным дымом, слушали пенье соловьёв и мечтали о том, как завтра после семинара вырвемся на вольную волюшку – в Химки, а то и в саму Москву и ударим если не по водочке, то уж по пивку – точно. Причём Володька с Серёгой поочередно с любовью и преданностью заглядывали мне в глаза – им, двум бессребреникам, было рассчитывать не на что, кроме как на деньги, предназначенные на покупку моего свадебного костюма...

КРЕЩЕНИЕ

...Как поступают люди в Литературный институт? Сейчас, «когда говорят пушки», процесс этот, то есть процедура поступления, наверняка осталась той же, но количество абитуриентов уменьшилось раз в ...нацать, ибо не престижно быть нынче литератором в нашей матушке-России.

А тогда, в 1987 году, в первые, многообещающие годы горбачёвской перестройки, когда «толстые» журналы выходили миллионными тиражами, когда вся интеллигенция гонялась за рыбаковскими «Детьми Арбата», опубликованными пока только в «Дружбе народов», когда выплывали из небытия вычеркнутые из русской литературы имена писателей и поэтов и вытаскивались из столов некогда запрещённые к печати произведения давно состарившихся или уже умерших авторов! Это был пик, бум, настоящее литературное пиршество!

И вот в самый разгар этого пиршества мы, абитуриенты, стояли в очереди в приёмную комиссию на Тверском бульваре, 25: нужно было подтвердить свое появление в Москве, зарегистрироваться, сдать председателю комиссии Галине Ивановне

Седых привезённые с собой документы и получить бумагу с видом на жительство в общежитии на время сдачи вступительных экзаменов.

Мы терпеливо стояли в очереди – кто в коридоре перед заветной дверью, кто сидя на скамеечках в курилке возле памятника Герцену. Все, конечно же, волновались и, чтобы скрыть свое волнение, почти беспрерывно дымили сигаретами и молчали, потому что ещё не были знакомы друг с другом. Только один белобрысый, в поношенном джемпере абитуриент, обращаясь сразу ко всем, громко вещал:

– Когда меня сюда провожали, то наказали: смотри, про евреев там ни слова не говори!

Он, как видно, и не подозревал, что среди нескольких десятков сидящих на скамеечках молодых и не очень молодых людей могли быть эти самые евреи.

Середина августа в Москве – разгар лета. Институтский дворник поливал из резинового шланга цветочную клумбу за спиной памятника Герцена. Было жарко. Тополя шелестели над нами густой листвой, тень от них целиком закрывала скамейки. У раскрытого окна приёмной комиссии стояли две девицы в брючных костюмах и одна из них умоляюще кричала в распахнутую створку:

– Я прошу пропустить меня без очереди! Я беременная! На пятом месяце!

Вторая девица, по всей видимости – подруга первой, выступала в поддержку:

– Пропустите беременную! – И, повернувшись лицом к скамейкам, укоряла сидящих в курилке:

– Среди вас есть сознательные? Видите – она беременная!

– Беременные в литературу идут в порядке очереди, так же, как и девственницы, – раздалось из недр кабинета, и створка окна захлопнулась.

По мере продвижения очереди – а двигалась она в час по чайной ложке – мы начали потихоньку знакомиться друг с другом, причём каждый надеялся встретить здесь земляка. Но с моими земляками было туго: ближе всех к Архангельску оказался только Витька Борисов из Вологды – тот самый белобрысый парень, которому «наказывали» ничего здесь не говорить про евреев.

Мы с ним стали было перечислять известных нам северных поэтов и прозаиков, как вдруг от калитки раздался зычный весёлый голос:

– Эй, мужики, есть тут кто-либо из Архангельска?

И во двор ступил плотный такой мужичок, тащивший под мышкой внушительных размеров кожаный чемодан с оторванной ручкой.

– Есть, есть! Из области! – радостно отозвался я.

– Харитонов. Николай, – подал мне руку обладатель чемодана – будущий староста нашего курса, мой друг и сосед по комнате в общежитии на все шесть лет учёбы:

– Вот, оказия какая! – показал он на чемодан. – Ручка ещё в Шереметьеве оторвалась. Так и волокусь от самого аэропорта...

Конечно же, я пустил своего земляка в очередь – впереди себя, мы благополучно сдали документы в приёмную комиссию, познакомившись тут же – на скамейках и в коридоре с Толиком Мельниковым из Могилева, Арвидасом Лапукасом из Каунаса и Димкой Загулиным из Питера. Вшестером – к нам присоединился Витька Борисов – отправились в общагу, где благополучно разместились в комнатах на третьем этаже. Получив бельё и застелив кровати, мы пошли знакомиться с окрестностями и заодно в магазин – купить продуктов к ужину, так как день уже клонился к вечеру. Витька Борисов заикнулся было о спиртном: не худо бы, дескать, обмыть наше знакомство, и мы согласились с ним, но – увы! – водка и вино продавались в Москве в то время только по талонам и далеко не в каждой торговой точке. А где продавалась, около того магазина качалась, шумела и волновалась «петля Горбачёва», так в те годы именовали в народе очередь за алкоголем. Про находившийся через квартал от нас таксопарк и про вьетнамские общежития, где можно было достать спиртное в любое время дня и ночи, мы тогда ещё не знали и сказать нам про них было некому – студенты-«дневники» и слушатели Высших литературных курсов пребывали на летних каникулах.

Поэтому, поев московских сосисок и попив чайку, мы, уставшие за этот сумбурный и волнительный день, забылись беспокойным сном в общежитии на казённых койках в преддверии предстоящих вступительных экзаменов...

* * *

Как нам сказали перед экзаменами, творческий конкурс на факультет поэзии в 1987 году был огромным – 38 человек на место. И не мудрено: в разгар литературного пиршества попасть в заветный вуз мечтало много самодеятельных стихотворцев в разных городах и весях необъятного тогда СССР. А принимались на заочное отделение на два поэтических семинара всего-навсего 24 человека.

Как проходил отбор на эти места? Тайну эту мы узнали, уже будучи студентами, на первом же занятии с нашим мэтром Александром Петровичем Межировым.

– У Будды есть выражение: «Встретишь учителя – убей его!», – такова была первая фраза, сказанная им. А вторая:

– За весну и первую половину лета я прочёл тысячу стихотворных рукописей, присланных на конкурс. Отобрал вас – двенадцать человек.

Мы сидели перед Межировым, как двенадцать апостолов перед Христом, правда, среди нас была одна женщина – Раиса Михнева из Свердловска, ставшая впоследствии Рахель Абельской и уехавшая сразу же по окончании «альма-матер» в землю обетованную.

Итак, секрет прост: маститый поэт или прозаик, набирающий себе на ближайшие шесть лет (правда, с 1993 года срок учёбы в Литинституте сократили до пяти лет, мы были последние, кто учился шесть) семинар, читал рукописи и понравившиеся ему подборки стихов откладывал в сторону, ставя на них знак «плюс». Это была своего рода игра, игра не в рулетку, а в судьбу, – ведь каждая «плюсовая» рукопись круто меняла жизнь её автора.

Если бы не этот «перст судьбы», а точнее – если бы не рука Межирова, поднявшая и взвесившая на ладони два десятка моих стихотворений, если бы не его решение: «этого я беру» – до сих пор класть бы мне печки с Володькой Иванусом или каким-либо другим подсобником в своём районе, выпивать бы «дымовое» с хозяевами и – кто его знает? – может быть, лежать бы уже на сельском кладбище под деревянным крестом, как лежат многие мои сверстники, не сумевшие найти себе места в новой, постперестроечной жизни.

Помню, с каким трепетом взял я в руки конверт с обратным адресом: г. Москва, Тверской бульвар, 25, Литературный институт им. А.М. Горького Союза писателей СССР, с лежащим в нём вызовом на вступительные экзамены. Я тогда пришёл со своей печной работы, отмылся от сажи и глины и долго сидел над конвертом, боясь его открыть – а вдруг там отказ: «вы нам не подходите!»

Хотя где-то внутренне я был уверен, что обязательно поступлю в Литинститут и обязательно в этом году. Всё указывало на то: и приподнятое моё настроение на протяжении всего времени от отправки стихов на конкурс до получения вызова; и ласточки, то и дело залетающие в открытые двери нового совхозного дома, где я тем летом клал печки. Особенно меня вдохновляли ласточки: то одна, то другая птичка влетала в помещение, весело щебетала над моей головой и вылетела в оконный проём с ещё не вставленной в него рамой. Я ещё от бабушки знал примету: если в дом залетит ласточка – это к хорошим вестям, к чему-нибудь доброму. А хорошие вести ожидались мной тогда именно из Москвы...

Я, наконец, вскрыл конверт и, не скрывая своей радости, побежал делиться ею к моему деревенскому приятелю – Шуре Рябову, школьному учителю, можно сказать, – деревенскому интеллигенту, бравшему у меня читать «толстые» журналы,

содержание которых мы с ним потом и обсуждали. Шура выписывал новый по тем временам еженедельник «Аргументы и факты», «Литературную газету», с ним было о чём поговорить.

Шура прочитал вызов на экзамены, покрутил в руках конверт с пугающим его и меня обратным адресом и выразил сомнение:

– Ну, не знаю... Слишком уж это высоко... Москва, такой институт! Знаешь, сколько желающих туда попасть?! А тебе ведь уже за тридцать... Не знаю...

* * *

Но Шурины сомнения не остудили мой пыл и не испортили мне настроение.

И вот я сижу в аудитории, в доме Герцена, и из этой аудитории ведёт дверь в заветную комнату, где за огромным овальным столом заседает приёмная комиссия. Комиссия заседает в комнате, а в аудитории сидит добрая сотня таких же, как я, абитуриентов и в ужасе ждёт своего часа.

– Собеседование – самый главный экзамен, – напутствует нас декан заочного отделения. – Не главные будете сдавать потом. Кто получит по собеседованию отметку ниже «отлично» – может ехать домой...

Там, за дверью, приёмная комиссия решает: быть тому или иному абитуриенту студентом Литинститута или же не быть.

Хотя уже там, в комиссии, всё решено и всё заранее расписано, кого принять в вуз, а кого отсеять, всё равно члены высокой комиссии заседают за овальным столом. Заседают, как бы сказал мой подсобник Володька Иванусов, – для «блезиру», потому что так надо, хотя мэтр, набирающий себе семинар уже показал руководителям всех кафедр список будущих счастливиц. «Этих, – указал он им, – оставьте, это – мои будущие ученики. А остальных, как хотите – так и отсеивайте...»

А сотня человек, в глубине души считающих себя поэтами, сидит в аудитории и не знает, что там уже ВСЁ РЕШЕНО и что их сейчас пригласят по одному к овальному столу для «блезиру», только для того, чтобы посмотреть на того или иного провинциала, возмечтавшего стать студентом такого замечательного и такого престижного вуза.

И что это за экзамен такой – собеседование? Это же сплошное издевательство над личностью! Заметьте – над творческой личностью! Какие только вопросы там и не задают! У Витьки Борисова, например, спросили: «Вы водку пьёте?» – «Пью, – ответил Витька, – но если примете меня в институт – пить не буду!»

Но это Витькино обещание не подействовало на комиссию, так как всё уже было заранее решено, ему поставили за собеседование «удовлетворительно», и он на следующий день собрал вещички и, попрощавшись с нами, поехал домой.

Парень он был вообще-то неплохой, почти неделю мы жили в одной комнате в общежитии и всем кагалом зубрили русский язык, казавшийся нам самым страшным вступительным экзаменом.

Витька, будучи школьным учителем по труду, читал нам учебник, а мы повторяли за ним правила орфографии и пунктуации, а заодно и синтаксиса. Иногда кто-либо из нас отвлекался и начинал развивать какую-нибудь другую тему: например, где всё-таки здесь, в столице нашей Родины, спиртного раздобыть? – Витька в этом случае отрывал глаза от учебника, смотрел на говоруна строгим учительским взглядом, и тот смолкал и начинал повторять вслед за Витькой правило, в каком случае частица «не» пишется вместе, а в каком – отдельно.

Со стороны это, конечно, смотрелось смешно: сидят здоровые мужики, каждому под тридцать или за тридцать перевалило, и штудируют учебник по русскому языку за седьмой класс. А что делать, если после окончания школы никто этот учебник в руки не брал, да вот сейчас нужда заставила: вслед за собеседованием шёл устный экзамен по русскому языку.

А ещё все боялись (от кого только и слышали!) профессора Малькова, который должен будет принимать экзамен по истории СССР. Мы даже видели этого Малькова, мужчину средних лет, похожего на Армена Джигарханяна, только головы на полторы выше известного артиста.

Экзамен по истории был последним, я сдавал его профессору Иванову и, получив «хорошо», вышел с хорошим же настроением на улицу и присел, достав сигарету, на скамеечку, рядом с абитуриенткой-одесситкой – девушкой с пышными формами лет двадцати пяти.

– Сколько? – спросила она у меня.

Я показал ей четыре растопыренных пальца.

– А мне Мальков «троебан» закатил, сволочь. А ведь две ночи с ним спала...

Больше я эту одесситку не видел.

Но возвратимся к собеседованию... Когда выкрикнули мою фамилию, у меня, в буквальном смысле слова, сердце в пятки ушло. На деревянных негнущихся ногах я вошёл в эту страшную комнату и встал, как партизан на допросе, перед овальным столом, за которым сидели добрых два десятка людей, лица которых я видел много раз на экране телевизора и на страницах центральных журналов и газет.

– Та-ак, откуда вы у нас, дорогой товарищ? – начал копаться в моих документах круглолицый розовощёкий мужчина – ректор Литинститута (а впоследствии – министр культуры в правительстве Гайдара) Евгений Сидоров.

– Ага, из Архангельской области! Та-ак, профессия ваша, – с улыбкой прочитал он, – «творец домашних очагов». У вас здесь так написано.

– Так, – кивнул головой я, увидев, как все члены комиссии вдруг заулыбались и с интересом посмотрели на мой дерматиновый пиджак.

– Ну и что это за профессия такая? – спросил Сидоров.

– П-печник, – ответил я. И все сидящие за столом ещё больше заулыбались.

Потом уже кто-то из слушателей ВЛК рассказывал, что был когда-то ректором в Литинституте некто Пименов, который очень не любил абитуриентов, работающих дворниками и пожарными, – он считал представителей этих профессий лодырями.

И вот перед Пименовым предстал на собеседовании очередной молодой человек.

– Кем работаете? – грозно спросил ректор.

– Дворником, – ничего не подозревая, ответил тот, – но собираюсь переходить в пожарники.

Пименов лишился дара речи и замахал на дворника обеими руками, дескать – уйди с глаз моих!

Моя же профессия показала членам высокой комиссии чем-то экзотическим.

– Ну и какие же печки вы умеете класть? – последовал вопрос.

– Всекие: плиты, голландки, русские...

Потом меня спросили, как обстоят дела на Севере с печным делом, читал ли я рассказ Твардовского «Печники» и где печатались мои стихи.

– В районной газете «Коммунист», – смущённо ответил я, соображая, что какая-то районка – не аргумент для этих высокообразованных людей и что вообще напрасно я сюда приехал.

– Сочинение напишете? – вдруг участливо спросил меня Межиров: я узнал его по фотографиям, как только вошёл в комнату. Участливые нотки прозвучали в его голосе, наверное, потому, что он подумал: а вдруг я за кладкой печек и распитием «дымовых» забыл правила русского языка, и мне не написать на экзамене сочинение. А ведь он меня уже ВЫБРАЛ!

– Напишу! – весело сказал я и заметил, как Межиров облегчённо вздохнул и в его больших, немного печальных глазах, промелькнула тень одобрения.

И меня отпустили, и, когда через полтора часа деканша стала зачитывать отметки за собеседование и вслед за моей

фамилией сказала: «Отлично!», я невольно подумал: «А за что?» Ведь там, у овального стола, я ничем не блеснул. Откуда мне было знать, что всё заранее решено?...

Сочинение я написал на твердую четвёрку, даже ещё подсказал кое-что сидевшему рядом со мной Митьке Загулину, уже имевшему одно высшее образование против моих восьми классов и экзаменов за среднюю школу, сданных мною экстерном в Каргопольской школе рабочей молодёжи перед самым вызовом на экзамены в Литинститут...

ПРОСТОР И ВОЛЯ

В «Олимпийце» всё было устроено с шиком и практично: здесь же, на первом этаже комплекса, продавались билеты на все поезда и самолёты, отправляющиеся из Москвы, отсюда же можно было позвонить в любой уголок СССР, подать телеграмму.

В восемь утра, предчувствуя, что грандиозной пьянки всё равно не избежать, я спустился вниз и отбил «молнию» в Харьков своему приятелю Косте Савельеву с просьбой срочно выслать на московский адрес Феди Михайловского двести рублей. Иногда бывает полезно предугадать и разглядеть ближайшую перспективу на жизнь, и если интуиция подсказывает тебе: «Иди и отбей телеграмму в Харьков!», – значит, нужно идти и отбивать, памятуя о том, что на «хвосте» у тебя сидят два жаждущих пива мужика, не угостить которых было бы с моей стороны обыкновенным свинством, а поэтому я смирился и как-то свылся с мыслью о том, что свадебным костюмом придётся пока всё-таки пожертвовать, а в дальнейшем в деле его приобретения без посторонней помощи мне будет не обойтись...

Днём в ходе совещания мои стихи единодушно одобрили все участники семинара без исключения, особенно по душе им пришёлся «дурдомовский» цикл. После хомяковского «мне радостно...» поднялся обычно пребывающий в других временных измерениях Вадим Степанцов и произнёс восторженно-торжественную речь в мой адрес, в такт которой согласно покачали головами все трое руководителей нашего семинара.

За мной была очередь Хомякова. Он прочёл лирические стихи о родных рязанских просторах, о соловьях и жаворонках, короче говоря – о родине. Там были строчки «неприглядная земля, а кому-то – родина», «неприглядная земля, а кому-то – лапушка» и всё в таком духе. Стихи, вообще-то, у Хомякова были неплохие. Но тут встал опоздавший на совещание на два дня молодой поэт из Киева, по фамилии Глейцер, и размазал по стенке Володьку вместе с его стихами: дескать, сколько можно писать об этой неприглядной земле, об этих малых родинах, поросших кустами и обосранных воронами. Потом ещё несколько участников семинара размазали Володькины стихи не только по стенам, но и по потолку, и Володька уже пустил было скупую мужскую слезу, как поднялся Сергей Мнацаканян и быстренько восстановил статус-кво, процитировав несколько хороших хомяковских строф, щёлкнул по носам распоясавшихся «западников» несколькими цитатами из Иннокентия Анненского, а заодно и из Бунина, и понурившийся было Володька воспрянул духом и попросил последнего слова в защиту своих стихов, а заодно и малой родины. Да тут ещё несколько поэтов, в том числе и я, поддержали его, и Хомяков вышел из схватки с Глейцером если не победителем, то уж точно – не побеждённым.

А во время перерыва на обед, около двенадцати часов пополудни, мы с ним и с Донцовым проскользнули за полосатый шлагбаум, отделявший безалкогольную зону от зоны алкогольной, и буквально захлебнулись, задохнулись от наполнившей наши прокуренные груди свободы: сельская, щедрая на майские краски подмосковная природа окружила нас, бережно подняла на зелёных ладонях и посадила на край поросшей шелковистой травой канавы, на обочину узкого асфальтового шоссе, убегающего чёрной стремительной лентой в две противоположные стороны.

В траве деловито стрекотали кузнечики, солнце в небе было уже таким жарким, что я сбросил свой дерматиновый пиджак, а Володька Хомяков закатал рукава тёплого, чуть полинявшего, но не потерявшего привлекательности шерстяного свитера.

– Ух! – погрозил он увесистым кулаком в сторону «Олимпийца» и процитировал Булгакова:

– Ух, я бы этого Швондера! Много они понимают в матери-природе!

Не успели мы выкурить, сидя на канаве, по сигарете, как с противоположной от Химок стороны подкатил почти новенький автобус ЛАЗ, и шофёр резко затормозил, завидев поднятую шулки ради хомяковскую руку с засученным по локоть рукавом. Через три минуты мы уже катили по шоссе в салоне ЛАЗа, где, кроме нас, никого не было, и Володька осторожно допытывался у благодушно настроенного шофёра, в какой части Химок можно раздобыть спиртное.

– Не, мужики, насчёт водки – бесполезно. Горбач же всех на талоны посадил, – запанибратски и громко рассуждал водитель.

– Во всяком случае, в магазинах бесполезно. А спекулянтов искать надо, они же осторожничают. Да в такую погоду самое милое дело – пивка выпить! Я вас аккурат к самому месту доставлю – всё равно мимо еду.

И доставил, взяв за проезд по минимуму – пятёрку. Выгрузились мы у небольшого павильончика, внутри которого громоздились друг на друга ящики с «Жигулёвским», и тут же, рядышком, дышал жаром мангал, и дразнящий запах шашлыка разносился чуть ли ни на километр от места действия.

Очередь за пивом оказалась всего ничего – человека четыре. А почему – стало ясно через минуту: кооператоры – новоиспечённая каста советского общества – торговала не просто бутылочным пивом, к каждым двум бутылкам «Жигулёвского» полагались в «нагрузку» сто граммов шашлыка с кетчупом и кусочком хлеба.

Серёга с Володькой уныло посмотрели мне в глаза. На лицах у них было написано: «Да, мы понимаем, что дорого. И если ты скажешь, что мы даём задний ход и едем сейчас же обратно в безалкогольную зону, – мы немедленно последуем за тобой. Но ты посмотри, какое замечательное пиво стоит в этих ящиках, понюхай, как замечательно пахнет шашлык, и вспомни, что мы живём на свете один-разъединственный раз...»

– Ладно, мужики, – сказал я, – один раз на свете живём! – и полез в потайной карман пиджака...

Мы устроились за белым пластмассовым столиком, на белых пластмассовых стульях, под белым «грибком», заслоняющим столик от солнца. И уже через полчаса повели такую интеллектуальную беседу, что кооператоры, встретившие было нас по одежке, прониклись к нам таким уважением, что с широкого своего плеча разрешили нам к последующим шести бутылкам пива прикупить только одну порцию шашлыка.

О зелёный май, шашлыки и пиво! Такого чудесного дня, наверное, больше не было в жизни ни у Донцова, ни у Хомякова, а у меня так точно – не было. Пиво, шашлыки и май! И разговоры о поэзии! И чтение стихов – своих и чужих! И хомяковское «мне радостно». В тот день и в тот час мы ещё жили в могучей стране под названием СССР и были уверены в своём будущем, а точнее: каждый из нас верил в то, что именно он внесёт в русскую литературу тот вклад, который ей так недостаёт. Тёплый ветерок колыхал белый балдахин над нашим белым столиком. Пиво пенилось в белых пластмассовых стаканчиках. Шашлыки, политые сверху острым красным кетчупом, остывали на белых пластмассовых блюдечках. Глоток сигаретного дыма после глотка пива, подкреплённые чувством полнейшей свободы и независимости ни от кого и ни от чего, от минуты к минуте всё больше и больше придавали нам уверенности в своей гениальности.

– Мужики! Ребятишки! Пора сделать «аталье»! – вернул нас с небес на землю Володька Хомяков. – Я вижу, туалетом тут и не пахнет. А пиво уже ищет дырочку!

Мы с Серёгой почувствовали то же самое, что и Володька. И всей троицей отправились искать удобное место, где бы можно было совершить это самое «аталье», а потом вернуться обратно к павильону. И тут...

Литературную критикессу Раису Овечкину в 80-е годы знали все поэты: она широко печаталась на страницах толстых журналов, в «Литературной газете», в «Литературной России», в «Литучёбе». Статьи её за свою объективность и беспристрастность высоко ценились в творческой среде, и любой из нашей троицы был бы счастлив услышать от Овечкиной пару хвалебных фраз о своём творчестве.

И где же сидела в этот солнечный майский день, когда мы решили ударить по пиву, известная критикесса? Отнюдь не в редакции «Нового мира» или «Нашего современника» – она сидела в Химках на зелёной лужайке среди окружающих её кустов, в пятидесяти метрах от нашего белого столика с белым балдахином, и пила из горлышка «Жигулёвское» пиво. И не одна сидела, а с довольно-таки известным поэтом Сергеем Удальцовым. А мы в это время шли мимо делать «аталье», и так бы и прошествовали мимо них с гордым видом, потому как не знали ни Раису, ни Удальцова в лицо. Вернее, мы с Донцовым не знали. А Хомяков знал – спутника Овечкиной. Он вдруг замер в немой позе, подняв правую ногу для следующего шага, да так и не поставив её на землю:

– Удальцов, ты?!

– Хомяк?! Какими здесь путями?! – раздалось в ответ.

Володька представил нас Удальцову. Мы почтительно пожали его поэтическую руку. В свою очередь Сергей представил нам свою собеседницу – довольно-таки симпатичную женщину почти нашего возраста:

– Раиса Овечкина.

Мы, все трое, чуть в обморок не упали тут же на лужайке. Ведь далеко не каждому молодому литератору дано встретить критикессу Раису Овечкину в такой, скажем прямо, некабинетной обстановке. Хотя, чему тут удивляться: в десятке километров от Химок, в «Олимпийце», проходило 9-е Всесоюзное совещание молодых писателей, и в курсе этого была вся литературная Москва. И, конечно же, Сергей Удальцов и его спутница. Иначе чем объяснить их появление на майской лужайке в пятидесяти метрах от пивного кооперативного павильона...

Хомяков пристроился рядом с этой парочкой на траве, а мы с Донцовым отошли на почтительное расстояние, сделали в укромном месте «аталье» и снова приблизились к лужайке.

– Санька, – позвал меня Хомяков. Встал, подошёл ко мне и шепнул доверительно на ухо:

– Санька, нужен «чирик»!

«Чирик» – это червонец, то бишь советская денежная купюра красного цвета с Лениным на «решке».

Ну, конечно же: у довольно известного поэта Сергея Удальцова и не менее известной критикессы Раисы Овечкиной не оказалось в этот момент денег, и им для полного, так сказать, счастья не хватало моего «чирика».

Что ж, ради такого дела я достал два «чирика» – гулять так гулять! – и Удальцов сбегал за пивом – ему почему-то отпускали «Жигулёвское» без шашлычной нагрузки, и мы выпили, и Раиса Овечкина выпила тоже и, вдруг вспомнив, что в столице её ждёт незаконченная критическая статья, и, пошептавшись пару минут с Удальцовым, попрощалась с нами и отбыла независимой походкой на химкинскую железнодорожную платформу, благо та была недалеко.

А мы, спустя каких-то там двадцать минут, уже не втроём, а вчетвером ехали в электричке, только в обратную от Москвы и от Химок сторону – нас уже «несло», мы забыли про «Олимпиец», про высокое совещание, про то, что завтра, в первой половине дня должны огласить его итоги...

– Сейчас водочки выпьем! – потирал руки Хомяков. – Чего всё пиво да пиво?! С пива только «аталье» делать. То ли дело – водочка!

А водочка стояла в одном из подмосковных дачных посёлков, у четы неведомых нам стариков, которым Удальцов по гроб жизни был обязан тем, что они в трудные для поэта времена приютили его у себя на даче, кормили его и поили. А теперь старики стали немощные, такие немощные, что не могут даже огород вскопать, между тем как уже весь подмосковный дачный люд обиходил свои грядки. И вот теперь мы вчетвером приедем к ним, возьмём в руки лопаты, вскопаем огород, и старики, по выражению Хомякова, «выкатят» нам водочки за работу.

Удальцов рассказывал нам в электричке про недавно умершего поэта Анатолия Передреева – он был хорошо знаком с ним, про последние его дни, про смерть, про похороны. По Удальцову получалось, что Передреев (Царство ему Небесное!) – поэт всех времен и народов, равных ему не было и не будет во всей России-матушке. Мы с Донцовым ничего против Передреева не имели, но нам почему-то было обидно за других поэтов, а заодно и за себя. Удальцов рассказывал, Хомяков смотрел ему в рот, а мы сидели и молча копили в груди обиду.

Да, Передреева лично мы не знали, но в Литинституте на дневном отделении училась его красавица дочка. Тогда ещё только-только входили в моду конкурсы красоты, и она заняла первое место в одном из таких столичных конкурсов. Её привозил к калитке Литинститута какой-то крутой «мэн» на, опять же, только-только входивших в моду, крутой иномарке. И все вокруг шептались: «Смотрите, вот идёт дочка Анатолия Передреева – первая красавица!» Она была, действительно, красива: русская по отцу, чеченка – по матери: высокая и стройная, гордо и независимо проходившая в дом Герцена мимо стоящих чуть ли не на вытяжку особей мужского пола, завистливо цокающих языками ей вслед. А потом, курсу к третьему, навсегда исчезла с Тверского бульвара, 25, наверное, её позвали за собой другие, нелитературные дела, свойственные только первым красавицам.

...Старики на даче оказались, и в правду, дряхлыми. Мы с таким жаром взялись за лопаты – только комья земли из-под ног у нас полетели. Соседи по стариковскому участку изумлённо обратились к нам сквозь дырку в заборе:

– Мальчики, вы откуда такие боевые?! Может, вы нам кузов навоза перетаскаете? Тут недалеко, метров сто...

– Не до навоза нам! – орал Володька Хомяков, яростно ковыряя землю. – А откуда мы взяли?! – Читайте журнал «Молодая гвардия» и газету «Литературная Россия»! Тогда узнаете, откуда мы взяли!

Огород мы «вспахали» часа за два и чинно-важно сели за стол, накрытый на веранде старенькой дачи. Старики, хотя и были дряхлыми, но выпили с нами по рюмочке и завели пыльные антисемитские речи, повели такую словесную атаку на тогдашнего редактора «Огонька» Виталия Коротича, что мы прямо рты пооткрывали.

– Я бы этих коротичей! – стучал сухим кулачком по столу хозяин дачи. – Сталина на них нет, Сталина! Обосрали всю Россию, обосрали! Подождите, они ещё вас оседлают, они ещё поедят на русских мужиках, они полстраны в гроб загонят!

Мы выпили по паре рюмок водки и твёрдо заявили, что никаким коротичам не отдадим на поругание российскую землю, а Володька Хомяков к месту вспомнил, как наплевал ему в душу киевский еврей Глейцер, вспомнил и пустил слезу. А потом встал, засучил ещё выше рукава поношенного свитера и заявил, что прямо сейчас, первой же электричкой едет в Москву бить Коротичу морду.

И мы заверили стариков, что тоже едем в Первопрестольную – по тому же поводу и ещё выпили, а потом ещё, и старики благословили нас на ратные подвиги, и мы пошли, размахивая кулаками, по дачному посёлку, и тот, кто видел нас со стороны, никак не мог предположить, что это идут четыре поэта, а не четыре хулигана.

По пути к платформе мы с Донцовым начали порываться читать свои стихи, но Удальцов заявил, что они по сравнению с передреевскими – говно, а Хомяков нагло ухмылялся, поддакивая своему давнему знакомцу. И тут мы с Донцовым сказали, что и сам Удальцов, а заодно и его стихи – тоже говно и что мы плевали и на него и на покойного Передреева вместе с живым Хомяковым.

– Что ты без наших «чириков»? – кричал Володьке Донцов. – Куда ты без наших «чириков»? И правильно этот, как его – Швондер – тебя по стенке размазал! Ты и нашим и вашим подмахиваешь! Штрейкбрехер!

Я тоже что-то кричал Хомякову с Удальцовым, не обращая внимания на то, что Донцов называет мои «чирики» «нашими». В конце концов, мы в пух и прах рассорились с Сергеем и Володькой и сели в одну электричку, но в разные вагоны. Так, в разных вагонах и приехали в столицу.

– Я знаю, куда они подадутся! – заявил мне Серёга. – К критикессе Раисе Овечкиной они подадутся! Я слышал, как там, в Химках, она с Удальцовым шепталась. И адрес свой называла. И приглашала его вечером к себе. А у меня память на адреса знаешь какая! Так что давай, подождём маленько, а потом завалимся вслед за ними. Только вот «пузырь» негде купить – мировую выпить.

Водку, налитую заводским способом в посудину из-под «пепси», мы всё-таки приобрели у пожилого москвича, продававшего бутылку по полуторной цене около винного магазина.

«Пузырь» в донцовском кармане вдохновил нас. Мы тут же отвергли идею примирения с Хомяковым, Удальцовым и Овечкиной, хотя последняя в конфликте и не участвовала.

– Мы просто скажем, – возбуждённо размахивал руками Серёга, – мы скажем Удальцову: пошёл ты куда подальше со своим Передреевым! А Хомяку скажем:

пошёл ты куда подальше со своим Удальцовым! А на Овечкину просто презрительно посмотрим!

Хмель надёжно сидел в моей и Серёгиной головах. Добирались мы до нужного нам дома где-то с полчаса. И надо сказать, что, открыв нам дверь квартиры, в первую очередь презрительно посмотрела на нас сама Овечкина, хотя наше появление там и произвело если не фурор, то что-то схожее с сюжетом картины великого художника Репина «Не ждали».

А Володька Хомяков (они с Удальцовым, конечно, оказались там – интуиция Серёгу не подвела), завидев оттопыренный карман донцовских брюк, как ни в чём не бывало подскочил к нам:

– Ребятишки! А мы сейчас с Серёгой через Старый Арбат проходили. Там такое делается! Стихи читают! Песни поют! Я там плясал под гармошку и кричал на весь Арбат: «Да здравствует Русь и журнал "Молодая гвардия"»!

И победно посмотрел на нас. Победно на нас и вождельно – на донцовский карман. Мы стояли в прихожей, а в комнате Овечкина отчитывала Удальцова:

– Врёшь-врешь! Ты и дал им адрес! Иначе как бы они нашли в Москве мою квартиру?!

Тот бормотал что-то невнятное в свое оправдание.

– Пойдём отсюда! – дёрнул я за рукав Донцова. – Видишь – не рады нам.

Серёга тряхнул жёлтой чёлкой:

– А мы что – рады им? Это мы им не рады, а не они нам! Чао-какао, Хомячок! Лижи жопу своему Удальцову!

Мы так же внезапно покинули квартиру известной литературной критикессы, как и появились там. Московский майский день кончался. Наступали сумерки. Было тепло-тепло, всё вокруг росло и благоухало: и зелёная травка, и первые жёлтые одуванчики, и листва на деревьях в небольшом городском парке, куда зашли мы с Серёгой взбодриться парой глотков водки – хмель потихоньку начинал испаряться из наших голов, требовался допинг, чтобы «обратно» почувствовать себя в своей тарелке.

В парке, в детской избушке на курьих ножках кто-то из местных выпивох оставил родимый гранёный и пару карамелек в жёлтых обёртках.

– Хоть не из горла пить! – обрадовался Серёга. – Не люблю водку – из горлышка.

Выпив по полстакана и зажевав их дармовыми карамельками, мы сели на порожке избушки на курьих ножках и стали строить планы на спускающуюся на Москву ночь. Хмель постепенно возвращался, всё опять стало казаться лёгким и доступным, можно было снова идти чистить Коротичу морду. Только вот где найти его в этом огромном городе?

– В «Олимпиец» не поедem – поздно уже, – размышляли мы вслух, между тем как стоящие поодаль деревья стали растворяться в наступающей на парк темноте. – А на улице оставаться – перспектива не из приятных. Ещё в милицию заметут – это запросто!

– У тебя есть тут знакомые, у которых можно бы заночевать? – спросил Серёга.

«Нет, Феде звонить не буду, – решал я про себя, – он знает, что я нахожусь в «Олимпийце», огорчать его своим появлением не хочется... Позвоню-ка я художнику Валере...»

Мы быстро покинули парк, нашли телефон-автомат, и я изложил Валере «диспозицию».

– Прости, старик, – отозвался он, – сегодня никак не получится. У меня – дама...

Слово «дама» Валера произнёс так многозначительно, что всякие виды на ночлег у него отпали сами по себе.

Свет уличных фонарей отразился на полах моего дерматинового пиджака.

– Ладно! – решительно произнёс Донцов. – Пошли!

Мы нырнули в ближайшее метро, проехали пару остановок, поднялись на землю, прошли квартала полтора, взлетели в лифте на четвёртый этаж какого-то, неразличимого в темноте здания, и Серёга нажал на звонок одной из четырёх, располагавшихся на площадке, квартиры.

Дверь гостеприимно отворилась, в прихожей нас встретил сухощавый, похожий на актера Валентина Никулина, человек лет сорока.

– А, Донцов, – дружелюбно сказал он, – ну проходи, проходи.

– Знакомься, – кивнул Серёга мне, – Александр Самарцев, журнал «Юность».

Потом он представил меня Самарцеву. Журнал «Юность» был близок мне и в то же время далёк. Далёк потому, что на его страницах печатались, в основном, западники, нашего брата-почвенника «Юность» не жаловала. Её миллионные в то время тиражи не радовали, а раздражали нас.

Нет, кого-то они, конечно, радовали. Например, Алёшу Зайцева – его напечатал в «Юности» поэт Кирилл Ковальджи, заменивший на время руководителя нашего семинара Александра Межирова. Потому и близок был мне журнал, что в нём работал Ковальджи и руководил временно нашим семинаром. А далёк... я уже объяснил, почему далёк.

Кстати сказать, Кирилл Ковальджи, будучи весьма средненьким поэтом, руководил нами весьма посредственно. Когда в аудиторию входил Межиров – мы все вытягивались в струнку, а во время занятия даже дышать старались тише, чтобы расслышать каждое сказанное мэтром слово.

А Кирилл... Никто перед ним не благоговел, все вспоминали Александра Петровича, который... В дальнейшем я расскажу, по какой причине Межирова отлучили от Литинститута на целых два года.

Ковальджи же на каждом занятии рассказывал нам одну и ту же байку:

– Сергея Есенина как-то спросили: «Почему вы так пишете? Вот у вас есть строчки «как кладбище, усеян сад в берёз изглоданные кости». Ведь правильно будет сказать «усеян костями». Вы коверкаете русский язык!» На что Есенин гордо отвечал: «Русский язык – это я!»

Не знаю, хотел ли Ковальджи уязвить Есенина этим рассказом? Наверное, всё-таки хотел, иначе зачем бы ему повторять одну и ту же байку на каждом занятии.

А наши семинаристы Сашка Снегирёв и Андрей Алексеев, смотревшие больше всех в рот Межирову, всё-таки прогнулись перед Ковальджи, написав торжественную оду в честь дня рождения последнего. Ода начиналась словами «Заковальджили, закружили...» их там какие-то года. Потом, когда вернулся к нам Межиров, Сашке с Андреем, наверное, было стыдно за свою оду.

...Но вернёмся к Александру Самарцеву. Он провёл нас с Донцовым в небольшую кухню, где сидели два мужичка, похожие друг на друга, как братья-близнецы, и намазывали на чёрный хлеб сливочное масло, покрывая его сверху баклажанной икрой из открытой консервной банки. На столе стояла початая бутылка водки, перед близнецами красовались две пустых рюмки. Третья рюмка – Самарцева – была полна, видимо, в то время, когда он пошёл открывать нам, близнецы выпили.

Нас с Серёгой усадили за стол, близнецы поставили перед нами по рюмке, наполнили их, сделали по бутерброду со сливочным маслом и баклажанной икрой и положили их на тарелочки перед Серёгой и передо мной.

Это были весьма симпатичные люди еврейской национальности. К ней же, конечно, как Кирилл Ковальджи, относился и Самарцев. Иначе как бы он попал работать в «Юность».

Мы выпили за знакомство, а потом ещё выпили, близнецы намазали нам с Донцовым ещё по одному бутерброду. Речь пошла, конечно же, о поэзии, Серёга начал читать стихи, отчётливо произнося каждое слово и широко раскидывая руки по кухонному пространству. Стихи у него были классные, и читал их он тоже классно. Особенно мне нравилось у него стихотворение под названием «Куликово поле. Засадный полк»:

За последней дорогой поганые лица светлы.
Как набеглой свободы пожар исполинский светлеет!
Я забуду молитвы, глазами окинув углы
Всей – нерусской – земли. О, земля никого не жалеет!
Меч спокоен и чист. Ни единого пятнышка нет.
Он тяжёл или лёгок, я скоро узнаю по звуку.
Я тревожно смотрю на великий нерусский рассвет,
Поднимая к звезде золотую и смуглую руку, –

читал Донцов, и я представлял себя ратником, сидящим на коне в засаде, в запасном полку у реки Непрядвы. Вот сейчас рассветёт, начнётся великая битва, и я в самый кульминационный её момент вместе с запасным полком вылечу из засады, и покатыся на землю под ударами моего острого меча вражьи головы...

Вьётся синий туман, укрывая мой сумрачный полк.
Вьются тени друзей, как дыханье последнего часа.
Ходят волки окрест. Но я тоже в сказаниях – волк,
Я в легендах – дракон, а в пиру – поминальная чаша.
Веет с юга, собратья! Простор помолился за нас!
Ни Бориса, ни Глеба не ждите с высокого неба.
Меч мой светлый рассёк перевитый забвением час
Ради чёрного стяга и чёрного Божьего хлеба.
Звери чуют добычу. Я чую добычу, как зверь.
Я – из всадников степи, я лёгок, силён и тревожен...

Серёга внезапно умолк, увидев, что водка в бутылке кончилась. Наша бутылка тоже стояла пустой – мы выставили её на стол сразу же по прибытии на кухню. Чёрный хлеб на столе был, масло было, баклажанная икра стояла в банке. А вот водка... И то сказать – четыре мужика!

Близнецы выразительно посмотрели на нас с Серёгой и стали намазывать по очередному бутерброду. Самарцев полез в карман как гостеприимный хозяин, и я полез в карман – как добропорядочный гость.

И мы с Самарцевым отправились в таксопарк, оставив на кухне Донцова с братьями-близнецами. Нет, не в наш литинститутский таксопарк, а в другой – ближний – близ станции метро «Таганская». Метро уже закрылось, мы доехали до таксопарка на такси. Можно было бы и не ездить в таксопарк, потому что две бутылки водки мы купили у того самого таксиста, который и привёз нас на Таганку.

А вот обратно... Безуспешно оглядываясь назад, на пустынные улицы и переулки, мы зашагали по тротуару, одни-одинёшеньки во всей матушке-Москве. Несколько частных машин никак не отреагировали на поднятые нами руки. Но когда Самарцев сказал: «Нам топать ещё километра три», – позади показался огромный автобус «Икарус». Мы подняли руки, автобус остановился, и дверь перед нами открылась. Представляете себе: в два часа ночи! В салоне находилась одна старенькая женщина-кондуктор. Автобус довёз нас почти до самого подъезда, не взяв ни копейки – им было по пути!

...Мы пили водку и читали стихи до тех пор, пока яркое майское солнышко не осветило купол пожарной каланчи, красовавшейся в панораме кухонного окна.

ОБЩАГА

...В свое время литинститутское руководство, не зная, куда потратить деньги, закупило где-то на стороне экзотическое растение под названием туя. Внешне туя ничем не отличалась от нашего прозаического можжевельника, только кусты были раза в два выше. Туя стояла неровным строем вдоль лицевой, парадной стороны «п»-образного здания общежития да образовывала своеобразное кольцо вокруг курилки, сооруженной в пятнадцати метрах от главного входа в здание.

Митька Загулин, узнав, что за экзотика растёт под окнами нашей комнаты, плюнул на тую сверху, обозвав её созвучным нецензурным словом, и справедливо возмущился:

– Лучше бы, бля, тумбочки путные купили в каждую комнату. Или стулья. А тут – туя! Х-я! Да на хрена она сдалась!

Получалось так, что знакомство с нашей общагой начиналось с туи, хотя вряд ли кто из входящих обращал на неё внимание. Куда краше туи были рябины, достающие своими вершинами до окон третьего этажа.

Случайные прохожие, бросающие взгляд на «титულную» доску, привинченную к стене чуть правее парадных дверей, невольно замедляли шаг, вчитываясь в её содержание. Ещё бы! На доске красовались хотя и потускневшие от времени, но всё ещё золотые буквы «ОБЩЕЖИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР имени А.М. ГОРЬКОГО».

Прохожий не то, что притормаживал, он с благоговением останавливался и оглаживал здание взглядом, наверняка мысленно представляя, как сидят на всех этажах этого дома серьезные люди в очках и при галстуках, ведут умные разговоры, читают и пишут.

Ах, пустить бы этого прохожего на этажи! Пройдя по общаге снизу доверху и обратно, он наверняка утратил бы вкус не только к литературе, а вообще к печатному слову, как к таковому.

О литинститутская общага! Одному Богу ведомо, почему не прославили тебя на всю страну многочисленные поэты и прозаики, по шесть и более лет прожившие под этой крышей, знающие каждую царапину в лифте и на лестничной площадке, нюхом чувствующие, в какой из нескольких сот комнат можно выпить вечером на халяву или похмелиться в три или, допустим, в пять часов утра? Почему они не описали твой быт, твои стены, давшие приют и тепло стольким талантам и посредственностям? Почему?

Да, житие в литинститутской общаге достойно пера самого Венички Ерофеева, Царствие ему Небесное, пусть он и не бывал в доме на улице Добролюбова, 9/11. А, может, и бывал, кто его знает? – ведь каких только бродяг из пишущей братии не заносило в эту восьмизтажку!

Да, кто бы мог ещё описать душевные страдания поэта-самородка из Нижнего Тагила Юрия Виноградова, приехавшего на весеннюю майскую сессию в зимней шубе из искусственного меха и у которого на второй день по приезду в столицу кто-то самым нахальным образом умыкнул зимние ботинки?! Страдания эти, конечно же, вылились в десятидневный запой, в течение которого Юра ни разу не показал носа на Тверской бульвар, 25. Нет, он, конечно же, выходил, спускался с третьего этажа общаги на первый в одних носках, в одних носках перебежал улицу имени великого грузинского поэта Шота

Руставели, нырял в проходной двор и через квартал выныривал у проходной таксопарка, опять же – в одних носках. Какой радостью блестели глаза Виноградова, когда он летел, не чувствуя под собой ног, по московским лужам, бережно держа за пазухой посудину с веселящим зельем!

...На десятый день виноградовского запоя в общагу приехала с инспекцией декан заочного отделения Галина Александровна Низова. Что она увидела, распахнув незамкнутую изнутри дверь конуры нижнетагильского поэта-самородка, или, как высказался Митька Загулин, – «мудилы из Нижнего Тагила»? Конечно же, уже на шестой день десятидневного запоя самородок остался в комнате один, никто из заочников не захотел жить с ним бок о бок, ибо весь курс уже вышел из загула, само собой возникающего при встрече съехавшихся со всех уголков огромной страны великовозрастных «однокашников». Пора уже было подумать и об учёбе, а какая учёба пойдёт на ум после безумной ночи рядом с Юрием, ибо тот и сам не спал и соседу спать не давал, донимая его чтением своих гениальных виршей.

Какая же картина предстала глазам нашей интеллигентной деканши? Уральский самородок сидел за столом в шубе из искусственного меха, наброшенной на голое тело, под шубой у Юрия были надеты только чёрные семейные трусы пятьдесят последнего размера. Пол в комнате натурально в три четверти площади Юра заблевал дешевенькими кальмарами, служившими ему закуской.

Виноградов даже не увидел появившуюся в дверях Галину Александровну – он тщетно пытался поймать за горлышко стоящую на краю стола, наполовину опорожнённую бутылку водки. Юра тщательно целил рукой в горлышко, заносил руку над столом, выбрасывал её вперёд, но – тщетно: бутылка, как живая, ускользала от его пятерни.

Низова, не говоря ни слова, закрыла за собой дверь... На следующий день деканатом был издан приказ об отчислении провинившегося уральца из «альма-матер». Руководитель нашего семинара, Александр Петрович Межиров, узнав о данном событии, позвонил в деканат и спросил – за что? Ему ответили так, как не ответили бы ни в одном вузе страны: «За то, что бутылку за горлышко не мог поймать! Поймал бы – не отчислили...» Межиров, оценив ответ по достоинству, повздыхал в трубку и, пробормотав: «Человек не властен над собою...», повесил её.

Если честно – Виноградов не был хорошим поэтом, иначе наш мэтр дал бы деканату бой. Мы сами удивлялись – каким образом Юра мог пройти по конкурсу, а затем и поступить в наш вуз? Познакомившись с ним в общежитии ещё до вступительных экзаменов, я попросил у Юры почитать его стихи. Он дал мне толстую общую тетрадь с записанными в неё от руки виршами. Митька Загулин загибался на кровати от смеха, когда я читал вслух виноградовские строчки типа «...девушка стога вдали метала лёгким взмахом загорелых рук...»

– Да это же чистой воды графоман! – возмутились мы все, найдя в общей тетради, наполовину заполненной стихами, всего лишь два-три стихотворения, достойных внимания.

Юра, видимо, и сам понимал, что стихи его неполноценны. Да тут ещё странная история со смертью его отца... Во время вступительных экзаменов он получил телеграмму: умер отец, но на похороны не поехал, говоря, что родителя похоронит родня, а для него важнее Литинститут, ведь такое раз в жизни выпадает! А потом, года через два (Юру отчислили с пятого курса) выяснилось, что отец жив и телеграмма была липовая.

Юра завидовал талантливым ребятам, умело натравливал нас друг на друга, говоря одному гадости про другого и наоборот. Один раз он привёз подшивку нижнетагильской газеты, точнее – вырезки из неё с публиковавшейся в газете из номера в номер повестью под названием «Половинка». Повесть была о гражданской войне на Урале и написана неплохим языком, но первой странички с указанием авторства – не было. И на всех вырезках по верху «бежала» строчка: «Половинка», повесть», но имя-фамилия автора отсутствовала. Юра ходил из комнаты в комнату, показывал всем эти вырезки и говорил, что повесть написал он, что было весьма и весьма сомнительно.

И всё-таки Межиров что-то рассмотрел в Виноградове, решив взять его в наш семинар, может быть, по двум-трём строчкам в общей тетради он определил, что из Юры может получиться поэт. И не ошибся Межиров: в конце 90-х годов, купив в газетном киоске любопытства ради журнал «Наш современник» и раскрыв его наугад, я наткнулся на сияющий, как медный пятак, лик Юрия Виноградова, предваряющий двухстраничную подборку его стихов. Я прочёл обличающие строчки:

А черти пируют в Останкинской башне
И в честь Люцифера играется туш...

заглянул в аннотацию: «... в таком-то году поэт из Нижнего Тагила окончил Литературный институт...» и искренне порадовался за однокашника: значит, восстановили Юру уже после нашего выпуска, значит, начал он писать хорошие стихи! А почему и не порадоваться – человек, можно сказать, обрёл второе дыхание, реабилитировал себя в глазах людей, знавших его и его творчество. А насчёт виноградовских пьянок... Кто из нас, поэтов, не впадал в состояние, подобное Юриному? Я тоже этим ещё как грешен, а кто не грешен – тех можно пересчитать по пальцам...

В детстве и ранней юности, будучи ещё чистым в помыслах своих и поступках, я представлял себе поэтов такими слабыми бестелесными существами. Мне их было очень, очень жаль, и совсем не потому, что Пушкина и Лермонтова убили на дуэли, а совсем по другим причинам. Я жалел поэтов за их ангельскую незащитность, я даже немножко презирал их, за то, что они всё время сидят и пишут стихи, а не совершают подвиги на войне, не летят в космос, наконец, не матюгаются, не курят и не пьют водку, как наш сосед Митрий Выколзов.

О, как жестоко я ошибался! Как верен чей-то афоризм: поэта надо любить издалека, ибо вблизи иногда он кажется настолько заурядным...

У одного нашего студента-литинститутовца Сергея Бойцова было стихотворение, написанное от первого лица, где мать провожает сына в дорогу. Он идёт размашистым шагом (может быть, в Литинститут на сессию уезжает), мать еле поспевает за ним – наверняка к поезду опаздывают – и даёт, задыхаясь, последние наказания:

– Да в дороге с плохими людьми не вяжись.

– Если б знала ты, мама, плохой – это я, –

мысленно отвечает ей лирический герой стихотворения. И в этом ответе-признании заключается горькая правда: поэт зачастую оказывается в некоторых жизненных ситуациях хуже окружающих его людей.

Вот сейчас поэт сядет в вагон, старушка-мама помашет ему с перрона, а он, чуть только тронется поезд, пойдёт и купит у проводника на сэкономленные мамой деньги (от пенсии откладывала или морковку, выращенную собственными руками, на рынке продала) бутылку водки, и напьётся, как свинья, и будет приставать к женщинам в вагоне, будет читать им стихи, а потом залезет на вторую полку, уснёт там мертвецким сном и посреди ночи свалится на пол, ничуть не ушибясь при этом, ибо, как сказано, влюблённым и пьяным везёт.

А утром, подъезжая к столице-матушке, он будет сидеть на кромочке нижнего сиденья с виноватым видом, не поднимая глаз от пола, ходить в прокуренный тамбур и стоять там, глядя в окно и глотая горький дым какой-либо дешёвой «Астры» или «Примы» и мучаясь с похмелья дикой головной болью и совестью: что я вчера вытворял тут, в вагоне? А впереди ещё – встреча с друзьями в общаге Литинститута, поход в таксопарк, а потом...

О, эта поэтическая братия! Навидался я собратьев по перу и талантливых и бесталанных, пьяных, как говорят, «в сиську» и похмельных. В общаге нашей этого «добра» – хоть отбавляй. Навидался и намучился вопросом: почему, по выражению Александра Блока, у поэта – «всемирный запой, и мало ему конституций», почему подавляющее большинство пишущей стихотворной братии «выпить не любит»?

Правда, далеко за ответом ходить не надо. И за примером тоже. Пример – вот он, я сам. Честно признаюсь: в годы отрочества Муза стала приходить ко мне с похмелья, и было мне тогда года 22–23. Нет, я писал стихи и до этого, но они были, в основном, подражательские, и, оглядываясь назад, я их не считаю за стихи. Да и забыты и выброшены они давно.

А тут... После армии работали мы с моим дружкой Серёгой Выколзовым по печному делу: я печки клал, он глину месил да кирпич мне подносил. И поддавали мы с ним чуть ли не каждый день. И не потому, что хотелось, а так – от нечего делать. Печник – профессия редкая и ценная и, доложу вам, – пьяная. Я освоил азы её ещё до армии, а после неё стал единственным «творцом домашних очагов» на несколько деревень. Где бы мы с Серёгой ни работали – обязательно кто-нибудь из местных

пригласит к себе на «халтурку», там – дымоходы прочистить, там – штукатурку поправить, плиту чугунную на кухонной печке заменить, устье вмазать. Короче говоря, халтуры – хоть отбавляй. И каждая хозяйка в знак благодарности за сделанную работу нам с Серёгой «выкатывала» на стол бутылку «светленькой», а то и две. Так уж принято в деревне – мастеров спиртным благодарить. Не выпьешь – обидишь хозяев. И мы поднимали стаканы...

Однажды, после подобных месячных возлияний без отрыва от производства, я решил завязать с этим делом и на второй или на третий день, а точнее – ночь трезвой жизни, лежа с открытыми глазами на раскладушке в нашей маленькой кладовке (дело было летом), услышал голос, декламирующий какие-то стихи. Голос этот как бы слетал с потолка над моей головой и звучал у меня в ушах.

Я встал, пошёл в дом, взял там бумагу и карандаш и при свете белой ночи записал первое СВОЁ, пусть и не совершенное, но уже не подражательское стихотворение:

Душисто пахнет сенокос
Над сонною рекой.
Пожаром солнышко зажглось,
И дымкой веет зной.

Спустись к сверкающей воде
И жажду утоли.
Встречал ли ты вкуснее где
Прохладный дар земли?

Ложись в берёзовую тень,
Смакуй табачный дым.
Смотри, как торжествует день
И светит голубым.

Ты видишь: под соседний стог
Прилёт июль вздремнуть.
Он тоже, видно, изнемог
И хочет отдохнуть.

Прищурься и в какой-то миг
Увидишь: в синеве
Шагает лето напрямик
По скошенной траве.

Честно говорю: я не хотел писать это стихотворение, да я и не писал его – мне просто продиктовал данные строчки голос с потолка. Потрясённый, в ту ночь я больше так и не спал... А через некоторое время мне захотелось повторить это волшебное, это непередаваемое ощущение вдохновения, и мы с Серёгой Выколзовым распечатали очередную бутылку... А там пошло-поехало само по себе: похмелье – стихи, похмелье – стихи...

А потом мне попало в руки стихотворение Роберта Рождественского «О таланте, о Боге и чёрте». Наизусть я его сейчас не помню, но суть стихотворения такова: жил в утлой коморке талантливый поэт, писал стихи, которые нигде не печатали. А чёрт нащёпывал ему на ухо: дескать, ты – бездарь, кому нужно то, что ты пишешь? – да никому! Иди лучше в кабак – выпей, расслабься...

И шёл поэт в кабак. И расслаблялся.
Он пил всерьёз. Он вдохновенно пил.
Так пил, что чёрт глядел и улыбался:
Талант себя талантливо губил.

Потом он просыпался среди ночи с похмелья в своей камере, и «банка огуречного рассола была ему нужнее, чем нектар». А «...Бог вставал раскаяньем под утро, загадочными строчками дразнил...» Поэт поднимался, брал перо и записывал эти строчки. И в конце стихотворения:

...крестился чёрт и чертыхался Бог:
«Да как же мог он написать такое?!»
А он ещё и не такое мог!

«Ага! Значит, эти строчки диктует мне Сам Бог!» – догадался я, как-то не думая о том, что где-то рядом сидит и чёрт, выжидая, когда придёт его время.

Думаю, что подобное – стихи, пишущиеся как бы сами собой с похмелья, – испытали многие мои собратья по перу. Именно потому поэты и пьют больше прозаиков. Только вот хорошие стихи на похмельную (ни в коем случае ни на пьяную!) голову – до поры до времени. Однажды поэт просыпается с «большого бодуна», берёт в руки перо и бумагу, ждёт, когда пойдут стихи, а их нет. Всё! – чёрт дождался своего часа, теперь поэт уже в его власти, а не во власти Бога. И он должен чётко осознать и понять для себя: стихов с похмелья больше не будет, теперь он сам должен работать над ними, благо почин есть. И здесь нужно завязывать с возлияниями – они больше не помощники в творчестве. Те из поэтов, которые не осознавали этого и продолжали «квасить», просто-напросто бесславно спивались, и примеров тому – великое множество. И самый ярчайший из них – Николай Рубцов. Остановись он вовремя, оставь эти портвейны-«бормотухи», так жил бы и здравствовал по сей день. И стихи бы писал, может быть, несколько иного плана стихи, но можно с уверенностью предположить, что они были бы ничуть не хуже тех, которые мы знаем...

А общага, наша студенческая общага! Сколько водки в ней выпито – никто не может ни сосчитать, ни соизмерить...

Я уже писал о том, как осенью 1991 года мы с Федей Михайловским сорвались из Москвы в деревню под Коношей – на кладку русской печки. На вокзал я поехал, выпив «посошок» на дорожку в комнате Володьки Бездуганова – поэта из Сибири. Володька сидел за столом, обнявшись со своей «полевой», то есть сессионной подругой Людкой Бурякиной. Они в два голоса старательно выводили песню «По муромской дорожке стояли три сосны...». Поперёк кровати лежал спящий пьяным сном поэт и прозаик Николай Шипилов. Шипилов не учился в Литинституте, он закончил Высшие литературные курсы при нём и остался жить в восьмизатжке на улице Добролюбова, зарабатывая на кусок хлеба должностью заведующего отделом поэзии журнала «Литературная учёба», выходившего в ту пору чуть ли не миллионным тиражом. У Николая, члена Союза писателей СССР, был свободный «график» посещения редакции. То есть – совсем свободный, ибо песню «По муромской дорожке» мы пели в обнимку с ним во время той сессии раза четыре-пять в течение одних суток.

Так вот, вернувшись через неделю из коношской деревни в общагу и по привычке заглянув в беспаловский «номер», я увидел картину семидневной давности: Володька с Людкой, оба хорошо поддатые, сидели в обнимочку за столом и жалобно выводили в унисон: «Он на коня сажился, уехал милый в да-а-а-ль...» А лежа поперёк кровати, также спал пьяным сном Николай Шипилов.

Володька, тряхнув кудрявой головой, увидел меня и спросил удивлённо:

– Росков, ты куда так долго ходил? Мы без тебя уже третью бутылку приканчиваем, – и пододвинул мне тот самый стакан, из которого неделю назад я пил «посошок». Тут и Шипилов поднял голову и тоже спросил, куда я так долго ходил?

Шипилова в общежитии уважали. Познакомились мы с ним запросто: ещё будучи абитуриентами, сидели мы в своей комнате и зубрили русский язык. И тут без стука к нам вошёл мужичок среднего роста, средних лет и без особых примет.

– Парни! – обратился он к нам с порога. – Парни, кто даст червонец взаймы? Вот, часы в залог отдаю, – и показал часы на запястье, завернув рукав поношенного свитера.

Димка Загулин без слов полез в карман, достал червонец и подал незнакомцу:

– Часов не надо.

Когда дверь за мужичком закрылась, Димка открыл тайну своего пожертвования:

– Это же Шипилов! Вы что, не знаете?!

Мы с Колей и Витькой Борисовым ещё не знали Шипилова в лицо. А вся общага знала и гордилась, что такой человек живёт на соседнем этаже. Его прозаическая книга «Шарабан» была выставлена в витрине павильона «Печать» на ВДНХ, в общагу к нему приезжали телевизионщики с первого канала, он пел на всю страну в «ящике»:

Иван, Сергей да Николай – все рядовые...
Им по сто граммов выдаются фронтовые...

А вся общага пела шипиловскую песню – своеобразный гимн литинститутовцев под названием «После бала»:

Никого не пощадила эта осень,
Даже солнце не в ту сторону упало.
Вот и листья разлетаются, как гости,
После бала, после бала, после бала...

Эта песня, через без малого двадцать лет после написания, стала хитом 1988 года. Пел её, и очень даже неплохо, Дима Маликов. И я видел в «ящике» самого Шипилова на заключительном концерте «Песня-98», видел, как вручали ему премию за хит, и облегчённо вздохнул тогда: слухи о Николае доходили самые нехорошие. Значит, не погубили его эти самые «фронтовые сто грамм», значит, жив курилка. В 1999 году его избрали в Секретариат правления Союза писателей России (об этом я читал в какой-то газете), последняя же моя «встреча» с Николаем была заочной: я прочёл в первом номере журнала «Москва» за 2000-й год его рассказ «Золотая цепь».

Нет, я вовсе не был дружен с Шипиловым, просто мы с ним не раз оказывались в одной компании и, как русские люди, дуэтом пели русские народные песни. А уже одного этого достаточно, чтобы переживать за него, как за близкого по духу человека. Дай ему, как говорится, Бог!...

ПРОСТОР И ВОЛЯ

(продолжение)

От Самарцева мы с Донцовым вышли разбитые и опустошённые. Кроме атмосферного столба весом в 214 килограммов, давящего на каждого из живущих на Земле человекoв, к нашим ногам было привязано ещё по двухпудовой гире, – в моей голове, по крайней мере, возникала именно такая ассоциация. Голова была пустой и лёгкой, как воздушный шарик, а тело, наоборот, налито свинцовой тяжестью. Во рту горчило от выкуренных за ночь сигарет. Хотелось плевать. После бессонной ночи, после выпитой водки, после километров прочитанных стихов думать ни о чём не хотелось. Не хотелось также ехать и в Химки, в «Олимпиаец» – что делать с утра в таком состоянии в безалкогольной зоне?

А по московским проспектам, улицам, переулкам, проездам и тупикам шагало, летело, светилось, заглядывало в тёмные сумеречные дворы весёлое майское утро. Поливальные машины брызгали воду на серый асфальт, и он сразу же становился чёрным. Дворники уже заканчивали приборку: пустые пачки из-под «Явы» и «Примы» торчали вместе с газетными обрывками и стаканчиками из-под мороженого из урн и мусорных контейнеров. По тротуарам двигались цепочки спешащих на работу людей. Народ нырял в ближайшее метро.

Мы с Серёгой, как два старика, еле-еле передвигая ноги, перешли на зелёный свет улицу, хотя могли бы пройти и под ней – подземным переходом, и тоже спустились в метро. Перед эскалатором Серёгу прищемило турникетом, хотя он и бросил, как положено, пять копеек в узкую его щёлочку. Пожилая контролёрша высвободила Серёгу, обозвав его дылдой. Сзади напирала толпа.

По другой стороне эскалатора, навстречу нам, поднимался народ – деловой, серьёзный, озабоченный предстоящим днём. Мужчины сосредоточенно глядели вверх. Молодые женщины, час-полтора назад высвободившиеся из мужских объятий, смотрели в никуда, нескромно улыбаясь воспоминаниям о прошедшей ночи. Подземная прохлада надвигалась на спускающийся эскалатор.

А в вагоне электропоезда было тепло. Мы с Донцовым сели в конце вагона, я положил голову ему на плечо, он свою – на мою голову, и мы задремали. Мне приснилось деревенское утро, стадо коров, лениво текущее на поскотину, и зелёный лужок возле нашего дома. Я лежал на этом лужке, и моё ухо щекотала мягкая травка. На самом же деле это была жёлтая донцовская чёлка.

– Следующая станция – Савёловская, выход в город и к Савёловскому вокзалу, – вытащил меня из дремоты женский голос из репродуктора.

Ага! – поезд ехал в сторону литинститутской общаги. От вокзала до неё – минут двадцать быстрым шагом.

...Мы блеванули поочерёдно за приткнувшимися к зданию вокзала кооперативными ларьками и пошли пешочком вдоль улицы по направлению к Останкино. Здесь было не таклюдно и суетно – улица поднималась вверх, вдоль неё на протяжении пары троллейбусных остановок не стояли дома, а, наоборот, тянулся зелёный пустырь, и тропинка вела вдоль неё, а не тротуар. Народ предпочитал проезжать этот промежуток на городском транспорте, а не шлындать пешком, тратя зря драгоценное московское время. Мы же никуда не спешили, мы двигались медленным шагом, не сговариваясь и не сверяя маршрут, двигались ради того, чтобы двигаться. Около улицы Яблочкова сели под небольшую зацветающую яблоньку и закурили, уже не ощущая вкуса табачного дыма, настолько он въелся за ночь в наши лёгкие.

– Чего делать будем, Серый? – вялым, как берёзовый лист осенью, голосом спросил я.

– Чего делать, чего делать? – так же вяло отозвался он. – Видишь, ноги сами несут нас в сторону общаги. А чего мы там оставили? Ничего! Пойдём в таксопарк. Хоть чекушку купим. Допинг нужен, правда? Иначе хоть ложись вот под яблоней и

засыпай. А заснём – всё Царство Небесное проспим. Согласен?

– Пошли! – согласился я. – Куда мы, действительно, такие? Хомяк, небось, в «Олимпиец» подался. Небось, выпался. Не как мы, два идиота...

До таксопарка мы добрались пешком, благо от нашей яблони и от улицы Яблочкова до него – два с половиной квартала. «Волги» с шашечками на боках и на крыше так и пёрли, толкая друг друга, в ворота таксопарка: водители, уставшие за ночь, возвращались после смены. Со стороны посмотришь – будто стадо каких-то четырехколёсных животных с поскотины возвращается. Нам ничего не стоило тормознуть «Волгу» и купить у невыспавшегося, как и мы, водителя, чекушку – эти двухсотпятидесятиграммовые бутылочки продавали москвичам в магазинах наряду с посудинами из-под «пепси».

Потом мы поволоклись в общагу – надо же как-то культурно похмелиться, если из горлышка водку глотать – того и другого стошнит, как Веничку Ерофеева в тамбуре поезда Москва – Петушки на перегоне Серп и Молот.

В общагу нас пропустили – я показал студенческий билет, сказал, что мне нужно навестить поэта Лужикова из Коми Республики, а Донцов – со мной. Странно как-то было посещать свою общагу в качестве гостя. Одно дело, когда живёшь тут и считаешь одну из общаговских комнат своим, пусть и временным, но домом...

Пройдясь по третьему «заочному» этажу, мы убедились, что здесь сейчас проживает и сдаёт выпускные экзамены незнакомый мне шестой курс. А поэт Сашка Лужиков из Сыктывкара был мне, действительно, знаком. Хоть он и учился на дневном отделении – на нашем заочном курсе постигал азы гуманитарных наук его приятель и земляк Михаил Елькин.

Мы поднялись на четвёртый этаж – к дневникам.

– Так многие ещё вчера вечером в «Олимпиец» укатили. Студентам можно присутствовать на совещании в качестве гостей. И Лужиков тоже уехал, – сообщил нам сосед Сашки по комнате поэт Сергей Филатов (везло же мне на встречу с Сергеями!) из Барнаула. Когда мы познакомились, тут же, на пороге комнаты, он так и представился:

– Поэт Сергей Филатов из Барнаула.

– Почти земляки! – пожал ему руку Донцов. – А чай у тебя найдётся? Понимаешь, похмелиться надо, а водяра уже обратно прёт. Душа не принимает. В чаю пуншик выпить – то ли дело!

Поэт из Барнаула быстренько подогрел ещё тёплый чайник, мы с моим спутником размешали в кружках сахарный песок в чаю и добавили туда граммов по сто водки. Филатову тоже налили в кружку с отбитой в нескольких местах эмалью.

Пунш мягко ударил в голову, хмель почти сразу обволок нас, уставших и не выпавшихся.

– Эх, теперь бы давануть минут шестьсот! – блаженно потянулся Донцов.

Солнце весело заглядывало в открытое окно общежитской комнаты, внизу то и дело звенели в звонки троллейбусы, поворачивавшие с улицы Добролюбова на проспект Шота Руставели. Троллейбусы начинали ходить с шести утра, по этому маршруту курсировали номера 29 и 3 – «тройка», прозванная студенческим людом «троебаном», катила от общаги чуть ли не до самого Литинститута.

– Но нам туда не надо, – сказал я вслух, и вдруг глаза мои упёрлись в голубую десятилитровую канистру, лежавшую на боку под лужиковской кроватью. И тут же чей-то противный голос запищал мне на ухо: «Ну что эти сто граммов? Ну, выпили, пройдёт полчаса – час, и ещё захочется. А захочется – пойдём ещё в таксопарк. А там, чего доброго, забудем про всё на свете. А как же – «Олимпиец», как же – закрытие совещания? Лучше всего – пива выпить. Пиво, сколько ни пей, пьяным не будешь. Зато укрепись духом и телом, голова прояснится. А дальше – видно будет...»

– Ребята, у меня – идея! – повернулся я к двум Серёгам, мирно беседовавшим на краю подоконника и пускающими дым в открытое окно. – У меня – идея! Берём канистру и идём в пивнуху! Сколько сейчас время? Полдевятого? В девять пивнушка откроется. К открытию как раз и притопаем!

Донцов вытащил канистру, обтёр её лужиковским же полотенцем, висевшим на спинке кровати. Мы кивнули Филатову:

– С нами?

Он минуту поколебался, похлопал себя по карманам, посчитал мелочь и решительно шагнул к порогу:

– С вами!

...Сквер, делящий улицу Добролюбова на две проезжие части – левостороннюю и правостороннюю, тянулся узкой лентой на добрых два километра чуть ли не до самой пивнушки. По центру сквера бежала широкая, натопанная народом, посыпанная выцветшим на солнце серым шлаком тропинка.

По этой тропинке мы и двинулись в левую сторону от общаги. Ветки жимолости и ещё каких-то кустов гулко стучали по пустой голубой канистре в правой руке Серёги Донцова...

РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА

– Сашка, пойдём завтра на Сеянгу, – говорил мне Генка Бахметов (они с матерью тоже перебрались жить в Ловзангу, получив комнату в нашем же доме).

– Пойдём! – отзывался я, и мы с ним брали лопату, консервную банку из-под кильки в томате или тушёнки и шли копать червей. Недостатка в червях не было – ковырни землю на огороде за нашим домом, и, пожалуйста, – вот они, черви, знай собирай и клади их в банку.

В поход на Сеянгу мы готовились основательно: с вечера собирали рюкзаки, клали в них в первую очередь хлеб, потом картошку, сахар или сахарный песок, чай, кружки, ложки, соль, луковую траву и, конечно же, рыбацкие принадлежности – леску (леску Генка красил в серый цвет, опуская её в чайник с только что заваренным чаем), поплавки, сработанные нами из винных пробок, крючки, грузила.

Грузила мы изготавливали сами, нам нравилось выплавлять на костре свинец. Свинец Генка (он был старше меня на два года) находил в старых сельскохозяйственных машинах: веялках, сортировках, льнотрепалках. Машины эти, никому уже не нужные, стояли около кузницы в нашей деревне Ловзанге. Генка снимал с них свинцовые решёта, распиливал решёта на мелкие куски, благо свинец легко поддавался такой процедуре. А потом мы сколачивали молотком эти куски в своего рода биты, клали биты в те же банки из-под консервов, ставили банки посреди прогоревшего костра, на горячие угли. Свинец начинал медленно плавиться в банке, он растекался по её дну светлым и весёлым ручейком, постепенно покрывал дно, и, в конце концов, тяжёлая свинцовая бита превращалась в серебряную водичку, которую можно было вливать в любые формы, но не дай Бог пролить хоть капельку себе на одежду или на ноги. Одна такая крупная капля как раз и служила грузилом для удочки на хариуса – на Сеянгу мы ходили именно за хариусами (на нашем языке – харьюзами), ибо никакая другая рыба нас не интересовала.

...Утром, хорошенько выпавшись и плотно позавтракав перед дальней дорогой (больше 10 километров в одну сторону!), мы вскидывали на плечи рюкзаки, брали под мышки старенькие фуфайки (без фуфайки ночью на Сеянге холодно) и отправлялись восвояси, то есть в свои заповедные места – на Сеянгу!

В противоположную от нашей реки сторону, в пяти километрах от деревни лежало большое (пятьдесят километров в длину!) рыбное озеро Лаче, где в устье небольшой речушки Ловзанги, впадающей в это озеро, стояли рыбацкие избушки,

построенные нашими деревенскими мужиками. Там можно было запросто взять чью-либо лодку и с неё, да и просто с берега наловить за час-два на добрых три-четыре ухи окунья, плотвы, подъязков и подлещиков.

На озеро мы иногда ходили, и это была прогулка, а не поход: нас всё же больше тянуло на Сеянгу, в безлюдье, в глухие лесные дебри, в первобытные условия.

Дорога наша лежала через опустевшие деревни Овчинниково и Калахтино, по большаку. Тяжёлые резиновые сапоги и портянки, накрученные на ноги в несколько рядов, делали наши движения несколько замедленными, да мы, собственно, не очень-то и торопились, ведь весь день был ещё впереди. Размахивая руками, мы шли по большой дороге, по жёлтому песку и жёлтой глине, по вдавленным в них мелким и крупным камушкам, укатанным тысячами тележных, машинных и тракторных колёс. Песок скрипел у нас под каблуками, солнышко с неба нещадно палило, на обочинах дороги, за канавами ярко зеленела трава и листва на близ стоящих деревьях. Настроение у нас было приподнятое: целые сутки, даже больше суток мы будем одни, без взрослых, наедине с дикой природой. Предчувствие дальней дороги щекотало наши детские сердца, в груди приятно щемило в преддверие всего предстоящего нам в ближайшие день и ночь.

Мы доходили до Овчинникова, уже разорённого, вздыхали, глядя на осиротевшие берёзы и ёлки, сидели минут пять около того места, где совсем недавно ещё стояли наша и Бахметова избы, как бы отдавая дань родному пепелищу, и топали дальше – до Калахтина. Из Калахтина тоже все дома были давно увезены, там стоял только один пустой дом Фокиных, и около него серела старыми брёвнами верхняя часть колодезного сруба. На крышке колодца покоилось сверху дном ведро с привязанной к нему верёвкой: ведром часто пользовалась проезжая шоферня, доливая воду в кипевшие радиаторы своих грузовиков. В жаркий день здесь можно было просто напиться, утолить жажду, посидеть на мягкой шёлковой травке.

Около колодца мы с Генкой стягивали с плеч рюкзаки, бросали на траву фуфайки, снимали с колодца крышку и опускали в него ведро. Вода блестела в глубине колодца, в ней отражались кусочек голубого неба и наши с Генкой любопытные рожицы. Напившись холодненькой, с чуть заметным привкусом затхлости, водички, пожалев, что вот уже никто и в Калахтине не живёт – ни Фомкины, ни Лушины, ни Фокины, мы двигались дальше. От Калахтина по большаку нам следовало пройти ещё километра три – до кривули. Кривулей мы называли место, где дорога делала резкий поворот влево, а вправо, за канавой, начиналась тропинка, ведущая на Сеянгу.

За километр до кривули большую дорогу пересекала канава, вырытая для осушения окрестных болот. Дорогу она пересекала не поверх, а под ней – под большаком дорожные рабочие сделали бетонированный проход, и внутри его всё время весело журчал ручеёк, несший болотную водичку в уже упомянутое мной озеро Лаче.

Метров за пятьдесят до кривули, на правой стороне дороги, на обочине висел на деревянном столбе треугольный дорожный знак, показывающий поворот налево. Знак этот столько раз был прострелен дробью местными горе-охотниками, что стрелка на нём почти не различалась.

Сразу же за столбом мы сворачивали с дороги за канаву и тяжело вздыхали: впереди начиналось болото. И ладно бы просто болото, – на его просторах обитали полчища злющих комаров, сразу же набрасывающихся на нас, как будто они только и ждали нашего появления здесь.

Когда-то, ещё при царе-батюшке по этому болоту была сделала лежнёвка, то есть мост из брёвен такой ширины, чтобы по нему могла проехать лошадь с телегой. На телегах наши деды и прадеды возили на Сеянгу зерно – там стояла водяная мельница, называвшаяся Овчинниковской. От мельницы той сохранились только брёвна на дне реки и камни, уложенные человеческими руками в запруду. Ни сруба самой мельницы, ни водяных колёс, ни жерновов – ничего не сохранилось. Не сохранилась и лежнёвка через болото – такой, какой она была в начале века. Но брёвна настила не сгнили, пусть их и поглотило болото, накрыло сверху своей коричневой жижей – всё равно нога нащупывала деревянную опору под ногами, и мы с Генкой брели по невидимой лежнёвке друг за другом, и сапоги наши наполовину скрывала болотная жижа.

С лежнёвки трудно было сбиться: к самым её бокам с той и другой стороны подступали мелкие сосенки, берёзки и ивовые кусты, образуя своеобразный коридор, указывающий нам дорогу.

От болотной воды, от кочек, от мокрого мха и высокой травы-резухи исходил тяжёлый неприятный запах, из-под наших кепок постепенно начинали стекать на наши носы и на глаза капельки пота, спины под рюкзаками становились мокрыми – солнышко жарило нещадно. Мы то и дело хватались руками за тонкие стволы берёзок и ивовые кусты – дедовский деревянный настил под ногами зиял провалами, в каждом таком провале, попади в него ногой, можно было запросто зачерпнуть полный сапог жёлто-бурой жижи. К тому же приходилось ещё отбиваться от комаров, нападающих со всех сторон, и три километра пути по болоту казались нам всеми шестью...

Но всему есть конец: взмокшие и достаточно уже уставшие, мы выбирались на небольшой сухой островок, с которого уже был виден конец нашим мучениям. На островке росли ёлки и крупные большие ивы, у самой тропы стояла ива, ствол который над самой землёй был причудливо изогнут, образуя своеобразную скамеечку, на которой мы с Генкой сидели минут десять, собираясь с силами перед последним броском через болото. Потом брели ещё метров двести по вонючей жиже и наконец вступали в долгожданный лес.

Это был особенный лес: толстенные стволы осин взвивались прямо в небеса, слабо синевшие сквозь развесистую осиновую листву. Так же мощно смотрелись здесь ёлки и берёзы, стволы берёз были даже не белыми, а чёрными до половины, а нижние ветви елей тянулись на два-три метра от стволов. Спрячсь во время дождя под такую ёлку – даже самый сильный ливень тебя не промочит, пока струи его летят до земли, они сотню раз наткнутся на эти мощные, густые широкие лапы и скатятся по ним, как по шатровой крыше, вниз, не замочив землю в радиусе двух-трёх метров от ствола.

Иногда деревья в лесу стояли так плотно, что сквозь листву и иголки солнечный свет вообще не проникал, в летнее время года лучи его вообще не касались поверхности почвы. Земля в таких местах была совсем голой, её покрывали только прошлогодние листья, еловые шишки и жёлтые опавшие иголки. Если кое-где в таких местах и пробивалась травка – это были жалкие бледные росточки, не доживающие до конца лета.

Тропинка – сухая, твёрдая петляла по этому лесу, выбегая время от времени на весёлую, залитую солнышком и поросшую жёлтыми купальницами и пахучим багульником поляну. На полянах росли и другие цветы, яркие и красивые, но мы с Генкой не знали их названия. Около полян, по их опушкам, мы срезали «человеческие» дудки и ели их. В деревне, около помоек и других сорных мест росли «собачьи» дудки. Из них мы стрелялись неспелой черёмухой и делали свистки. «Собачьи» дудки имели ребристые стволы, а «человеческие» – гладкие, причём последние росли только в лесу и далеко не во всех местах. Мы с Генкой срезали дудку, снимали с неё кору-кожицу и уплетали за милую душу, ничуть не боясь отравиться.

Около лесной тропинки строили свои жилища лесные муравьи, большие рыжие кучи высотой до метра и больше лепились к шершавым еловым стволам, и во все стороны от них разбегались муравьиные тропинки, по которым неутомимые насекомые волокли на своих спинах по направлению к «дому» разного рода личинок, жучков-паучков и гусениц.

Мы обязательно подходили к одному из муравейников, смотрели: раз его обитатели снуют по куче вверх-вниз, раз кишмя кишат, значит, сегодня дождя не ожидается.

Хорошо было идти после болота по сказочному дремучему лесу: ноги сами собой двигались по тропинке, предвкушение предстоящей рыбалки заставляло нас идти быстрее, – ведь скоро уже и Сеянга!

По лесу до реки тоже, как и по болоту, – километра три. Завидев большую берёзу с левой стороны тропы, на стволе которой Генка вытюкал топориком две заглавные буквы «Б» и «Р», что значило «БАХМЕТОВ» и «РОСКОВ», мы кричали радостное «ура-а!» и бросались со всех ног вперёд: впереди, за большой цветущей поляной, под крутым бережком весело бежала по камушкам любимая нами река.

Сама Сеянга и тогда, и сейчас отнюдь не широкая и не глубокая, кое-где её можно перейти вброд, даже не замочив сапоги, прыгая с камня на камень. Но как вниз, так и вверх по течению речки есть глубокие омуты, у которых дна не разглядеть и не достать, опустив туда леску удочки с притянутым к самому концу удилища поплавком. Мы боялись таких омутов и не подходили к ним близко, зная, что там, в глубине, могут обитать не только зубастые щуки (а они водились в Сеянге), но и кое-кто пострашнее, например водяной.

Берега Сеянги поросли ольхой и ивняком. Бывало, неумело забросишь удочку, и она зацепится на той стороне реки за куст. В этом случае нужно или леску рвать, или перебираться на ту сторону и освобождать крючок от цепких ивовых прутьев.

Когда-то около Овчинниковской мельницы стояла избушка для косарей: берега Сеянги обкашивались в до и после военное время народом, жившим в Овчинникове и Калахтине. Но обе эти деревни захирели, и в годы наших с Генкой походов на реку здесь сенокосили лекшмаки – жители деревни Лекшмы, стоящей километрах в десяти ниже по течению реки. Сено с берегов Сеянги вывозили по зимнику, летом же конные косилки лекшмаков добирались до самой мельницы, выше её сенокосники не рисковали забираться. В августе тут и там по берегам стояли большие пахучие стога сена. На косарей же мы натыкались редко – на ночь они уезжали на лошадях в свою Лекшму. Но как хорошо было идти по скошенному берегу и любоваться быстрым течением реки, дремучими сказочными елями, могучими валунами, тут и там показывающими из воды свои серые спины. А иногда и ночевать в стогу...

В конце июня, когда харьюз хорошо клевал, сенокос на Сеянге ещё не начинался и высокая, в человеческий рост трава, не мятая никем, зеленела и тянулась к солнцу, в траве заливались кузнечики, от цветка к цветку перелетали большие разноцветные бабочки и рыжие шмели, а на камнях, служивших когда-то фундаментом для лесной избушки, грелись юркие ящерицы.

Перебежав с весёлым криком «Здравствуй, Сеянга!» последнюю на нашем долгом пути поляну, мы сбрасывали около этих камней свою амуницию, доставали из рюкзаков кружки и спускались к реке. Вода в ней блестела на солнце так, что слепило глаза. Издалека казалось: не вода струится, а расплавленный свинец течёт между камнями. Спустившись же к воде, можно было разглядеть каждый камушек, лежащий на песчаном золотом дне, каждую травинку в воде около берега, где громоздись камни остатками мельничной запруды. Камни эти также омывала прозрачная вода, на них рос такой слой зелёного мха, что сама поверхность камня с «головой» пряталась в нём.

Как хорошо было снять со вспотевшей головы кепку, сбросить с ног тяжёлые сапоги, ступить босиком в воду, умыться из реки и напиться из неё, зачерпнув воду белой эмалированной кружкой!

Какое-то время мы сидели на бережку, отдыхали, отмахивались ольховыми ветками от наседавших комаров. Почувствовав, что силы возвращаются в наши уставшие после десятикилометровой ходьбы тела, мы съедали по куску чёрного хлеба с луковой травой, макая хлеб в реку и запивая водой из реки, потом натягивали сапоги и шли искать удилища. Удилища мы прятали в лесу после очередной рыбалки, сняв с них удочки и прислонив стоямя к еловому или берёзовому стволу. Закопчённые чайник и котелок мы также прятали под берегом у подножия толстой ольхи, под которой неизвестно кем была сделала глубокая нора.

Оставив под высоченной шатровой ёлкой фуфайки и рюкзаки (здесь будет место нашего ночлега), сунув в карманы стареньких пиджачков по банке с червями, навязав на удилища удочки, мы шли делать первый заброс, как выражался Генка, в «таинственные и неизведанные» воды реки Сеянги. Забросы мы делали на перекатах, где вода с журчанием и бульканьем быстро-быстро бежит по камням. Сразу же за перекатом, в том месте, где река начинает замедлять свой ход, стоит волшебная рыба – харьюз!

Во всех книгах по рыболовству написано, что хариуса нужно ловить на мушку. Мы с Генкой всякие мушки перепробовали, и – увы! – без толку. А вот на червя харьюз брал. Глубину на удочке мы делали самую минимальную, сантиметров 10–15 от крючка до поплавка, чтобы червяк плыл по поверхности воды, а не по дну реки.

Первый заброс каждый из нас делал с волнением в груди: ведь если харьюз стоит под перекатом, он обязательно схватит червя. Иногда даже было видно, как рыба чёрной молнией бросалась откуда-то из-под берега или из-под камня к червяку, и р-раз! – мгновенно хватала его. Сев на крючок, харьюз упирался отчаянно, можно было подумать, что клюнула килограммовая рыбина, тогда как ты вытаскивал из воды стопятидесятиграммового харьюзёнка.

Около Овчинниковской мельницы – с десятков быстринок (так мы с Генкой называли перекаты), и у меня и у него было здесь своё заветное, «рыбное» местечко. Генка уходил вверх, а я спускался вниз по течению – туда, где река разделялась на два рукава, образуя и огибая с двух сторон небольшой, поросший высокой ольхой островок. Течение здесь было не очень быстрое, и дно не просматривалось – листва деревьев заслоняла солнечный свет, и потому вода в обоих рукавах казалась тёмной и загадочной.

Я, стараясь не шуметь, не шуршать травой и прибрежными кустами, вставал на небольшой пятак земли на берегу у самой воды и, рискуя зацепить леску за ольховые ветки, забрасывал удочку. Поплавок из винной пробки медленно плыл по течению посредине рукава, немножко покачиваясь на воде, и вдруг в одно мгновение исчезал в её глубине. Есть! Я, весь в волнении, трясущимися руками, стараясь не зацепить конец удилища за ветви деревьев, вплотную смыкающимися над рукавом, начинал потихоньку подтягивать севшую на крючок рыбину к берегу, к своим ногам.

Ох, и красивая же рыба – харьюз! Спинка у него тёмная, а тело – серебряное с маленькими жёлтенькими пятнышками на боках. Живой харьюз с растопыренными плавниками и спинным гребнем, с хищной, но красивой головой – это что-то! Правда, в отличие от других рыб, окуня или ерша, например, он очень быстро засыпает, будучи вытасканным из воды. И портится тоже. Если харьюз полежит часа два на солнцепёке – всё, пиши пропало, рыба у него уже начинает отделять от костей и припахивать – такой он нежный, этот харьюз! Хотя кишок у харьюза – минимум, как будто он ничем и не питается, как будто святым духом живёт.

Мы с Генкой, чтобы не пропал наш улов, поступали с харьюзом так: как только он засыпал, вы выпарывали у него кишочки, посыпали рыбину изнутри и сверху солью – немножко, чуть-чуть, и клали её в укромное место, подальше от солнышка, в крапиву, предварительно нарвав её (крапива по берегам росла в достатке) и уложив в кучку где-нибудь под кустом, в тенёчке. Мы считали, что харьюз в крапиве дольше сохраняется. Конечно, речь здесь идёт о том улове, который мы собирались нести домой. Ту же рыбу, что мы ловили на вечернюю уху, просто клали в котелок или в чайник и – в тень, до вечера с ней ничего не случится. А вечер был уже близко – рыбачить мы начинали часов в 5–6 пополудни – дорога на Сеянгу и отдых занимали большую часть дня. Нельзя сказать, что мы ловили много харьюзов, но уху на реке всегда варили и никогда не возвращались домой хоть без небольшого, но улова.

Обловив своё заветное место, поймав двух-трёх речных красавцев, я спускался ещё ниже по течению, к другим быстринкам, карабкался там на огромные, лежащие в воде и у самой воды валуны, стоял на них, забрасывая удочку в стремительный поток и наблюдая за несущимся по быстринке пробочным поплавком. В такие минуты и часы забывалось всё на свете, были только я, удочка и река, были зелень листвы и голубое небо над головой, жёлтое песчаное дно под ногами да ещё неясное чувство опасности: время от времени я отрывал взгляд от поплавка, оглядывался на берег, на начинающийся за узким лугом дремучий лес и сжимал свободной от удилища рукой свинцовую рукоятку висевшего на поясе самодельного ножа. Всё-таки на километры вокруг мы с Генкой были здесь одни и боялись не столько медведей и лосей, сколько лихого человека: в летнее время из множества лагерных зон, располагавшихся на территории области, бежали заключённые. Об этом объявляли по местному радио, на дорогах появлялись солдаты с автоматами, а матери, провожая нас на Сеянгу, говорили: «Вы хоть там на заключённого не нарвитесь!»

Но за всё время наших походов мы не «нарвались» на реке ни на одну серьёзную опасность, хотя, находясь среди дикого леса, постоянно ожидали её.

Да то и понятно: даже взрослый человек не чувствовал бы себя спокойно на нашем месте, что уж говорить про нас, 15–13-ти летних пацанов...

Обловив свои быстринки, мы с Генкой начинали постепенно возвращаться к оставленным под ёлкой рюкзакам и фуфайкам, забрасывая удочки в те места, где уже выловили по несколько рыбин. Наконец мы сходились вместе, хвастались друг перед другом небогатым уловом и садились отдохнуть на бережку и попить водички из реки.

А какие сказочные вечера проводили мы на Сеянге, устраиваясь на ночлег под ёлкой, одиноко стоящей посреди узкого луга на открытом возвышенном месте, в двадцати метрах от воды. Земля под ёлкой была несколько суше, чем просто на берегу, мощные корни разбегались от ствола в разные стороны и были такими толстыми – сядь на такой корень и сиди на нём, как на скамеечке. А если ещё нарубить в лесу еловых веток и натаскать их под нашу ёлку, а сверху на ветки бросить фуфайки – получалась отличная постель. В случае дождя опять же ёлка могла запросто укрыть нас от него: если лечь под ней на спину головой к самому стволу и посмотреть вверх сквозь густые ветки, ни за какие коврижки не разглядишь голубое небо. Так что ночевать под ёлкой было вдвойне выгодно, нежели под открытым небом.

Набродившись вдоволь по берегам Сеянги, налюбовавшись на речные перекаты, на ёлки на том берегу, мы, располагаясь на

ночлег, распределяли между собой обязанности: Генка чистил рыбу и картошку для ухи, а я шёл в лес за дровами и разводил около ёлки костёр. Дров в лесу – бери не хочу: на земле валялись сломанные ветром толстые сухие сучья берёз и осин, ольховые же, высохшие и давно не дающие ни веток и ни листьев, стволы стояли, держась старыми, но крепкими корнями за землю, не желая падать. Но стоило подойти к такой сухой ольхе и пнуть по ней что есть силы сапогом – ствол ломался сразу в нескольких местах по всей своей длине, и обломки его падали чуть ли не на твою голову.

Правда, сухие дрова сгорали в костре очень быстро, на ночь приходилось притаскивать из леса пару полусырых колодин. За этими колодинами мы ходили уже вместе с Генкой, после того как поедим ухи и напьемся чаю.

Итак, я разжигал костёр, Генка водружал на него котелок с нашей будущей ухой. Мы блаженно вытягивались на хвойной постели в ожидании, пока вода в котелке закипит. Комаров к ночи становилось меньше, да и дым костра отгонял их, поэтому мы блаженствовали, глядя в голубое небо и слушая, как журчит на ближайшем перекате Сеянга. На соседний берег начинал наплывать туман, солнце садилось на зубчатые верхушки тёмных елей, напоминающих собой сказочный частокол. Нам с Генкой становилось немножко не по себе ввиду наступающей ночи, правда, страхи свои каждый из нас старался не показывать и не пугать друг друга ненужными высказываниями насчёт всяких там леших и ведьм, не говоря уже о беглых зеках. Просто мы клали поближе к стволу ёлки небольшой топорик, чтобы в случае чего можно было быстро взять его в руки, и втыкали в еловый ствол свои ножи. Как я уже упоминал, ножи были у нас самодельные, с тяжёлыми свинцовыми ручками, ручки эти мы сами и выплавляли из свинцовых бит на кострах и заливали горячим металлом черенки стащенных из дома, заточенных уже нами с двух сторон кухонных ножей. Топор и ножи придавали нам с Генкой хоть хрупкую, но все же уверенность в своих силах и возможностях, мы то и дело с наступлением темноты косились на них или просто брали в руки и держали в руках.

Вода в котелке закипала, Генка бросал туда рыбу, картошку, мелко порезанную луковую траву, и через десять минут уха была готова. Харьюз – рыба жирная, на поверхности ухи плавали жёлтые медальки жира, уха кормила даже запахом, не говоря уже о себе самой. Мы с Генкой хлебали её прямо из котелка, ложки наши издавали глухой металлический звук, натываясь друг на друга внутри его. Рыбу же делили строго пополам, выкладывая её на серебряную бумагу из-под чая. Пока мы лакомились ухой, в чайнике уже закипала вода, и Генка сыпал в него заварку прямо из «цыбика». «Цыбиком» все в нашей деревне называли пачку чая, не только мы с Генкой. Заварку мы сдабривали смородиновым листом, бросая лист прямо в чайник, – по берегам Сеянги росло много чёрной смородины. От такой добавки напиток приобретал своеобразный, с кислинкой, вкус, и мы выпивали по две, а то и по три кружки чая.

А ещё было очень здорово после ухи или после этого обжигающего, пахнущего смородиной напитка сбежать к речке, зачерпнуть в ту же кружку воды и напиться из Сеянги, что мы нередко и делали.

Хотя в июне на севере и стоят белые ночи, всё равно (особенно в лесу) сумерки часа на полтора-два спускаются на землю. Что уж там говорить про августовскую ночь! Августовская ночь на Сеянге у костра под могучей ёлкой – это просто сказка! Темнота обступает костёр со всех сторон, сунь в неё руку – и пальцы свои не разглядишь в этой густой темноте. В небе же горят тысячи, миллионы звёзд, небо кажется низким-низким, искры от костра, улетаая в небо, на какое-то мгновение смешиваются с далёкими звёздными точками, и, пока не погаснут, кажется: это звёзд добавилось в небе.

Костёр пылает, мы с Генкой лежим на фуфайках, на хвойной подстилке и смотрим в небо. Где-то рядом в лесу гугукает филин, по-страшному хохочет сова, рядышком, под боком журчит на перекате вода. И так приятно лежать и думать о том, что где-нибудь во Вселенной, на одной из звёзд, может быть, вот так же сидят у костра её жители и смотрят ввысь, на нашу маленькую звёздочку – Землю. В те годы космического бума все были прямо-таки помешаны на космосе, на других планетах, и мы с Генкой, лёжа под ёлкой у костра, тоже говорили о нём. Да мало ли о чём мы говорили? – разве вспомнишь теперь всё досконально?! Не говорили мы разве только о нечистой силе – эта тема в лесу была запретной. А ещё мы пели песни – те, что разучивали в школе на уроках пения, и те, что приходили к нам с киноэкрана и грампластинок, которые крутила в клубе старшая молодёжь. Мы лежали и пели, и эхо разносило наши голоса по лесным чащобам, и сова и филин на это время замолкали, удивляясь, видимо, незнакомым им звукам.

Ах, эти волшебные ночи на Сеянге! В конце концов, что там – рыба! Разве ради рыбы шли мы сюда, в буквальном смысле слова – за десять вёрст?! Нет, нет и нет! Мы шли на реку ради этих волшебных ночей, нам нравилось быть среди дикой природы, среди дремучего леса у маленькой, такой ласковой и доброй к нам реки Сеянги.

Эти походы на далёкую реку, наши костры под ёлками, шум ночного леса и говорок водных струй на перекатах и пробудили в моей душе необъяснимое, сладостное чувство, которое я тринадцатилетним мальчишкой впервые попытался выразить в стихотворной форме. Я помню сейчас только две строфы из первого своего стихотворения:

Мы с тобой проснёмся рано-рано,
Солнышко ещё за лесом спит.
Ничего не видно за туманом,
Слышно только, как река журчит.

Будет булькать закопчённый чайник,
Подражая птичьим голосам.
Встали на пути в лесную тайну
Белого тумана паруса...

Под утро нас с Генкой начинало клонить в сон, мы придвигались поближе к костру, натягивали на себя фуфайки и на час-полтора проваливались в никуда. Спали мы тревожно и нервно: перед восходом солнца становилось зябко, один бок грелся от костра, второй в то же время замерзал; мы перекатывались под ёлкой с боку на бок, хлопали себя по щекам и по лбу, отгоняя проснувшихся вдруг комаров; искры от костра, погаснув в воздухе и превратившись в серый пепел, опускались на наше жёсткое ложе, на фуфайки, на сонные наши лица.

Наконец, когда костёр начинал затухать и холод подступал к нам уже с обоих боков, мы, недовольно ворча, поднимались: нужно было подбросить в костёр дров, оживить его, да и утренняя зорька была не за горами. Минут пять мы сидели около затухающего костра, тёрли кулаками глаза, стараясь сбросить с себя остатки короткого сна, хлопали себя по бокам и бёдрам, согреваясь таким образом. Потом Генка спускался к речке за водой, я подбрасывал на горячие угли сухие дрова, костёр вспыхивал с новой силой, одаряя нас таким желанным теплом. Пока чайник закипал, мы прыгали вокруг огня, подставляя ему поочередно наши спины и бока. Кружка-две горячего крепкого чая окончательно возвращали нам бодрое состояние духа и тела, да тут ещё птичий хор в лесу...

Да, что творили по утрам лесные птицы! Днём и вечером их было не так слышно, но утром! Утром бор наполнялся сотнями, тысячами птичьих голосов. Славя явление восхода и нового дня, невидимые для нашего глаза пичуги выдавали такие рулады и трели – куда там курскому соловью! Казалось, весь лес, каждое дерево звенело, свистело и пело, приветствуя восход солнца.

А солнце уже вставало: макушки стоящих на том берегу реки величественных елей начинали алеть под первыми его восходящими лучами. Тут мы с Генкой брали в руки стоящие с другой стороны ели удочки – пора на утреннюю зорьку!

Самым главным врагом на Сеянге этими ранними утрами была для нас роса. Она накапливалась за ночь на каждой травинке, на каждом цветочке, листе, она брызгала на тебя с ветки любого, случайно задетого плечом или удилищем, куста. А эта трава высотой с наш с Генкой рост! Стоило пойти по траве метров двадцать-тридцать, и брюки на коленях уже промокали, неприятный холодок начинал расползаться по всему телу. Дальше – больше: мокрые брюки уже прилипали к коленям, вода по ним медленно, но уверенно начинала проникать всё ниже и ниже – в сапоги, и через какие-то пройденные по росе пятьсот метров в сапогах начинало хлюпать.

Побродив взад-вперёд по берегам Сеянги, промокнув с головы до ног, поймав по несколько харьюзов, мы возвращались к дымящемуся ещё костру. Дрова в нём к тому времени прогорали, угли подёргивались серым пеплом. Но стоило дунуть на

этот пепел, как он моментально слетал с углей, обнажая их раскалённую поверхность. Стоило бросить на угли несколько сухих сучьев, они тут же вспыхивали, занимались огнём.

Поставив остывший было чайник на костёр, не выливая из него заварку, мы начинали сушиться. От наших пиджаков, фуфаек и брюк шёл пар, портянки, развешенные на колышках около костра, тоже начинали парить. Солнце всё ещё пряталось за деревьями глухого бора, но ёлки на том берегу были уже освещены им наполовину. Со всех сторон на прибрежный луг начинал наплывать густой туман, от остывшей за ночь реки поднимался серый пар, смешиваясь с туманом, отчего тот становился ещё гуще.

Чуть пообсохнув, перекусив и попив чайку, собрав всю свою амуницию и спрятав чайник с котелком под приметную ольху, мы отправлялись вверх по течению Сеянги – на Стойловскую мельницу (там у нас также были спрятаны чайник и котелок). От Овчинниковской мельницы до Стойловской по берегу – километра четыре. Лекшминские косари дальше Овчинниковской не совались, поэтому хоть в июне, хоть в августе трава на протяжении этих четырёх километров стояла выше человеческого роста. Роса на ней, когда мы отправлялись в путь, ещё и не думала высыхать, и, миновав Тёплый ручей (он впадал в Сеянгу в километре от места нашего ночлега), мы уже не обращали внимания на хлюпающую в сапогах воду и промокшие насквозь брюки. Плевать: какой Бог намочит, тот и высушит! Если в начале пути мы ещё старались толстым концом удилица, лежащего на плече, раздвигать траву перед собой, то после Тёплого ручья переставали делать это: быстринки-перекаты начинали здесь следовать одна за одной, и рыболовная наша страсть пересиливала в нас нежелание мокнуть в росе.

Сеянга петляла по лесу, по обоим берегам простирались пожни с высокой травой. Роса на траве искрилась под восходящим солнышком, переливалась мириадами разноцветных огоньков-фонариков. То же самое – на ёлках, берёзах, прибрежных кустах. Мы с Генкой, уже достаточно промокшие, обалдевали от такой красоты и, утопая с головой в сырой траве, начинали во всю глотку орать какую-либо песню, например, «Голубую тайгу»:

Завтра снова дорога,
Путь нелёгкий с утра.
Хорошо хоть немного
Посидеть у костра.
И, волной набегаая,
Тронул вальс берега,
А вокруг голубая,
Голубая тайга...

Несколько раз на нашем пути мы вступали в лес – он стремительно выбегал к реке и тянулся между пожнями метров по сто пятьдесят- двести. По лесу идти было хорошо, сухо, трава в лесу не росла, поэтому и росы там не было. Идя по лесной тропинке вдоль берега и держа удилица на плечах, мы то и дело оглядывались, следили, чтобы леска не зацепилась за ветку или сучок. Ёлки и берёзы стояли в таких местах на самом берегу реки в мужицкий обхват толщиной, а в одном месте несколько лет лежала вывернутая бурей с корнями огромная ель. Вершина её покоилась на другом берегу Сеянги, толстый ствол служил своеобразным мостиком через реку. Мы с Генкой сидели минут десять на этом стволе и затем двигались дальше – к очередной пожне и быстринке.

Подходя к перекату, мы забрасывали в него удочки, испытывая рыбацкое счастье.

– Эх, тяпану я сейчас тяпуна! – восклицал Генка, перепрыгивая с камня на камень – на середину переката. «Тяпунами» мы на своей рыбацкой «фене» именовали харьюзов. И Генка один раз «тяпанул тяпуна», да такого, что не смог вытащить его из воды. Пришлось ему бросать удилице себе под ноги, братья руками за леску и тянуть рыбину на себя.

Я с восторгом и ужасом наблюдал за этим единоборством с высокого берега, имитируя каждое движение своего друга и боясь, как и он, чтобы «тяпун» не сорвался с крючка.

Но Генка всё же подтянул «тяпуна» к своим ногам, схватил его обеими руками и бросил на берег. А тут уж я, издавая дикие вопли, накрыл его животом. Харьюз этот вытянул на полтора килограмма, мы доставили его в деревню, выпоров кишки и подсолив, и взвесили на безмене: у Бахметовых сохранился старый безмен – такая перекаладина с двумя плечиками и чашечками на обоих концах, как у греческой богини Фемиды. На берегу мы долго любовались харьюзом, восторгались его длиной, могучими плавниками, передавали из рук в руки, пока «тяпун» не заснул.

...Шум Стойловской мельницы был слышен за полкилометра: в отличие от Овчинниковской, здесь сохранилась половина мельничного сруба, и деревянные лотки в воде сохранились, и водяное колесо, и каменные ступы, и жернова, и сама запруда. Вода в запруде и на длинном, метров в добрую сотню, перекате издавала такой шум, что, стоя около неё, нужно было кричать на ухо, чтобы услышать друг друга.

На берегу, в десяти метрах от запруды высокая трава окружала деревянную площадку – толстый-претолстый пол, оставшийся от какого-то мельничного сооружения, может быть – склада. На этом полу мы и ночевали иногда с Генкой, бивак приходилось разбивать прямо под открытым небом – берег около мельницы порос крапивой и ольхой, и до самой ближайшей ёлки было метров двести. Да и не росли тут такие одинокие ели, как на Овчинниковской мельнице, и луга тут не было – сразу за зарослями крапивы начинался сплошной мелкий лес, подступавший к самой воде и выше и ниже по течению Сеянги.

Но в ночёвках на деревянном настиле была своя прелесть: под боком у нас громоздились развалины водяной мельницы, построенной ещё при царе-батюшке, возбуждающе действующие на наши детские умы, на воображение наше и фантазию. Места у Стойловской мельницы были более рыбные, нежели у Овчинниковской. Что нам нравилось? – мы лежим у костра на деревянном настиле, а в пяти шагах от костра бурлит и пенится речной перекаат. Я встаю, беру удочку в руки, забрасываю её и – хоп! – харьюза можно снимать с крючка и бросать прямо в висящий над огнём котелок.

Мы чередовали наши ночёвки у этих двух мельниц, хотя Стойловская была ближе моему сердцу: здесь когда-то мололи муку жители моей родной деревни Стойлово, где я родился и прожил до семи лет. Из Стойлова к мельнице также в своё время была сделана лежнёвка, но она сохранилась хуже той, что вела на Сеянгу от кривули. И чтобы справиться (мы говорили не «найти», а «справить») прямую дорогу от Стойловской мельницы домой, нам приходилось прилагать немало усилий: дорога терялась как в лесу, так и в болотных пожнях, воды на которых, правда, было раза в два меньше, нежели на Овчинниковской лежнёвке.

Мы находили её по длинным прогалам в лесной чаще или на болоте, по когда-то выбитым тележными колёсами и лошадиными копытами впадинам на земле, держа ориентир по солнышку, которое около полудни должно было находиться как раз напротив Стойлова.

Заканчивая наш поход у Стойловской мельницы, мы прятали около жернова чайник и котелок, сматывали удочки с удилиц, ставили удилица стоймя около ёлки или берёзы, примечали её, чтобы потом не тратить времени на поиски, закидывали за плечи рюкзаки и со словами: «До свидания, Сеянга!» углублялись в лес.

Как на берегах Сеянги, так и в лесу, на наших тропах, мы нередко натыкались на медвежьи и лосиные следы и помёт, иногда совсем свежие. Лосей нам приходилось видеть не раз и не два, сталкиваться с ними носом к носу, а вот видеть медведя ни разу не привелось, наверное, косолапые, осторожничая, сами обходили нас. Медвежьи следы были похожи на отпечаток человеческих ладоней, только на том месте, где у нас пальцы, у косолапого – когти.

Наткнувшись на такой свежий след, мы с Генкой отважно хватались за рукоятки ножей, стучали обушком топорика по стволам встречных деревьев и громко кричали, думая, что этими действиями отпугиваем зверя, хотя у самих в это время душа опускалась куда-то ниже пяток.

Раз, правя дорогу в Стойлово, мы с Генкой оторопели, увидев на высокой ёлке. росшей посреди небольшой поженки, что-то белое и огромное, накрывающее ёлку вместе с верхушкой и свисающее с неё наподобие балахона. Напуганные необычным видением, мы долго стояли, боясь шелохнуться, гадая: что же это может быть? Потом, набравшись храбрости, подошли

поближе: на ёлке висел метеорологический зонд-шар, такие шары для определения погоды и направления ветра запускали в Каргополе на метеостанции.

Находка была как раз кстати: пластмассовый приборчик, прикрепленный к зонду, оказался напичканным всякими проводками, конденсаторами и транзисторами, а Генка в это время занимался конструированием радиоприёмников в спичечном коробке, схему которых нашёл в журнале «Юный техник». Да и сама резина пригодилась: разрезав её на кусочки, мы надували из них маленькие шарики, а потом прокалывали иголкой или разбивали о собственные лбы: шарики лопались с громким «прибабахом».

Так или иначе, дорогу от реки в Стойловское поле мы справляли и по лесу и по болоту, и по мере продвижения вперёд нами начинала овладевать усталость: сказывалась почти бессонная ночь, росяные «ванные», да тут ещё солнышко припекало всё сильнее и сильнее, рты наши пересыхали, нестерпимо хотелось пить, пот опять начинал течь по лицу и спине, отмахиваться от комаров уже не было сил...

Дорога от мельницы выходила в Стойлово, в мою родную деревню, уничтоженную как неперспективную. Отдохнув малость у небольшого пруда, умывшись и попив из него воды, мы тащились дальше в Калахтино, там выходили на уже знакомую читателю большую дорогу, по ней волоклись до Овчинникова и дальше – в Ловзангу.

Если же мы возвращались домой от Овчинниковской мельницы, по дороге, которую я описал выше, то небольшой «перекур» делали у канавы, по которой тёк ручеёк из дальних болот, пили из него воду и умывались из ручья. Уставали мы настолько, что разговаривать уже не было сил: ноги наши от постоянной сырости в сапогах распухли и намозолились, глаза на ходу закрывались и перед ними возникала не большая жёлтая дорога, а речной перекат и прыгающий на нём поплавок из винной пробки.

Время от времени я или Генка, еле ворочая пересохшим языком, говорили:

– Больше никогда не пойдём на эту Сеянгу. Ну её вместе с «тяпунами» и комарами, пошла она куда подальше!

Мы оба в знак согласия утвердительно кивали головами и продолжали свой тернистый путь по большаку, волоча на плечах, ставшие вдруг пудовыми, фуфайки.

Кое-как добредя до дома, мы пили чай, переодевались в сухое, меняли трусы и майки и шли в кладовку, иногда в нашу, иногда в Бахметову – спать. Спали мы весь остаток дня и всю ночь, видя во сне только одну картину: пробочный поплавок, стремительно уходящий под воду от броска «тяпуна».

Матери наши, жалея нас, уставших, разбитых, измученных, искусанных комарами, ворчали:

– И далась им эта Сеянга! Шли бы лучше на озеро – и ближе и рыба там всякая. Больше не отпустим их на реку, только ноги ломать да здоровье себе гробить.

Насчёт здоровья они всё-таки были не правы: мне кажется, что именно в таких далёких походах на Сеянгу мы крепчали и закалялись, именно поэтому и не брали нас зимними месяцами никакие простудные болезни.

День-два после такого похода у нас болели ноги, кровоточили мозоли на сбитых пятках, но потом все проходило, и уже на третий или четвёртый день с утра пораньше Генка прибегал под мое окно стучал в него пальцем и кричал:

– Слушай, Саня, пойдём завтра на Сеянгу?!

– Пойдём! – счастливо улыбался и плющил свой нос об оконное стекло, утвердительно кивая головой.

Что нам – ворчание родителей, что – рыбное озеро Лаче? Нас тянуло туда, где весело журчит вода на каменных перекатах, где стрекозы и бабочки летают над цветущими пожнями, где дурманыще пахнет багульник на лесных полянах, где ждут нас прислонённые к еловым стволам берёзовые удилища и закопчённые котелки и чайники под приметными ольхой и каменным жерновом, где жарко горит костёр, раздвигая ночную мглу, и большие жёлтые искры улетают в августовское звёздное небо, где по ночам в чаще леса гугукает филин, а по утрам заливаются, расппевают свои песни мелкие пичуги, где на камнях греются юркие ящерки, где тропинка спускается к сверкающей и искрящейся воде, где висит на кончике лепестка купальницы большая капля росы и где за большим серым валуном прячется посередине реки самый большой и самый красивый «тяпун» – волшебная рыба хариус...

* * *

Когда Генка Бахметов, прививший мне любовь к Сеянге, ушёл в армию (он был старше меня на два года, я продолжил свои походы на реку с моим двоюродным братом Толиком Ворониным (он приезжал к нам на летние каникулы из Северодвинска) и деревенским парнем Колей Гладышевым. Они были ровесниками, несколько младше меня. Тот и другой влюбились в Сеянгу не меньше моего, я, как старший по возрасту и лучше их знающий окрестности Сеянги и дороги на реку и обратно, стал у них за вожака. К тому времени я уже начал курить, с куревом на рыбалку стало ходить ещё интереснее, с «беломориной» во рту лежалось у костра, думалось и смотрелось в звёздное небо лучше, чем без папиросы. Иногда нам удавалось прихватить с собой бутылку красного вина – «Анапы» или «Яблочного» за один рубль четыре копейки. И тогда уж мы ловили «полный кайф», выпивая перед ухой по полкружке хмельного напитка.

Толик с Колей, почитая меня за старшего, чистили рыбу, носили из леса дрова, разводили костёр, ломали хвою на подстилку, предоставляя мне возможность таскать харьюзов из реки. Коля, имеющий склонности ко всякого рода художествам и рисованию, вырезал ножом на коре толстенных ёлок разные страшные рожи, наши имена и фамилии.. Теперь следы от его ножа заплыли смолой, но некоторые буквы ещё можно различить.

Однажды мы вдвоём с Колей Гладышевым отправились на Сеянгу с раннего утра, и с раннего же утра пошёл дождь. Топая по большаку до кривули, мы то и дело оглядывали небосвод, надеясь увидеть хоть небольшой просвет, хоть лоскуточек голубого неба среди громоздившихся друг на друга нерадостно-серых туч. Но надежды были напрасными: дождь лил, пока мы шли по болоту, по лесу, и когда мы пришли на Сеянгу, и когда ловили рыбу около Овчинниковской мельницы. Не промокшими у нас оставались только спички, мы хранили их за пазухой, завернутые в серебряную бумажку из-под чая – полиэтиленовые пакеты были в ту пору ещё большой редкостью. Дождь лил с утра и до вечера, а к вечеру мы пришли на Стойловскую мельницу и на ночлег устроились не на деревянном настиле, а перешли по перекаату, зачерпывая воду в сапоги, на другой берег и там облюбовали местечко под двумя огромными, развесистыми ёлками.

Ёлки росли почти вплотную друг к другу, внизу, под ними было сухо и хорошо, как будто дождь и не поливал целый день. Мы приволокли под ёлки большую колоду, устроив из неё скамейку, натаскали кучу дров (а дождь всё шёл и шёл), развели большой костёр, развесили вокруг него мокрую одежду и, оставшись в одних трусах, начали чистить рыбу и варить уху. В рюкзаке у меня лежала бутылка «Можжевельной» тридцатиградусной настойки, так что перспектива простудиться и заболеть нам не грозила. Колька прихватил из дому игральные карты, и пока варилась уха, сушил их у костра, разложив на скамейке-колоде.

И вот, выпив настойки и крепко перекусив, мы устроились на колоде играть в «подкидного».

Если б кто-нибудь посмотрел на нас в ту ночь! Кругом тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, а под двумя ёлками жарко пылает костёр, и мы с Колькой, как два леших, сидим в одних трусах на колоде и тузим в «дурака», оглашая лес смехом и восклицаниями типа: «Тасуй!», «Бито!», «А я под тебя – дамочкой!». А с неба на лес, на реку, на наши ёлки льёт и льёт почти уже осенний августовский дождь.

Под утро, когда хмель из наших голов вышел, мой приятель предложил «зачифирить». Отец Кольки, дядя Боря, сидел за хулиганство в тюрьме и там пристрастился к крепкому чаю. Колька видел и знал, как нужно чифирить.

Мы вскипятили чайник, всыпали в кружку целую пачку чая, настояли, процедили содержимое сквозь Колькину ситцевую рубаху в другую кружку, и стали по очереди прихлёбывать из неё по маленькому глоточку, сопровождая каждый глоток затяжкой отсыревшего «Беломора».

Чифир оказался горьким-прегорьким, но мы, храбрысь друг перед другом, выпили всю кружку, не почувствовав никакого «кайфа». Наоборот: головы наши налились тяжёлым дурманом, а минут через двадцать и я, и Колька почувствовали подступающую к горлу тошноту. Ну и пошло же нас чистить! Мы по очереди бегали к реке – блевать, между тем как дождь потихоньку кончился и на лес, на мокрые пожни начал опускаться густой белый туман.

Утро над Сеянгой встало солнечным и волшебным. Мы с Колькой не торопились вылезать из-под ёлок на белый свет, мы ждали: пусть солнце поднимется повыше, пусть роса хоть немножко пообсохнет на траве и листьях.

Выжатые, как лимоны, после распроклятого чифира, мы наслаждались тем, что нет дождя (комары к концу августа тоже сходили на «нет»), что вот оно – солнышко, такое родное и тёплое... Каждая травинка, каждая иголочка тянулась к нему, птицы в лесу, так же промокшие и озябшие, как и мы с Колькой, потихоньку начинали пробовать свои голоса. И потом утро зазвенело, засвистело, запело...

А какой клёв был в то утро! Мы загрузили каждый почти по полрюкзака приличных «тяпунов», перемешав их с листьями крапивы. А потом согрели чайник и напились нормального, бодрящего чая с листьями чёрной смородины – для аромата.

Ах, чёрная смородина! Сколько росло её тогда возле Стойловской мельницы! Один раз мы с Генкой Бахметовым взяли из дома побольше сахарного песка, нарвали ягод и сварили из них варенье на костре. Варенье получилось на славу, мы сидели на нашей деревянной площадке, пили чай и сопровождали каждый глоток полной ложкой варенья...

Я ходил на Сеянгу и до, и после армии – вплоть до того, как переехал жить в Архангельск. Последний раз я был на реке в 90-е годы прошлого века, уже после учёбы в Литинституте. Ко мне в Архангельск приехал в гости из Харькова мой однокурсник, поэт Костя Савельев, и мы с ним рванули на мою родину, в каргопольские края. И как-то с раннего утра отправились на Сеянгу. Дело было уже в сентябре, в разгар листопада, когда вода в Сеянке становилась тёмной с красноватым отливом и харьюз переставал клевать.

Пошли мы на реку по третьей – лесовозной дороге, выходившей на третью – Исаковскую мельницу, стоящую выше Стойловской километров на восемь. Дойдя до реки, стали спускаться вниз по течению, пытаясь поймать на удочку хоть одного харьюзка. Рыба упорно не клевала. Костя ворчал себе под нос что-то насчёт мушки, на мушку, дескать, харьюза нужно ловить или на блесну! По дороге на реку мы встретили в лесу партию геологов, перекурили с ними, и один бородач, узнав, что мы идём ловить харьюзов, спросил: а какие, дескать, у вас блесны?

Кстати сказать, это был второй Костин поход на Сеянгу, первый раз мы с ним ходили на реку летом – я тогда жил ещё в деревне, мой приятель приезжал ко мне в гости. Ему ужасно понравились наши места, от ночёвки же под ёлкой на Овчинниковской мельнице (на Стойловскую мы не ходили) и от пойманных тогда харьюзов он был вообще без ума.

В сентябре же мы с моим другом-харьковчанином намотали километров тридцать, не поймав к тому же ни одной рыбёшки. Да я ещё был ужасно потрясён и поражён одним обстоятельством: я не узнал Стойловской мельницы, когда мы дошли до неё, спускаясь по берегу вниз по течению реки. Сруб – ладно, сруб частично сожгли в кострах мы с ребятами, частично его разобрало по брёвнышкам и унесло весенним половодьем. Дело было даже не в том, что сруб исчез: то место – деревянная площадка, где мы всегда ночевали, и сам берег реки, подходящий к перекату, заросли высокой густой ольхой. Ольха спрятала в своих зарослях,засыпала пожухлой листвой жернова и ступы, и если бы не запруда и перекат, я б не узнал Стойловскую мельницу.

Потрясённый увиденным, я смотрел на деревца, выросшие на месте нашего кострища, и чуть ли не слёзы катились по моим щекам. Как безжалостно время, как беспощадно оно к нам!..

Дорогу домой от Стойловской мельницы я справить не мог, и нам с Костей, уже без того ужасно уставшим, пришлось идти до Овчинниковской мельницы, а оттуда – по лесу и по осеннему, полному воды болоту – до кривули. По большаку мы брели уже еле-еле и до дома добрались в полной темноте.

Я шёл, молча думая о своём, переживая увиденное: около Овчинниковской мельницы лекшмаки давно уже не косили, и берега тут тоже стали потихоньку зарастать ольхой и ивняком. Река моего детства изменилась, причём в худшую сторону, но сердце моё, пока я жив, всё равно остаётся и будет оставаться там...

Кстати, Костя Савельев написал о нашем походе хорошие стихи:

...Оттеплоило северное лето.
На бруснику сбросив рюкзаки,
Люди доставали сигареты
У тенистой, маленькой реки.
И вздохнул задумчиво геолог,
Замолчал на несколько минут.
А напротив вышли из-под ёлок
Двое, по всему – туземный люд.
Встали, поздоровавшись, в сторонке,
Удочки да ягоды в горсти,
Ветхие фуфайки да кепчонки, –
Папуасы, Господи, прости.
И вздохнул геолог бородатый,
Пред народом чувствуя вину.
И спросил: «Как хариус, ребята,
Не берёт, бродяга, на блесну?»
Папуасы – кудри смоляные –
И один, разбойничьих кровей
Хохотнул: «Так ловят городские,
а мы тут – только на червей!»
И опять качались ветви ёлок,
Дождик собирался в облаках.
И вздыхал задумчиво геолог
О дремучих русских мужиках.
Саша, милый, помнишь ли об этом,
Как, свою судьбу боготворя,
Хариуса два шальных поэта
Целый день ловили на червя?
... Облетит с деревьев позолота,
Первый иней дрогнет на кустах,
И поспеет клюква на болотах
В самых топких, гибельных местах.
И опять закрутит, заласкает
Ветер, сумасшедший и хмельной.
...Господи, кому судьба какая?!
Мне уже не надобно иной...

Да, пусть теперь далеко от меня река моего детства, пусть недоступна, – всё равно я часто вижу её во сне, и в редкие минуты душевного покоя мысленно бываю на её берегах, брожу по сенокосным пожням, стою с удочкой на весёлом перекате, сижу у костра под ёлкой или на площадке у Стойловской мельницы, вдыхаю смолистый запах дыма...

И на душе моей от этих воспоминаний делается горько и сладко...

«ТЕБЕ, ПАРТИЯ! ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!»

Впервые я попал на литературное сборище в 1980 году, в возрасте 26 лет. В моём творческом «багаже» имелось всего-навсего десяток стихотворений, имеющих весьма косвенное отношение к тому, что называется поэзией.

Писать (осознанно!) я начал поздно, Лермонтов, например, в 26 лет уже был убит! Нет, писать-то я писал, но в основном это были слабые подражания Есенину, со стихами которого я познакомился в ранней юности и до ухода в армию «нашлёпал» аж две общих тетради рифмованных строк. До сегодняшнего времени они не сохранились, о чём я ничуть не сожалею, а из тех десяти стихотворений, с которыми приехал на вышеупомянутое сборище, в свои будущие книжки я включил только два.

Можно сказать, что пребывание моё в течение нескольких дней в среде настоящих литераторов и стало той отправной точкой, когда я понял, КАК надо писать стихи.

«Дожив без всяческих трудов до двадцати пяти годов» в своей деревне, я варился в собственном соку, и несколько графоманских подборок в районной газете «Коммунист» давали право землякам именовать меня «поэтом», причём слово это приобретало в их устах униженный, чуть ли не презрительный оттенок:

– Паёт! – смеялся мне в лицо совхозный ветврач Василий Васильевич Тарасов. – Тютчев!

Ветврач по жизни был человеком язвительным, в чём-то обиженным судьбой (может быть, он мечтал людей лечить, а стал коновалом), сводила же нас игра в карты во время обеденного перерыва в совхозной столярке. Кто только ни набивался в столярку, чтоб в обеденный перерыв в карты сыграть, – и шофера, и слесаря, и плотники, и даже вот – пожалуйста! – ветврач.

Только начальник совхозной пилорамы Александр Андреевич Ромшин, по прозвищу Сашка Царёв, Царство ему Небесное, говаривал, бывало, под рюмочку, а точнее – под гранёный стакан:

– Эх, Шурка, люблю я твои стихи! Как увижу в «Коммунисте», так по несколько раз перечитываю. Тебе надо дальше двигать, вот пускай бы тебя в «Правде Севера» напечатали – на всю бы область прогремел!

Как сказал и доказал бразильский писатель Пауло Коэльо в своём знаменитом романе «Алхимик», у каждого в жизни свой Путь, и нужно не сидеть на месте, а идти по этому Пути, даже если ты будешь сидеть, а Путь тебе предназначен, всё равно найдётся кто-нибудь, кто возьмёт тебя за руку, выведет на этот Путь, даст пинка под зад и скажет:

– Иди!

Всё получилось само собой: у нас в деревне гостил уже вышедший на пенсию дядя Саша Воронин, а под Шенкурском, тоже в деревне, отдыхала у своего брата его жена – Мария Степановна, приходящаяся тёщей северодвинскому поэту Александру Ипатову. Ипатов же, в свою очередь, был женат на моей двоюродной сестре Тане, которая ехала когда-то «к бабушке Ульяне на коне Баяне».

Телеграмма о смерти Марии Степановны (скончалась она скоростижно – тромб в сосуде сорвался) пришла к нам врасплох – нужно было копать картошку, дядя Саша только что вышел из десятидневного запоя, его трясло и колотило, как самого настоящего алкаша, денег на поездку на похороны у него не было.

– Куда я один такой поеду? Манька, Манька, что ты наделала!? – горевал Александр Иванович, сжав обеими руками седую свою, похмельную голову.

– Саша, – смотрел он на меня невидящими глазами, – не бросай меня. Поехали со мной. Только вот денег на дорогу надо найти, а после похорон я расплачусь.

Денег мы нашли и двинули в другой конец области – на похороны, куда прибыли также из Северодвинска две сестры покойной, другая родня, а также моя кузина Татьяна с Сашей Ипатовым, которого я не видел лет десять. Он был уже к этому времени известный в своем городе поэт и диссидент. Шура (далее я буду называть Ипатова Шурой) несколько удивился, узнав, что я пробую писать стихи.

Поминки по тёте Маше справляли шумные, причём несколько дней. Мы с Шурой бегали по подвесному мосту, натянутому через бурную, довольно-таки широкую реку. Лететь в соседнюю деревню за «Пшеничной» водкой, и потом пили «Пшеничную» в летней кухне около дома брата покойной, в котором и проходили поминки.

Шура, поражённый моим невежеством в области познания современной, да и вообще поэзии, читал мне целые лекции на заданные самим же собой темы, открывал мне все новые и новые имена классиков и современников, шпарил наизусть чужие и свои стихи. Причём во время этих лекций мы не забывали наливать себе в стакашки, как бы подогревая изнутри интересное наше собеседование. На улице кончался сентябрь, окрестные леса горели жёлтым и багряным пламенем, по утрам на ржаной стерне в ближнем от нас поле лежал белый иней.

Скосили рожь. А я её не видел

И вряд ли от пшеницы отличу,

читал Шура и мне ужасно нравились эти строчки. Так вот, под чтение стихов в летней кухне с видом на сжатое ржаное поле и сошлись мы с Ипатовым на многие годы вперёд. После похорон всей родней поехали в Северодвинск, где Шура познакомил меня с Фёдей Михайловским, о чём я уже говорил выше. Перед нашим расставанием (мне нужно было возвращаться в деревню) пообещал:

– В ноябре в Архангельске будет проходить областное совещание молодых литераторов, и мы тебя обязательно на него пригласим. Официальный вызов оформим – ты же молодой и начинающий!

Под понятием «мы» он имел в виду себя и поэта Валерия Аушева, проживавшего тогда в столице Беломорья и имеющего в здешних литературных и чиновничьих кругах определённый вес.

Официальный вызов в ноябре мне не пришёл. Шура вызвал меня на телефонный разговор:

– Слушай, – сказал он в трубку, – вызов на совещание делается через райком комсомола – совещание-то молодёжное. Мы позвонили в ваш райком насчёт тебя. Там сказали, что ты по собственному желанию выбыл из рядов ВЛКСМ пять лет назад. И вообще – там есть сведения, что ты не очень-то на хорошем счету в определенных органах состоишь и что за пределы вверенного им района они тебя никуда не выпустят. А я что скажу? – плюнь на всё и приезжай экспромтом. Бумагу, чтобы тебе прогулов на работе не наставили, мы здесь выправим.

– Ни хрена себе! – подумал я, напроць убитый таким нелестным отзывом о своей личности районных комсомольских вожakov. И после некоторого раздумья решил всё-таки ехать: сколько можно сидеть в деревне безвылазно, как щедринский премудрый пескарь под своим камнем?

Утром явился в кабинет директора совхоза и заявил ему, что меня вызывают на совещание молодых литераторов (а бумагу потом привезу) и через час авиарейсом убываю в Архангельск. И убыл...

Совещание молодых литераторов области проходило в здании облисполкома (ныне – областной администрации) и почему-то под лозунгом «ТЕБЕ, ПАРТИЯ! ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!» В коридоре на третьем этаже у входа в зал заседаний Ипатов с Аушевым долго доказывали что-то насчёт меня красивой и фигуристой комсомольской богине по имени Татьяна. Богиня, поводя перед их лицами высокой соблазнительной грудью, подозрительно смотрела на меня, сидящего скромненько на стуле возле стенки и выговаривала моим защитникам:

– Нелестные отзывы не дают нам право... Кто вам поручал вызывать его?.. С вами хлопот не оберёшься, а тут ещё...

Я, слушая обрывки её реплик, смотрел в пол, чувствуя, как краснеет мое лицо и уши постепенно становятся горячими – от стыда.

Вдруг подошёл Шура и хлопнул меня по плечу:

– Всё в ажуре! Ты – полноправный участник совещания! Место в гостинице будет, жратва в ресторане бесплатная. Давай внимай и запоминай, мотай всё себе на ус. А я – обратно в Северодвинск!

После смерти тёщи Ипатов занимался разменом жилья, и размен выпал как раз на первые два дня совещания. Он уехал, а я

остался сидеть в зале, наполненном молодыми (и не очень) литераторами, приткнувшись, чтоб не привлекать к себе особого внимания, на последнем от сцены ряду, в уголочке.

Я клял себя последними словами за опрометчивый свой поступок. «Зачем понесло меня на это совещание? – вертелось в голове. – Никого тут не знаю, вон – какие умные речи говорят с трибуны, а я – ни бе, ни ме, ни ку-ка-ре-ку. Да и какой я, на хрен, литератор?! Сидеть бы сейчас в столярке да в карты с мужиками играть!»

Мне, действительно, было не по себе, я чувствовал себя среди всего этого сборища белой вороной, мне всё казалось пугающе новым, странным и чужим. Ощущения мои было сродни... Ну вот если завести сугубо городского человека в чашу леса и оставить его там одного. Если горожанин ни разу не был в лесу, что он испытает, какие ощущения? Какие чувства его охватят?

Примерно то же самое испытывал я сейчас: прожив двадцать шесть лет в деревне (два года армии не в счёт), общаясь только с деревенскими мужиками, – что я мог противопоставить этим пятидесяти с лишним молодым (и не очень) литераторам, красиво, по-городскому, одетым, виртуозно читающим свои стихи в коридоре и в туалете, причём два последних помещения называются у них почему-то «кулуарами».

В кулуарах то один литератор, то другой подходил ко мне и спрашивал: кто, откуда, что написал, где печатался? Я что-то невразумительно мычал в ответ: дескать, я тут случайно, с Ипатовым (а Шуру знали все), а он вот бросил меня, оставил вместо себя, квартиру разменивать уехал. Мое деревенское твёрдое «о» вызывало улыбки у случайных собеседников. Такая же улыбка появилась на лице руководителя совещания, областного литературного метра Николая Андреевича Журавлёва (да будет земля ему пухом!), про которого поэт Коля Антонов сочинил такие строки:

Он сюда из ивановских недр
Прибыл славить зарю коммунизма.
Я же знал, что в стихах этот метр
Занимался сплошным онанизмом...

С Журавлёвым я случайно оказался за одним столом в ресторане во время обеда, и моё неумение правильно держать столовые приборы заставило его снисходительно улыбнуться. Улыбнулся и сидевший тут же северодвинский поэт Степан Кулабухов, увидев, как «умею» орудовать я ножом и вилок.

Я ж, напрягшись внутренне и покраснев наружно, кое-как выхлебал суп, второе же, не умея с ним обращаться, потерзал немножко, и хотя от одного вида второго у меня текли слюнки, пробормотав «...не голодный», я встал из-за стола, вышел на крыльцо гостиницы «Юбилейная» (ныне «Двина») и закурил «термоядерную» «Приму». Вид людей и машин (столько в деревне нет!), текущих по тротуарам и проезжей части «павлиновки», ещё более поверг меня в уныние, как поверг бы одинокого горожанина непроходимый лес.

Я дождался на крыльце, пока всё крикливое, шумное совещание не выкатилось из ресторана и не двинулось по проспекту Павлина Виноградова к зданию облисполкома – на послеобеденное заседание, и поплёлся в хвосте его.

Во второй половине дня перед литераторами выступал представитель областного КГБ, я даже фамилию его запомнил – Личутин. Он долго и терпеливо рассуждал о литературе, о том, что главная задача молодого писателя – отображать нашу советскую действительность с точки зрения соцреализма. Рассказывая же о литературном процессе на Западе, Личутин показал нам издалека некоторые книжки, изданные ТАМ, в том числе и «Архипелаг ГУЛАГ».

– Э-э-э, простите-извините, уважаемый товарищ, нельзя ли у вас попросить почитать, – поднялся с места один из начинающих лысеть литераторов, – не дадите ли на время э-э-э... «Архипелаг»...

– Как вас зовут? – ответил вопросом на вопрос представитель КГБ.

В президиуме заволновался Журавлёв, показывая залу из-за спины Личутина страшные глаза и грозя кулаком лысоватому выскочке.

– Прозаик Геннадий Аксёнов из Северодвинска! – бойко отрапортовал литератор, виновато и глупо улыбаясь на журавлёвский кулак. – Ну нельзя так нельзя, я ведь по простоте душевной, – и сел на место.

Кегебист выступал перед совещанием не просто так – на некоторых его членов, в том числе и на моего родственника Шуру Ипатова, были заведены дела в этой суровой организации (Аксёнов к данной когорте не относился, он действительно – по простоте душевной). Впоследствии там «засветился» и я. Но – слава Богу! – грянула перестройка, и когда теперь «...госбезопасность припомнит наши имена»?.. КГБ ушло в небытие, а ФСБ литераторы не интересуют, впрочем, литераторы теперь никого не интересуют, а у местной власти они – как бельмо на глазу: помещение им выдели, стипендию дай, да ещё и деньги на издание журнала. Нет, в те времена власть была более заинтересована в писательском труде...

Сидя на отшибе, в уголочке, я пытался запомнить имена и фамилии выступающих вслед за кегебистом поэтов и прозаиков. В «кулуарах», где участники совещания общались более свободно, фамилии звучали чаще. К концу первого дня занятий я знал в лицо поэта Владимира Ревенчука, у которого только что вышел поэтический сборник «Ночные вахты», супругов из Северодвинска Николая Князева и Людмилу Плужникову, пишущих стихи, поэта Анатолия Подволоцкого из Архангельска, поэтессу Людмилу Мусонову из Котласа... Но больше всех мне запомнились имена Николая Антонова и Людмилы Жуковой. Судя по разговорам в кулуарах, это были самые талантливые поэт и поэтесса на этом совещании.

Антонова я уже тоже знал в лицо: по ходу совещания он подавал с места неприятные для президиума реплики, Николай Журавлёв резко одёргивал его, а после одной из реплик попросил вообще покинуть аудиторию. Антонов не вышел, но замолчал до конца дня.

А Жукова... Жукова заглянула вечером в двухместный гостиничный номер, где должны были располагаться мы с Шурой. Спросила:

– Ипатова нет? А ты чего сидишь тут один? Пойдём к нам.

Я и пошёл за ней туда, где собрались литераторы-северодвинцы, человек десять. На столе у них стояло несколько початых бутылок водки и сухого красного вина «Каберне». Мне налили, спросили про Ипатова, попросили почитать что-нибудь своё. Я выпил, прочёл первое же, пришедшее в голову стихотворение из общей тетради, захотел исправиться, прочитал что-то ещё хуже, и – сник, как-то сразу почувствовал со стороны собратьев по пиру холодок отчуждения и превосходство надо мной.

Никто ничего не сказал о моих стихах, все вдруг оживлённо заспорили о каком-то новом романе, только что вышедшем в «Новом мире», о котором я ни сном, ни духом... А, впрочем, обо мне уже забыли, на меня уже не смотрели, я был здесь лишним и неинтересным. Я поднялся, чтоб уйти. Жукова напутствовала меня такими словами:

– Слушай, тебе сколько лет? Двадцать шесть?! Знаешь, в твоём возрасте уже поздно начинать писать. Ты опоздал. Не пиши, – и отвернулась, возвращаясь к спору о неизвестном мне романе.

Униженный и оскорблённый, я поплёлся в свой номер и стал с высоты восьмого этажа смотреть в окно – на огни большого города. Я чувствовал себя самым разнесчастным человеком на земле. Самым разнесчастным и самым одиноким.

На столе, возле телефонного аппарата лежала книга с номерами абонентов города и области. Я стал перелистывать её, и вдруг наткнулся на свой район, на название моей родной деревни. В книжке был даже обозначен номер телефона красного уголка нашей деревенской фермы. Я живо представил себе «красный уголок», представил, как пахнет в этом «уголке» парным молоком и коровьим навозом, как сидит в нём у покрытого выцветшей клеёнкой стола мой приятель и собутыльник Колька Богданов (он всю эту неделю в ночь дежурит на ферме) и потягивает из гранёного стакана принесённый с собой «Вермут».

Мне нестерпимо захотелось из этого уютного меблированного и полированного гостиничного номера туда – в «красный уголок», где стоит такой родной навозный запах, где никто не говорит заумные речи, где блаженствует за столом с «Вермутом» Колька Богданов и ничуть не ощущает себя белой вороной.

Я стал набирать обозначенный в книжке номер, думая: вот сейчас поговорю с Колькой и на душе станет легче! Но на ответные короткие гудки в трубке только вздохнул, как тот герой анекдота, говоривший: «Телефона, телефона, чукча кусать хочет!» – я не знаю, как позвонить на ферму, как «выйти» из Архангельска на район, и можно ли выйти? Не знаю...

Тяжело вздохнув и посидев с трубкой в руке какое-то время, я положил её на рычаг, снял покрывало с уютного диванчика, постелил чистенькое, хрустящее и пахнущее крахмалом бельё, разделся и лёг под одеяло, мстительно мечтая о том, что вот наберусь храбрости и выскажу этим умникам всё, что я о них думаю.

— Хорошо вам тут сидеть и о высоких материях рассуждать, — мысленно дискутировал я с ними, — вы попробовали бы в совхозе поработать, дерьмо из-под коров повыгребать, с брёвнами да кирпичами повозиться — небось попроще бы немножко стали. Вон, в деревнях молодёжи — кот наплакал, все в города бегут, лёгкой жизни ищут. А кто бурёнушек доить будет, молоком-мясом страну кормить?..

Примерно в таком духе и высказался я сутки спустя, в одном из гостиничных номеров. Но это было сутки спустя, а на утро, после завтрака в ресторане, — слава Богу, на завтрак подавали кашу, её можно было есть, не прибегая к помощи ножа и вилки — молодых литераторов повезли на двух автобусах на экскурсию по Архангельску — к памятникам жертвам интервенции (когда мы поступали в Литинститут, Коля Харитонов, работая дворником, убирал участок как раз около этого памятника) и Михайле Ломоносову.

А потом был обед в ресторане, который я проигнорировал, купив в каком-то деревянном магазинчике холодные пирожки с рыбным фаршем и сжевав их в подворотне близ «Юбилейной».

С одной стороны, я даже был доволен тем, что больше никто не лезет ко мне с расспросами, никто даже как бы не замечает меня. Я смирился в душе со своей творческой несостоятельностью и ничтожеством, и вёл себя, как абсолютно посторонний человек на этом пире поэтического духа, как Остап Бендер, попавший на конгресс почвоведов. Тем не менее мне интересно было посмотреть на посетивших совещание «старших товарищей» — Николая Жернакова и Анатолия Лёвушкина. С высокой трибуны они напутствовали молодых, благословляя их на творческие подвиги во имя партии и комсомола. Иначе им, наверное, и нельзя было говорить, нельзя не произнести слова о партии и комсомоле. Молодые литераторы пришли в восторг от посещения местных «маститых» — это придавало значимости совещанию, им самим, они бурно аплодировали как Жернакову, так и Лёвушкину.

...Самое страшное для меня произошло ближе к вечеру: участников форума начали сортировать по три, по два и по одному человеку с целью отправить их в разные коллективы и культурные учреждения областного центра — для выступления перед народом, то бишь рядовыми читателями. Как же! — архангелогородцы знают, что под самым боком у них проходит совещание молодых поэтов и прозаиков (об этом объявляли областные СМИ), и они непременно должны лицезреть самих литераторов и послушать их.

Форум с пылом и радостью воспринял это известие: ещё бы! — каждому хотелось себя показать! Каждому, только не мне. Как я ни старался потихоньку улизнуть из зала, как ни прятался за чужие спины — пышногрудая комсомольская богиня, по имени Татьяна, не выпускала меня из поля своего зрения.

— Та-ак, — оценивающе протянула она, подходя ко мне, — вы, товарищ из Каргополя, поедете в паре с..., а вот, Алексеем Трапезниковым, — и подвела меня к поэту из поморского села Ненокса, у которого только что вышла книжка «Глухарина рада» и которую он раздавал с личным автографом участникам совещания. Мне такая книжка не досталась: кто был на этом форуме Трапезников, и кто — я?

Автор «Глухариной рады» снисходительно похлопал меня по плечу, и мы спустились с ним на улицу, к подъезду, где нас должна была ожидать машина.

Душа моя потихоньку уходила в пятки: перед кем и как я буду выступать с моим-то дефектом речи да графоманскими стихами?! Я бы с удовольствием сбежал сейчас куда глаза глядят, тем более что на улице уже стемнело, но у подъезда, действительно, стояла предназначенная нам с Трапезниковым «тачка» — зелёный «козёл» с воинскими номерами. В «козле» сидел офицер — старший лейтенант с красными петлицами, и шофёр — солдат-краснопогонник срочной службы.

Нас повезли. Алексей Степанович беседовал с офицером, тот говорил с Трапезниковым уважительно — назывались имена известных и читаемых всей страной писателей: Абрамова, Астафьева, Распутина. Я молчал и прятал нос в воротник своего «дерибасовского», по выражению Шуры Ипатова, пальтеца. И продолжал накручивать себя: ну где я когда-нибудь выступал со своими стихами? — разве что перед пьяными столярами, где вся аудитория — пять человек, но ведь свои, знакомые и в поэзии мало что соображающие. А тут... Да куда хоть нас везут-то, в конце концов?!

Трапезникова выпустили возле какой-то военной проходной — в темноте я рассмотрел красные звёзды на её воротах. А меня, совсем упавшего духом, повезли дальше.

— А мы с вами на таможеню едем, — благожелательно заговорил со мной старлей, оказавшийся впоследствии замполитом Н-ской части, — личный состав уже ждёт.

— Вот так ни фига! — испугался я, подумав, что личный состав — это чуть ли не целый полк. И облегчённо вздохнул, когда меня провели в небольшую солдатскую столовую, где за сдвинутыми столами сидело человек двадцать пять солдатиков.

Замполит представил меня: начинающий поэт, зовут так-то и так-то, сам сел за моей спиной на стул, оставив меня лицом к лицу с аудиторией. И тут — то ли Бог, Которого молил я в душе всю дорогу, помог мне, то ли я вспомнил, что сам каких-то шесть лет назад был таким же вот солдатиком, — волнение покинуло меня, заикание тоже куда-то ушло, и я начал шпарить стихи Рубцова — одно за другим, предварительно рассказав солдатикам о трагической судьбе Николая Михайловича. Потом я перешёл на свои графоманские стихи, причём на аудитории это никак не сказалось, — ребята слушали меня внимательно, приоткрыв рты.

Потом они начали задавать вопросы: как рождаются стихи, почему даже после смерти не печатают Высоцкого и ещё о многом, в основном — о литературе: солдатикки оказались начитанными, не зря они служили на портовой таможне, где проверялись на предмет ввоза в страну недозволенных вещей, в том числе и книг, наши и иностранные суда.

Я, расхрабравшись, вдохновлённый собственным успехом, отвечал: дескать, мы — поэты, у нас — у поэтов... Пересказывал им кой-какие литературные байки, услышанные от Ипатова, а на вопрос, где я печатаюсь, отвечал: пока, вот, в «Коммунисте», но скоро меня опубликуют в Москве, может быть, даже (надо же так наврать!) в «Литературной газете».

Итак, первая официальная моя встреча с читателями прошла успешно и закончилась благополучно. Солдатики похлопали, замполит повёл меня не к выходу, а в отдельную комнату, где был накрыт стол на двоих, и, подмигнув мне, достал из сейфа бутылку водки. Мы плотно поужинали, опорожнили пол-литра и отправились на том же «козле» в обратный путь — замполиту было поручено отвезти меня в гостиницу.

Разгорячённый водкой и своей «значимостью», я беседовал с ним уже на равных, хотя наверняка нёс какую-то ахинею.

«Козлик» подвёз меня к парадному «Юбилейной», я попрощался с офицером и солдатом, и как на крыльях взлетел на лифте в свой номер, мысленно благодаря Шуру Ипатова за то, что он более-менее скрасил мой деревенский вид: я ведь прикатил к нему в стареньком свитере и неглаженных брюках. Шура выделил мне свой костюм (благо, мы с ним почти одинаковой комплекции), рубашку с галстуком. В ипатовском одеянии я выглядел более-менее прилично, солдатикки могли меня, действительно, принять за начинающего поэта, да и в аудитории на совещании не так стыдно было находиться среди выложенных, парадно-джинсовых городских литераторов. Правда, моя причёска «не один я в поле кувыркался, не одному мне ветер в ж-опу дул» принижала впечатление от костюма, но в конце концов кумир моей юности Сергей Есенин писал: «Я нарочно иду нечёсанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах...»

Я влетел в свой номер, снял пальто, достал сигарету, выключил свет и стал смотреть с высоты восьмого этажа на залитый электрическим огнём город. Под влиянием выпитого и после «успешного» выступления на таможне, Архангельск уже не казался мне таким страшным, как вчера. Я сидел в темноте, курил и в мыслях своих возвращался в деревню. И почему-то вспомнился мне поэтический свой «дебют» в газете «Коммунист»...

Один раз, или, если выразиться более грамотно, — однажды я решил послать свои стихи в районку: мне очень хотелось сделать приятное девушке, с которой состоял в переписке. Девушка эта (её звали Ольгой) жила в далёком Челябинске и как-то летом приехала к нам в деревню — в гости к родственникам. Незадолго до её отъезда мы познакомились, погуляли несколько вечеров по деревенской улице, покачались на качелях, ни разу даже не поцеловавшись. И тем не менее между нами началась переписка.

Я, признавшись себе втайне, что влюблен в Ольгу, послал ей несколько своих виршей (одно стихотворение было с посвящением ей) «а-ля Есенин», она же в ответном письме очень деликатно намекнула, что уже где-то читала что-то

подобное и что очень даже некрасиво выдавать чужое за своё.

Отослав стихи в районную газету, я надеялся на публикацию, коей хотел доказать Ольге, что вирши мои – не плагиат. И через месяц, действительно, увидел свои вирши в «Коммунисте». Это было в марте 1978 года: к нам в Каргополь приезжали в творческую командировку два вологодских литератора – прозаик Сергей Багров и ныне покойный Сергей Чухин. В связи с их визитом в районке и вышла целая полоса под рубрикой «Литературная страница», содержащая рассказ Багрова, подборку стихов Чухина и – рядом с фотографиями метров, в узкой длинной колонке – два моих стиша под рубрикой «Проба пера» и пару слов обо мне: родился и живёт там-то, работает там-то.

Приехав с работы домой, развернув «Коммунист», я увидел там свою фамилию, стихи и... испугался. До сих о моих поэтических опытах знали два-три человека, а тут вдруг – на весь район, тиражом в шесть с половиной тысяч выходит моя фамилия!.. Я пробежал глазами свою подборку раз, другой, третий... Испуг сменился чувством удовлетворения и гордости: вот наконец-то свершилось то, о чём я мечтал – мои стихи напечатаны в газете. И не как-нибудь там, а рядом с двумя настоящими писателями! Наверняка ведь Багров с Чухиным, будучи гостями редакции газеты, интересовались, есть ли в районе пишущие люди, наверняка, Чухин просматривал поэтическую почту (районка время от времени давала далёкие от настоящей поэзии вирши моих земляков) и посоветовал опубликовать именно мои «произведения». Раз посоветовал, значит, что-то он в них разглядел, значит, я могу считать замечательного вологодского поэта, ушедшего из жизни так же рано и так же трагически, как Николай Рубцов, своим «крёстным» на литературной стезе.

У меня дома хранится малюсенькая, состоящая всего из двадцати стихотворений, первая поэтическая книжечка Чухина, общественным редактором которой был – единственный раз в жизни! – Рубцов, высоко ценивший поэтический дар своего младшего коллеги-вологжанина. Следует ли из этого, проследив духовную цепочку, считать, что я прихожусь «внучатым крестником» Николаю Михайловичу?...

На следующий день после появления в районке «Литературной страницы», я, выйдя из дома, чувствовал себя как человек, которого вывели абсолютно голым перед огромным сборищем народа. Мне казалось, что из всех деревенских окон («Коммунист» приносили чуть ли не в каждую избу) на меня показывают пальцами и смеются: «Паёт! Вон идет паёт!»

Первые две недели примерно так и было: кто-то одобрительно похлопывал меня по плечу, кто-то смеялся откровенно как в лицо, так и за спиной, но были и такие, кто завидовал: «Надо же – в газету попал!» Да, две недели слава, вдруг свалившаяся на меня, не давала мне покоя, но потом всё потихоньку пришло в норму, стало на свои места.

Надо сказать, что, несмотря на насмешки, в душе я был доволен: Ольга в Челябинске уже знает, что я – не плагиатор, один экземпляр «Коммуниста» уже отправлен ей!

Конечно же, встреча с себе подобными – пишущими людьми – на областном совещании молодых литераторов, уязвила меня намного больше, нежели скептические ухмылки моих земляков: ОНИ МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ! Я сидел, курил у окна и думал о том, что стихи мои и в самом деле – плохие, что Людмила Жукова права – нечего мне тут воду мутить, я, действительно, поздно начал, а то что «Коммунист» время от времени публикует мои вирши – совсем ничего не значит...

Впоследствии, уже сам работая в газете, я понял, как редакционные работники относятся к стихам. Начинал я свою журналистскую деятельность в приморской районке «Ленинский завет», ответственным секретарём которой был сын покойного прозаика Николая Жернакова, также ныне покойный – Сергей Жернаков. Газета выходила три раза в неделю, перемалывая в своих «жерновах» кучу материала, требуя ещё, ещё и ещё. Сергей, вычитывая принесённые из типографского цеха полосы, кричал, подпрыгивая на стуле:

– На первой полосе – дыра! Козлов, Бибиков, давайте срочно информацию – дыру заткнуть!

Корреспонденты «Ветхого завета» (так называли сами работники свою газету) Козлов и Бибиков хватались за телефонные трубки, надеясь выудить откуда-нибудь из глубинки района срочную полезную информацию.

Время шло, полосы нужно было нести обратно в цех, Жернаков волновался:

– Бибиков! Николай Саныч! Давай какое-хоть-ни-то стихотворение – дыру заткнуть.

Николай Александрович, очень скромный человек, грешащий посредственными стишками, с готовностью подсовывал Сергею листок с «виршей». Жернаков читал и бросал листок в урну:

– Херовое! Не пойдёт! Срочно – информацию!

Информации не было... В конце концов, ответственный секретарь вытягивал из урны бибиковский листок с «виршей», разглаживал его и затыкал дыру на полосе:

– Хрен с ним! Сойдёт для сельской местности!

Такое вот отношение к стихам у газетчиков. А я-то думал, увидев очередное своё творение в «Коммунисте»...

Но вернёмся в «Юбилейную»: меня всё-таки понесло в номер, где сидели и пили похожее на чернила вино «Кабернэ» четыре молодых поэта из Северодвинска: Николай Князев, Степан Кулабухов, уехавший впоследствии куда-то в среднюю полосу России и ещё двое, фамилий которых я не запомнил. Последствия моего визита в чужой номер я описал в деревне, по возвращению с совещания:

Четыре городских поэта
без имени ещё и я
сидели в номере, согретом
от компанейского огня.
Закусывая ржавой килькой
какой-то кислый суррогат,
опустошённые бутылки
в солдатскийставляли ряд.
Поэты разбудить пытались
мой слабый деревенский ум.
Они шутили и смеялись.
А я был пьян и чуть угрюм.
Они меня спросили прямо
(нашёл на них такой вот стих)
про Бродского и Мандельштама,
что, дескать, знаю я про них.
А я им брякнул про удои
и про молочные стада,
про то, как племя молодое
из сёл тикает в города.
«По сёлам старики остались,
а вы кричите – мяса нет!»
...Поэты дружно рассмеялись
и дали мне такой ответ,
что в США, мол, три процента
от населения всего
за их там доллары и центы
все штаты кормит – и легко!

Я ничего в них не нашёл:
пришёл, увидел и... ушёл!

Да, я ушёл, презрев эти интеллектуальные разговоры городских поэтов, впустивших меня в номер только потому, что я приходился родственником Шуру Ипатову, которого они уважали и которому я также, вернувшись с совещания, посвятил и прислал такие стихи:

Закатилась в птичью стаю
белая ворона.
Галки, клювы открывая,
смотрят удивлённо.

Чернь воронья возмутилась:
«Что это за чудо,
почему здесь появилось
и взялось откуда?»

Воробьи смеются тоже,
крылышкам машут:
«Ой, на чучело похожа
родственница ваша...»

Продолжения стихотворения я теперь не помню, но «белая ворона» на совещании это, естественно, — я, и как же я несказанно был рад, когда проснувшись утром, обнаружил, что за столом сидит мой родственник Шура Ипатов, и румянец от ноябрьского морозца на его щеках ещё играет, и в румянце этом отражается свет настольной лампы. Шура приехал на совещание в последний день его проведения, он просто не мог не приехать: здесь были все его друзья-приятели по «творческому цеху».

...На заключительном заседании в президиуме, кроме Николая Журавлёва и Валерия Аушева, появился поэт Вадим Беднов — розовощёкий, с тугим животиком и шкиперской бородкой, Беднов, тогда ещё в меру выпивавший и благополучный. Сидел в президиуме и представитель из Москвы — хороший знакомый Ипатова, сравнительно молодой талантливый критик Святослав Педенко, написавший неплохую книгу «Лёд и пламень», посвящённую поэтам Архангельской и Вологодской областей.

Году где-то в 1982 мы с Шурой, будучи экспромтом в Белокаменной, закатились к нему на работу — в редакцию газеты «Литературная Россия», а потом втроём пошли в какую-то пивнушку, где, выпив «ерша» — «Жигулёвского», смешанного с водкой, — Педенко быстро запьянел, показав нам, что столичные литераторы дружат с «зелёным змием» ничуть не слабее, чем литераторы провинциальные. «Зелёный змий» и довёл Святослава до гробовой доски раньше времени, а тогда, в 1980 году он сидел в президиуме совещания рядом с Николаем Журавлёвым и мило улыбался залу.

В зал каким-то образом проник пьяный классик ненецкой литературы, также покойный ныне, Василий Ледков. Он всё время тянул руку в сторону президиума, обращаясь к Журавлёву:

— Коля! Ты меня слышишь, Коля!

Журавлёв, стараясь выглядеть невозмутимым, строил ему время от времени страшные глаза и одёргивал классика короткими фразами:

— Василий Николаевич! Минуточку внимания! Внимание!

Итог совещанию подвели следующий: Наталья Плужникова, Анатолий Подволоцкий и ещё несколько человек достойны опубликоваться в «Правде Севера», Степан Кулабухов и ещё человек шесть — в «Северном комсомольце». В план же Северо-западного книжного издательства поставлены поэтические сборники Николая Антонова и Людмилы Жуковой, а также коллективная «братская могила» — «Молодые голоса Севера», куда вошли почти все поэты — участники совещания, естественно, кроме меня.

Как говорилось потом в кулуарах, Журавлёв был резко настроен против включения в план антоновского сборника «До первого снега», но на издании его настоял Святослав Педенко. И сборник вышел в начале 1981 года, а вот жуковская книжка так свет тогда и не увидела.

Совещание объявили закрытым. Но народ не расходился, тусовался в зале и в коридоре, бурно обсуждая итоги совещания. Я скромно сидел в сторонке у окна, поджидая, когда из этой бучи выберется Шура Ипатов и мы пойдём в гостиницу. И вдруг ко мне подошёл сам Журавлёв. Приветливо улыбаясь, он посетовал на то, что не знает моих стихов, и хорошо бы было, если б я прислал их ему почитать — на адрес писательской организации. Мне ничего не оставалось делать, как согласно покивать головой и пообещать: «Да, пришлю обязательно», — думая про себя, что посылать-то и нечего.

Стихи мои (уже настоящие) попали окружным путем в Северо-Западное книжное издательство через четыре года, когда там готовился очередной сборник «Молодые голоса Севера». Моя подборка в этих «Голосах» вышла, но куца какая-то, стихи, которые я считал лучшими, в неё не попали, и не попали по милости Николая Андреевича — он принимал участие в обсуждении будущего сборника (естественно — в отсутствии авторов). Очередь дошла до меня, и вот какой оказалась реакция Журавлёва на стихотворение, где я написал про то, как на хуторе одиноко проживают дед с бабой, сажают огород, а по осени дед, сидя на крылечке, играет на гармонии «марши прошлых лет», отпугивая этим самым кабанов, расплодившихся окрест и покушающихся на дедов огород. Сначала кабаны боялись звуков гармонии, а потом привыкли и в тёмные осенние ночи лакомились картошкой в этом самом огороде.

Журавлёв сказал:

— Это стихотворение не пойдёт! Вы подумайте, подо что копают кабаны! Они под наш советский строй копают! Дед-то, сидя на крылечке, играет марши прошлых лет, значит — наши советские марши. А свиньи эти дикие не обращают внимания — копают картошку в огороде. Не пойдёт!

В советские времена, как для поступления в Литинститут, так и для вступления в Союз писателей требовались рекомендации членов местной писательской организации. Я же поступил и вступил туда и сюда, как бы игнорируя Архангельск, без всяких там рекомендательных бумажек. А если б они потребовались — неизвестно ещё, написал бы мне Журавлёв рекомендацию или нет.

Тем не менее, уже переехав в Архангельск и став членом областной писательской организации, которой ещё года два руководил Николай Андреевич, я не видел с его стороны никакого недоброжелательства, наоборот, он поручил мне написать статью в «Правду Севера» к 50-летию Инэль Яшиной, а также статью о творчестве Вадима Беднова в журнал «Позиция», который редактировал в последний год перед смертью.

Что же касается того обсуждения моих стихов... В лице Журавлёва на заседании редколлегии сборника присутствовал партийный чиновник, а не поэт. Если б наоборот, я не сомневаюсь, что выступление его было бы иным. Надо думать, что это самое чиновничество хоть и давало Николаю Андреевичу разного рода привилегии, но наверняка мучило как творческую личность. Да будет земля ему пухом...

* * *

Совещание закончилось, но номера в гостинице ещё на одну ночь были закреплены за его участниками. В «Юбилейной» началась грандиозная пьянка.

Во всех номерах восьмого этажа гремели бутылки, и раздавалась громкая речь поэтов и прозаиков, где-то читали стихи, где-то уже пели под гитару. В нашем с Ипатовым номере оказался «звезда» совещания – Николай Антонов. Мы понемножку выпивали, Николай с Шурой дискутировали по поводу стихов Жуковой, а я читал машинописную подборку антоновских стихов и восхищался ими – про себя – вот как надо писать!

Потом к нам присоединился друг Николая – Анатолий Подволоцкий. Я вступил с ним в какую-то дискуссию, задавая наивные вопросы. Подволоцкий, посматривая на меня свысока, вдруг заявил:

– Да мне с пятиклассником интереснее разговаривать о поэзии, чем с тобой!

Антонов, прислушиваясь к нашей беседе, уже порядком захмелевший, полагая, видимо, что я прикидываюсь (разве могут быть в родственниках у Шуры Ипатова люди неумные!?), бросил мне:

– Саша! Не стройте из себя дилетанта!

А я и на самом деле был дилетантом! И Ипатову было стыдно за меня перед Подволоцким, стыдно за то, что я – такой неотёсанный. А Антонову я чем-то понравился:

– Саша, ну почитай что-нибудь своё, ну почитай! – начал просить меня он.

Я стал перебирать в уме, что бы такое, не самое позорное, прочитать. Перебрал и ничего не нашёл. И вдруг в памяти всплыли две строфы начатого, но ещё не законченного стихотворения:

На небесах, как чёрные знамёна,
повисли тучи в пасмурной тоске.
Кричит сорока в мокром сосняке.
Кружась над лесом, каркают вороны.
Покой и тишь на вспаханных полях.
Молчит земля, раздавленная плугом.
Висит туман над потемневшим лугом
и влажно оседает на стогах, –
прочитал я.

– Во! Во! – задохнулся от восторга Николай. Он сам был сельским мужиком, точнее – выходцем из деревни, и ему это понравилось! Я немножко оживился: сам Антонов (а в кулуарах совещания он признан лучшим поэтом) хвалит мои стихи, пусть ещё и недописанные!

И мы допили водку и поехали вчетвером в кинотеатр «Русь» – там шёл наделавший в те годы много шума «Андрей Рублёв» Тарковского. Проходя мимо номера прозаика Владимира Истомина из Вельска, мы услышали ругань уборщицы:

– И когда только эти долбанные литераторы уберутся отсюда!

Дверь в номер была открыта, пьяный Истомин лежал на полу, уборщица вытирала блевотиину около его головы.

Кстати, на совещании Истомин был на голову выше других прозаиков: он учился в Литературном институте, у него вышли две книги рассказов – «Смолокуры» и «Деньги на соснах». Запомнился мне ещё тогда поэт Николай Тележкин из Коряжмы. Тележкин работал экскаваторщиком и стихи писал настоящие, крепкие. Не знаю, почему над ним, его стихами и профессией смеялся Анатолий Подволоцкий.

Запомнилась недоступная Инэль Яшина, у которой тоже вышла первая книга «Гремячий ключ», запомнился учитель Евгений Яковлев из Кехты, тоже с первой и единственной книжкой. Была ещё Надежда Теплухина из Няндомы – почти землячка, чуть ли не на коленях сидевшая у Валерия Аушева, к которому Шура Ипатов зашёл попрощаться в номер и завёл туда нас.

И ещё такой фрагмент: по коридору восьмого этажа «Юбилейной» шёл пьяный классик ненецкой литературы Василий Ледков с гордо поднятым над головой членским билетом Союза писателей СССР.

Остальные же имена и фамилии участников совещания потерялись в «лице не общем выраженья»...

«Андрей Рублёв» шёл в Архангельске в первый раз, и это, действительно, был самый «крутой» советский фильм того времени, но нас, хорошо подвыпивших, хватило только на первую серию. Потом мы покинули «Русь», поймали такси и поехали догуливать окончание совещания домой к Николаю Антонову, жившему тогда на Сульфате.

Он представил меня своей жене:

– Александр Росков из КГБ!

С Ипатовым и Подволоцким его супруга была знакома.

На столе появилась пара бутылок «Русской», мы выпили, и хозяин дома потребовал, чтобы я ещё раз прочитал свои «чёрные знамёна». И мне пришлось прочитать две свои строфы раза три или четыре.

– Чего ты к нему прилип? – вскинулся на Антонова его друг Подволоцкий. – Чего ты в нём нашёл?! – он явно ревновал меня к Николаю.

– Запомни, Толька, – ответил ему Николай, – этот парень пойдёт намного дальше, чем ты! И чем я!

Проснувшись утром, я сразу же вспомнил эти слова и впервые за все эти дни подумал: «А всё-таки хорошо, что я попал на это совещание!»

Действительно, мне стоило на нём побывать. Что в жизни не делается – всё делается к лучшему. Не приехал я тогда в Архангельск, может быть, так и сидел бы в деревне, писал плохие стихи, не зная, что они плохие, довольствовался бы званием поэта районного масштаба, публикациями в «Коммунисте», а в бурные годы перестройки и последующей за ней безработицы и безденежья влачил бы жалкое существование, перебиваясь редкими заработками на кладке и ремонте печей.

Да, совещание что-то перевернуло во мне, пусть таким путем, но такой путь, наверное, и был нужен в данной ситуации: у меня как бы открылись глаза, я понял, КАК нужно писать стихи и «холодом ума проверять то, что рождено в пламени вдохновения».

Что ни делается – всё к лучшему! Антоновские слова о том, что я пойду дальше Подволоцкого, вдохновили меня, вдохнули уверенность в свои силы.

Утром на похмельную голову Антонов пошёл провожать нас – без шапки, в одном пиджаке, в ноябре-то месяце! Жена его не пускала, но он всё равно пошёл, вырвав у неё со скандалом десять рублей.

Подведя нас к автобусной остановке, он с какой-то дерзновенной отвагой попрощался:

– Ну, давай, мужики! Вы – домой, а я – в пивную!

Так и остался Коля Антонов возле пивной, задержался с кружкой пива в руке на двадцать с лишним лет и стоит там на холоде в одном пиджаке и без шапки, сдувает пену с пива и машет нам рукой.

Эх, Колька, Колька! А ведь ты мог обойти стороной эту пивнушку! У тебя ещё в то время вышли стихи в журнале «Студенческий меридиан», в московском альманахе «Поэзия», о тебе хорошо написал в своей книге «Лёд и пламень» Святослав Педенко. А в 1981 году ты выпустил талантливый сборник стихов «До первого снега». Я был благодарен тебе за то, что ты сразу же прислал мне этот сборник, и ещё раз подтвердил этим мою веру в себя, потому что в меня поверил ты.

Но ты остался у пивного ларька, махнув рукой на свой талант, на открывающуюся перед тобой перспективу...

* * *

С того совещания прошло больше двадцати лет. Коля Антонов иногда заходит ко мне в редакцию, я угощаю его чаем, он вытаскивает из-за пазухи какой-нибудь замызганный и затрёпанный журнал «Театр», листает его, и, останавливаясь на нужном месте, протягивает мне:

– Вот, смотри, что тут про Венечку Ерофеева написано...

Коле в жизни нужно немного: чтоб на голову ему не капало, чтоб каждый день были кусок хлеба и кружка пива. Такой уж он по натуре – отважный и дерзновенный – «пофигист», как модно теперь выражаться. Одна жена его выгнала, от второй он сам ушёл, третья умерла у него на глазах, и он собственноручно её похоронил, не прибегая к помощи кладбищенской команды.

Другой на его месте давно пошёл бы по помойкам. А Николай как-то ухитряется не опуститься на самое дно, умудряется следить за литературным процессом, вылавливая из мутного потока современной поэзии и прозы что-то нужное для себя. Причём, будучи бездомным и безработным. Я как-то устроил Николая в одну денежную частную газету, и чтобы ему там не зацепиться? – специально для него жильё сняли, ставку неплохую дали. Нет же, не продержавшись там и полгода, Антонов махнул на всё рукой и опять ушёл к пивному ларьку. Жизнь закалила когда-то тонкую Колькину душу, приспособила её к полубомжовскому существованию своего хозяина.

Но не сломила, как его бывшего друга Анатолия Подволоцкого, залезшего в петлю или как Владимира Ревенчука, закончившего свою жизнь на городской мусорной свалке.

Да, мало кто остался в литературе из участников того совещания молодых. Николай Князев, например, умер молодым, Наталью Плужникову не видно, не слышно. Некоторые совсем бросили писать, как, например, Владимир Истомин. И только неугомонный Геннадий Аксёнов «отстреливается» за всех, удивляя и поражая коллег своей целеустремленностью и мечтой запечатлеть своё славное имя на скрижалях поморской словесности.

Отрадно, что Людмила Жукова по-прежнему верна поэзии и пишет такие же хорошие стихи, как и прежде. И как это ни парадоксально звучит в пику её словам, брошенным тогда мне: «Ты опоздал. Не пиши!» – в Союз писателей я вступил лет на шесть-семь раньше её.

Во время одной из наших последних встреч Жукова сказала, что я – «поэт самодостаточный» и что в «упор» не помнит меня на том, двадцатилетней давности, совещании молодых литераторов области под девизом «ТЕБЕ, ПАРТИЯ, ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!»...

ПИВНАЯ

Пивную эту построили на останкинском пустыре, надо полагать, потому, что в нескольких кварталах от неё находится общежитие Литературного института. А иначе где бы молодые таланты и гении могли опохмелиться перед тем, как ехать в «альма-матер» на лекции? Да и таксопарк наверняка был расположен рядом с общагой с тем же умыслом. Таксопарк предоставлял возможность поэтам и прозаикам надраться как следует, ибо там водилась водочка, а пивная – похмелиться, потому что если ты с утра планируешь идти на лекции, а «шарик» трещит и раскалывается напополам, то ты ни в коем случае не пойдёшь в таксопарк за водкой, а побежишь на пустырь – в пивную. Даже в суровые антиалкогольные горбачёвские времена пивная открывалась в девять утра и работала до девяти вечера.

Представляла она из себя земельную площадку размером с гектар, окружённую со всех сторон железным глухим забором с наваренной на этот забор такой же глухой огромной железной крышей. Зазор между крышей и забором был не шире средней человеческой ладони – воробей или голубь могли проникнуть сквозь него (и проникали в огромном количестве!), а вот студент Литинститута – нет. В пивную эту при желании, в случае какого-нибудь путча или революции, можно бы было набить несколько тысяч арестантов, а у единственной, тоже железной, калиточки поставить пару часовых с автоматами – и порядок!

Идея эта приходила наверняка в голову при посещении пивной не только мне, ибо внутрь помещения людей впускали, как скотину, в узенькую калиточку, по одному, беря с каждого за вход «рупь» и выдавая на этот «рупь» талончик, по которому полагалось получить в окошечке-«скворечнике» порцию кальмаров на закуску.

Почему в нашей стране устроено всё так по-дурацки? Вот хочет человек выпить пива, и идёт в пивную, имея в кармане один-разъединственный рубль. Он идёт и радуется, что может выпить пять (5!) пол-литровых кружек пива, поскольку кружка в те времена стоила 20 копеек. И – представляете – при входе у него отбирают этот рубль и дают талончик на порцию кальмаров, нарезанных на тарелочке мелкими кружочками. Комментарии тут, как говорят спортивные обозреватели, – излишни...

Но, допустим, у человека в кармане лежит червонец. А кальмаров он не хочет. К примеру, он желает закусить пиво не кальмарами, а бутербродом с чёрной икрой. Кстати, в столице-матушке уже в те годы было такое возможно: как-то раз мы с поэтом Серёгой Бойцовым из города Кургана пошли опохмеляться в подвальную пивную на улице Пушкинской. Вот уж где было культурно так культурно. На столиках даже скатерти красовались, а на скатертях стояли в прозрачных стеклянных сосудах живые цветы. Правда, вход в эту пивную стоил пять рублей, и на эти пять рублей обязательно выдавался большой бутерброд с маслом и чёрной икрой. Вот это, я понимаю, обслуживание! Серёга Бойцов даже по этому поводу стихи потом написал с посвящением мне, заканчивающиеся такими строчками:

Перьями не обрасти и на крыше
Ни одному из ужей.
Вот два поэта в подвале. А выше
Всё же любых этажей!

Да уж, чувствовали мы тогда себя настоящими орлами, потому как пили пиво из чисто вымытых кружек, заедая его бутербродами с чёрной икрой...

Пиво на опохмелку можно было раздобыть с раннего утра ещё в нескольких местах в районе нашей общаги, а точнее – в общежитиях «братьев наших меньших», то есть вьетнамцев, работавших на московских заводах и фабриках. Что говорить про сегодняшние времена, когда вьетнамцы держат в Белокаменной целые вещевые рынки! – тогда они втихую приторговывали «на дому» только водкой и пивом.

В водочных отделах московских магазинов, недоступных нам, бутылка «светлой» стоила 10 рублей, а у низкорослых азиатов...

– Двасать пять, – говорил вьетнамец, вынося на лестничную площадку «пузырь» «Русской». Таксисты брали по

«двадцатке» за бутылку, а тут... Кстати, азиаты торговали не только спиртным. Однажды, когда в первом часу ночи мы с Серёгой Бойцовым (везёт мне на Серёг!) пришли со своей нуждой к ним, маленький быстроглазый представитель дружеской нам нации, подав бутылку, заговорщицки шепнул мне:

– Осюсения хосесь?

– Чего-чего? – не понял я.

– Ну, осюсения? Девуску вьетнамскую... Ай-ай, калосая девуска, ласкывыя, двасать пять лублей стоит...

А девушки вьетнамские были настолько хрупкие, низкорослые, безгрудые и тонконогие, что, казалось, дотронься до такой «девуски» пальцем – она рассыплется в прах. Да и не за тем мы сюда пришли!

– Не надо нам ощущений, – гордо сказал Бойцов. И постучал по горлышку бутылки. –

– Вот наши ощущения!

Про наши приключения с Серёгой Бойцовым я ещё расскажу, а пока вернёмся к калитке пивнушки на останкинском пустыре.

Получив талончик на тарелочку кальмаров и сожалея о потерянном зазря рубле, человек, ступивший за калитку, поначалу испытывал такое чувство, будто попал не в питейное заведение, а на птичий базар – под железными сводами огромной, похожей снизу на вогнутый в небо ромб крыши, стоял птичий гвалт: это сотни полторы-две людей, расположившихся «встоячку» (ни скамеек, ни табуреток здесь не было) около столиков, разговаривали, пели, кричали, смеялись, плакали, и издаваемые ими звуки отзывались под металлическими сводами крыши птичьим гвалтом.

Вдоль двух из четырёх длинных стен стояли пивные автоматы, что было очень удобно: ты опускаешь в прорезь автомата монеты-«двадцатки», и эта умная машина наливает тебе в кружку пенящееся, пузырящееся и булькающее пиво. Правда, автоматы настраивали люди, поэтому пол-литровая кружка не всегда наливалась полной, но это уже дело двадцатое.

А если ты пришёл в пивнушку с бумажными деньгами и «двадцаток» у тебя нет – пожалуйста, подходи к окошечку с вывеской «Размен денег» и меняй себе бумажки на «двадцатки», сколько душе угодно, а потом иди к автомату и наливай пиво. А затем иди с талончиком туда, где выдают кальмаров, и бери тарелку с этими бледно-фиолетовыми кружочками. Раз рубль отдан, значит, от кальмаров никуда не денешься!

...Москвичи любили пивнушку. Заядлые любители «Жигулёвского», завсегдатаи этого заведения, приходили под железные своды, неся под мышками шахматные и шашечные доски. В ту и другую игру «дулись» на пиво, за партию – кружка, а то и несколько кружек золотой пенной влаги.

Обладателю шашек достаточно было иметь в кармане рубль, чтоб пройти в пивнушку и поставить на столик рядом перед собой и шашечной доской тарелку с кальмарами. А там... Хмельных любителей сыграть находилось предостаточно. К вечеру главный «шашист» уже еле-еле стоял на ногах и в азарте игры рассыпал на пол выигранные шашки попеременно с кружочками кальмаров. И всё-таки у него хватало мужества и стойкости уйти отсюда с той же доской под мышкой, закрытой на маленький алюминиевый крючок, не оставив под столом ни одной «фигуры» – ибо это был его «хлеб», то есть его пиво.

Обладатели же шахмат были более серьёзными людьми, они покидали заведение твёрдой походкой, показывая всем своим видом, что приходили сюда вовсе не за тем, чтобы надраться, как «шашисты», а для того, чтоб культурно и с толком провести время.

В пору горбачёвской борьбы с пьянством и алкоголизмом пивная была всегда переполнена, за час до открытия перед узкой калиткой выстраивалась очередь, разношерстная по своему составу. В очереди стояли как интеллигентные мужчины в парадных костюмах и шляпах, так и грязные забулдыги, так и москвички-алкашки, испитые, с «фонарями» под обеими глазами. Кстати сказать, интеллигентные и нарядно одетые женщины также захаживали в пивную. Интересно, что их сюда влекло? Скорее всего – одиночество и поиски мужчины на ночь, а, может быть, и на всю жизнь. Выбор мужчин здесь был большой – от студента-заочника Литинститута до полковника Советской армии. Генералы в пивную не захаживали, а вот полковники наведывались сюда частенько, не говоря уже о более мелких чинах – майорах, капитанах, лейтенантах, а особенно – прапорщиках.

За железным забором можно было укрыться не только от патруля и строгого глаза начальства, а вообще – от всего мира! Под гулками железными сводами царило настоящее пивное братство, несколько сотен людей чувствовали себя тут единым целым, оказавшись в центре Москвы как бы в другом измерении. Очереди у автоматов стояли небольшие – человека по два-три – и двигались быстро, за столиками народ пил, курил, закусывал кальмарами или принесёнными с собой более изысканными яствами, делал «аталье», по выражению Володьки Хомякова. Благо, «аталье» было где делать – проектировавший пивную архитектор наверняка сам любил пиво и знал, что после третьей кружки оно запросится наружу. Поэтому и спроектировал мужской туалет с пятнадцатью писсуарами вдоль стены.

...После третьей кружки мне и двоим спутникам моим – Сергеем – уже никуда не хотелось уходить отсюда – мы прониклись духом пивного братства от макушек до пяток. А после четвёртой кружки нас потянуло на стихи. Сначала мы читали их негромко, наклонившись друг к другу, потом Донцов повысил голос, взял на полтона выше. Кое-кто стал оглядываться на нас, а потом трое полуинтеллигентного вида мужчин приблизились к нам с кружками в руках.

– Мы видим, тут поэты собрались! – весело воскликнул один из них. – Люблю поэтов! Разрешите присоединиться?!

Мы великодушно освободили им часть стола. Знакомство наше свершилось молниеносно: все назвали свои имена, чокнулись, а точнее – стукнулись кружками, выпили. Вновь прибывшие радушно выложили на стол два пакета с жареным сухим картофелем – тогдашними «чипсами».

– А что, поэты? Я вот, например, думаю, что после Есенина не было в России настоящих поэтов. Все эти евтушенки, вознесенские и рождественские – так, мелочь, подпевалы и подхалимы, причём трезвенники, у них души не хватает напиться и выдать что-нибудь такое, как Есенин выдавал. Вот уж он писал так писал! Сам пьяницей был и умел душу народную выразить! – обратился к нам тот же мужчина. – Кто-нибудь из вас может выразить душу народа.

– А почему бы и нет? – вскинулся Донцов. – Александр, ну-ка, выдай что-нибудь! Вырази душу! – попросил он меня.

И я «выразил». Тем более что после пятой кружки чувствовал себя наверху блаженства, в душе моей пели химкинские соловьи, и все люди, собравшиеся под этим ромбическим сводом, казались родными и близкими. Я прочитал несколько «деревенских» стихотворений – про старичка, отпугивающего кабанов с картофельных грядок игрой на гармошке, про бобыля, про священника, который меня крестил. И ещё, шутивное:

А ещё такое было:

Дьяк с попом и третий – я

Пили водку из кадила

В светлый праздник Сретенья.

А кадила же – не ложка! –

После пятой «баночки»

Поп рванул меха гармошки,

Дьяк сплясал «Цыганочку».

Я – частушку с матюгами.

Поп взбесился: «Ну и ну!

Не ругайся в Божьем храме,

Я ж кадилом нае-ну!».

Я хоть пьян, но понимаю:

Мне пора в обратный путь.

Сапоги дорогу знают –
Приведут куда-нибудь.

Брёл, качаясь, по дорожке,
Думал сквозь хмельной туман:
«На хрена попу гармошка,
Если поп – не хулиган!?»

– Да ну! – восхитился мужик. – Неужели это он написал? – повернулся к Донцову, видимо, считая его старшим в нашей троице.

– Он-он, – подтвердил Серёга, отправляя в рот щепоть «чипсов», – у него ещё и не такие есть. Александр, давай что-нибудь из «дурдомовского» цикла.

Мужик полез в карман и выбросил на стол широким жестом две красные десятирублевки с Лениным:

– Угощаю. Пива – на все!

За нашим столом начался «день поэзии». Читал я, читал Донцов, читал Филатов. Народу около нас собиралось всё больше и больше. Кто-то цокал языком, кто-то хлопал в ладоши. Стихи нравились народу. Нас несло, и к нашему столу наши «поклонники» несли пенное пиво – гонорар за стихи. Один раз меня даже попробовали качать и чуть не уронили на пол. Время за стенами пивной текло, летело и бежало, минуя нас. Когда двадцатый человек спросил у меня – как моя фамилия, надеясь запомнить её, я случайно бросил взгляд на часы на его запястье и вдруг обнаружил, что время давно перевалило за полдень.

– Серёга! Серёга! – ткнул я пару раз кулаком в бок Донцова, картинно читающего в десятый раз свой «Засадный полк». – Серёга! Нам пора!

– Нам пора! – громогласно подхватил Донцов. – Нам пора на Девятое Всесоюзное совещание молодых писателей! Спасибо за внимание! Приходите ещё! – и вытащил из-под стола пустую десятилитровую канистру.

Народ не хотел нас отпускать. Народ поставил условие: мы читаем ещё каждый по два стихотворения, пусть уже и прочитанных, а он безвозмездно наполняет нашу канистру пивом. Какая-то женщина с «бланшем» под правым глазом пыталась поцеловать Донцова в щёку, приподнимаясь для этого на цыпочки. Серёга отворачивался.

Через пятнадцать минут полная канистра оттягивала чуть ли не до земли правую руку Донцова. Мы прорывались сквозь толпу поклонников нашего таланта к узенькой калитке. Нас провожали восторженными аплодисментами. Мы, в качестве откупного, оставили жаждущему духовного общения народу алтайского поэта Сергея Филатова (ему не нужно было ехать в «Олимпиаец») и в конце концов вырвались из полутёмного, пропахшего пивом, табаком и кальмарами заведения навстречу майскому дню, яркой зелени и солнышку.

После бессонной ночи и выпитого пива и меня и Серёгу «штормило». Я с тупым безразличием стал вспоминать, с какого вокзала мы с Федей ехали в Химки, и не мог вспомнить. Химки вместе с «Олимпийцем» казались далёкими и недостижимыми, как солнышко в небе. С пьяной тоской и грустью я подумал о том, что нам сегодня до них не добраться, и железобетонной плитой повисли над моей головой предполагаемые последствия московских приключений.

Но недаром говорят: влюблённым и пьяным везёт! Подавшись в сторону от пивнушки – в кусты, чтобы очередной раз сделать «аталье», и пробираясь сквозь них, мы с Донцовым упёрлись в железнодорожное полотно и небольшую платформу с одиноко стоящим на ней пожилым человеком. То, что здесь узкоколейка какая-то проходит, мы знали и раньше, но куда она ведёт – понятия не имели.

– Куда путь держим, дедушка? – ни с того ни с сего спросил у человека Донцов.

– В Химки, ребята, в Химки.

Мы на мгновение остолбенели. Потом у меня прорезался дар речи:

– А разве можно прямо отсюда в Химки уехать?

– Так здесь же электричка на Химки проходит. Через три минуты будет, – посмотрел на часы наш спаситель – как же иначе назвать этого человека? Видно, сам Божий Промысл вывел нас на него, иначе пропали бы мы с Серёгой, забурились бы куда-нибудь с этой канистрой, а там и в милицию недолго загреметь.

– Вот уж повезло, так повезло! – пьяно расхохотался Донцов. – Вот уж не знаешь, где найдёшь, где потеряешь!

Через три минуты мы с Серёгой и канистрой загрузились в электричку, а через пять уже мирно дремали на плече друг у друга...

КОРНИ И ИСТОКИ

(продолжение)

...Я опять возвращаюсь в детство – самое счастливое и беззаботное время моей жизни, к берёзам и черёмухам, под которыми рос, к пыльной большой дороге, бегущей возле окон нашего домика с односкатной крышей с запада на восток и с востока на запад. Кажется, тогда, в детстве, небо было голубее, нежели сейчас, трава – зеленее, солнышко – теплее, лес – загадочнее...

Да, всё моё детство связано с лесом, он окружал мои деревни, сначала – Стойлово, потом – Овчинниково, затем – Ловзангу, со всех сторон. По опушкам леса в конце июня – начале июля мы собирали землянику, в июле она поспевала в самом лесу почти одновременно с малиной. А маслята? А красные рыжики? А наши шалаши и землянки в лесу, наши костры?!

В школу, в первый класс, я пошёл из Овчинникова в Артёмово. Небольшой перелесок, метров в двести в поперечнике отделял овчинниковское поле от урочища Жеребцово. Жеребцово – большое круглое поле километра в полтора в диаметре. Когда-то, ещё до войны, здесь была деревня, но в один из жарких июльских дней, когда почти всё население Жеребцова работало на дальних сенокосах, ребяташки, балуясь спичками, учинили пожар, и все деревенские избы, стоявшие вплотную друг к другу как корова языком слизнула. Вернулись люди с сенокоса, а на месте деревни – одно большое пепелище.

Больше тут никто строиться не стал – народ перебрался в окрестные деревни, благо в те времена их насчитывалось в округе более двадцати, а жеребцовское поле распахали и стали сеять на нём то рожь, то овёс, то просто траву – для пастьбы здесь коров в летний сезон.

По опушкам вокруг Жеребцова поднялся соснячок, в нём, истоптанном коровами, каждое лето росли красные рыжики, и мы частенько бегали сюда за ними из Овчинникова.

По дороге в школу, когда Жеребцово оставалось позади (а пройти его нужно было поперёк, по всему диаметру), начинался ещё один сосновый перелесок – длиннее первого, почти километровый, отделявший Жеребцово от Артёмова.. По перелеску вела песчаная дорога, уютная и тёплая, по бокам её, в лесу, в сентябре щедро росли брусника и костяника, а на самых обочинах (канав здесь не было) – те же красные рыжики.

Минуешь этот перелесок, выйдешь в поле, и вот оно – Артёмово: деревня домов в десяток с выделяющейся на краю школой

– двухэтажным деревянным зданием, принадлежащим до революции купцу Крылову, о котором я уже говорил.

На первом этаже купеческого здания располагалась почта, снабжающая газетами и письмами все окрестные деревни: Ловзангу, Ананьино, Щекалово, Туговино, Токарево, Овчинниково и Калахтино. Из всех этих деревень и ходили сюда в школу ребятишки, в первый, второй, третий и четвёртый классы.

Занятия вели две учительницы: первый и третий классы – Мария Андреевна Зловидова, второй и четвёртый – Капитолина Ивановна Козенкова. Обе они жили в Ловзанге и ходили сюда вместе с учениками за два с небольшим километра.

Первый свой школьный день мне запомнился: мы шли в школу гурьбой – Генка Бахметов с Сашкой Богдановым – во второй класс, мы с Васькой Овсянниковым – в первый. Бабушка, провожая меня в школу, напутствовала:

– Захочешь на уроке в уборную, подними руку и спроси у наставницы: «Можно мне до ветру сходить?...»

Провожать детей в школу в деревнях наших было как-то не принято, даже в первый класс, да и работали родители – попробуй не приди на работу. И мы с Васькой с новенькими ранцами за плечами, в новых вельветовых (на мне был чёрный вельветовый костюмчик) самостоятельно пришли в первый раз – в первый класс.

Ещё у входа в школу меня подхватил под мышки и поднял над своей головой верзила-четырёхклассник Сашка Гуляев по прозвищу Тюля:

– А-а! Это ты акулы испугался!

Я уже рассказывал о том, как мы ездили из Стойлова с моим крёстным в первый раз в кино в Ловзангу, где шёл фильм «Последний дюйм» по Джеймсу Олдриджу. Я там расплакался во время сеанса: мне было очень жаль героев фильма – мальчика и его отца, которого искушали акулы во время подводных съёмок.

Тюля запомнил это и поднял меня на руки:

– Так это ты акулы испугался!

А потом Мария Андреевна провела нас в класс, рассадила по партам и стала ласково со всеми разговаривать, спрашивать наши имена и фамилии. На партах стояли чернильницы-непроливашки, лежали счётные палочки, перед нами на стене висела чёрная доска, на которой нам предстояло выводить первые в своей жизни буквы.

А за окном шумели жёлтой листвой помнящие купца Крылова большие раскидистые берёзы, летала по воздуху паутина – атрибут наступившего бабьего лета, порхали бабочки, в окна нашего класса заглядывало ещё тёплое солнышко. После первого ознакомительного урока Мария Андреевна позвонила в медный колокольчик, и мы побежали на перемену.

Ах, что это было за время, первая моя школьная осень: первые буквы, выведенные в расчерченной в косую линейку тетради, первые кляксы, первые слёзы огорчения и радости...

А дорога, эта дорога, ведущая из Артёмова домой – в Овчинниково! По дороге из школы мы с ребятами «расслаблялись» – вешали на сосновые сучья свои ранцы и начинали ползать под ними на коленках, собирая горстями и кладя в рот спелую, даже не красную, а бурую от спелости бруснику. Весь сентябрь стоял сухой и тёплый, можно было прямо в вельветовом костюмчике лечь под сосной и смотреть в голубое, чуть подёрнутое сизой дымкой небо. Смотреть и шарить рукой вокруг себя, нащупывая брусничные кисти, ощущая во рту кисло-сладкий вкус ягод.

Недавно, будучи в отпуске, прошёл я этой дорогой из давно несуществующего Овчинникова в также давно несуществующее Артёмово. Кто теперь ходит и ездит по ней? – грибники и ягодники, да мужики на тракторах, самым разбойным способом заготавливающие строевой лес – эти звонкие медные корабельные сосны – на продажу «из-под полы». Совхоз в Ловзанге развалился, в соответствии с веяниями перестройки, людям как-то надо жить, чем-то питаться. Вот и валят украдкой мои земляки подходящие деревья, вытаскивают их стальными тросами на поляны и прямо на поросшую травой и мелким кустарником полузабытую дорогу, разделявают стволы прямо на ней, обрубая с них не нужные в деле вершины и ветви.

По этой самой причине не пройти теперь по дороге между Жеребцовым и Артёмовым и не проехать – тут и там валяются на ней следы браконьерства: ветви и вершины сосен, а порой и целые кряжи гниют на земле. А сами сосны давно уже проданы мужиками на какую-либо частную каргопольскую пилораму, распилены и вывезены в виде досок или брусьев в Подмосковье – на строительство бани или дачи очередному чиновнику или «новому русскому», а то и дальше куда-нибудь, в тёплые безлесные края...

Да, заросла дорога, завалили её сосновыми отходами – не узнать! А Жеребцово – оно осталось таким же, как и сорок лет назад. Само поле ещё расширилось за счёт того, что на заре перестройки тяжёлая мелиоративная техника расчистила опушки, уничтожила практически весь сосняк, где росли красные рыжики. Да не пригодилось это землякам моим: Жеребцово стоит с той самой расчистки не паханым, не сеяным, только частники косят по краям его высокую траву, сушат и мечут её в стога для своих бурёнушек.

Вышел я в тот же день в жеребцовское поле со стороны Овчинникова. Там, на другом конце поля, стоит десяток шлемообразных стогов, и тропинка ведёт к ним по полю – неширокая, но утоптанная ногами косарей и укатанная велосипедными шинами: земляки мои знают, что на скошенных местах в августе маслята хорошо растут, вот и ездят, проверяют: есть грибы или нет.

Прошёл я по этой тропиночке до противоположного края Жеребцова, до самых стогов, походил около них да вокруг сосен по скошенному месту и насобирал на хорошую жарёху (благо был с собой полиэтиленовый пакет) маслят, маленьких, крепеньких – само заглядение.

А потом сел на сколоченную косарями скамейку за грубый жердяной стол и, глядя на раскинувшееся во всю ширь поле, по которому, пригибая высокую траву, жёлто-зелёными волнами ходил тёплый августовский ветер, погрузился в воспоминания...

Зимой наша дорога из Овчинникова в Артёмово становилась длиннее, мы ходили в школу не напрямую – через Жеребцово, а делали крюк – шли по большаку до дороги, ведущей в Артёмово с Ловзанги, и по ней уже топали дальше. Происходило это потому, что дорогу по Жеребцову зимой не поддерживали, её то и дело переметало снегом, и она «отдыхала» до весны.

Один раз меня развез на лошади Олёша Рябов – тот самый местный фельдшер, перевязавший в свое время мне пуповину. Олёша обслуживал все окрестные деревни, разъезжая по ним на чёрном мерине по кличке Журнал.

В тот злополучный день, а точнее – утро, я почему-то отправился в школу один. На улице стоял мороз, у моего пальтеца был поднят воротник, а уши у шапки-ушанки завязаны под подбородком и перевязаны по воротнику шарфом, – из-за этого я ничего не слышал.

И вот в перелеске между ловзангским полем и Артёмовым и догнал меня на Журнале Алексей Григорьевич. Санный след – узкий, может, фельдшер и хотел свернуть в сторону, а, может, он просто не видел меня, предавшись своим мыслям и глядя Журналу в зад. Но получилось так, что мерин, идя мелкой рысью, наехал прямо на меня.

Я очнулся (несколько секунд был без сознания) – один валенок на ноге, другой – на той стороне санного следа лежит, портфель – далеко в снегу, рука правая между локтем и плечом – сплошная боль: Журнал наступил своим копытом прямо на неё.

Если б я попал под сани, может, дело закончилось бы намного хуже, но Журнал, наехав на меня, каким-то странным образом, может, задней ногой, вытолкнул меня из-под саней.

Алексей Григорьевич запоздало остановился, собрал мои вещи, положил меня в сани и привёз в школу. Там меня раздела Мария Андреевна (рука от плеча до локтя – сплошной синяк) и положила на кровать в свободную комнату возле топящейся печки. Я лежал, прислушиваясь к боли в руке, к треску поленьев в печи, и смотрел за окно, где индевели помнящие купца Крылова берёзы... Потом говорили, что фельдшер был пьяный, потому и не повёз меня в Ловзангу, к себе на медпункт, а доставил в школу.

Медпункт у Алексея Григорьевича располагался в маленьком здании клуба. В клубе крутили кино, плясали под патефон – только пыль столбом! Фельдшеру же был выделен небольшой уголок с другой стороны дома с отдельным входом и крылечком. Олёша разъезжал по деревням с модной тогда балеткой – маленьким, пузатым – в два раза меньше и толще «дипломата» чемоданчиком из искусственной кожи.

Рядом с клубом находилась деревенская пилорама, приводимая в действие трактором «Беларусь». Мужики пилили на ней брёвна на доски, доски отправляли на Центральную усадьбу – в пригород Каргополя, шли они и на нужды деревни. Иногда мужики сшибали халтуру – пилили доски какому-нибудь частнику: крышу на доме перекрыть, сарайку построить или ещё

что. Частник, естественно, расплачивался спиртным, мужики иногда выпивали прямо на рабочем месте. Среди них был шутник, каких не сыскать, – Фёдор Тырлов, хлебом его не корми, дай только отчебучить хохму какую ни то.

Вот один раз собрались пилорамщики выпить, смотрят: фельдшер из медпункта выходит, балетку в сани бросает – Журнал уже на всех парах стоит у крыльца.

– Куда собрался, Алексеич? – спросил фельдшера Тырлов.

– Да в Ананьино надо съездить, у Стасько Шевелёва парень заболел, парня полечить надо.

– Алексеич, – опять орёт Тырлов, – сто грамм с нами не примешь?

– Почему не принять? Приму!

– Ну так иди сюда, за доски!

Пока мужики наливали Олёше за штабелем досок, пока он выпивал и закусывал коркой хлеба, Фёдор выгреб у него из балетки все медикаменты, а вместо них затолкал в балетку сосновую чурочку.

Через несколько дней Стасько Шевелёв скалил зубы в артёмовском магазине:

– Надысь Олексей Григорьевич приехал – парня у меня полечить, парень где-то простудился. Приехал, значит, в избу зашёл, всё честь по чести, разделся, халат свой белый нацепил на себя. Балетку на стол поставил, открыл... Обратнo закрыл. Отрыл – закрыл, открыл – закрыл. Я говорю: «Чего, Олёша, у тебя в балетке-то? Сам узнать не можешь?» А он как заругается: «А! Такие матери!»

Шубу на плечo, балетку в зубы и обратно – в сани. Умотал, даже халат свой белый не снял...

Я сидел на скамейке на краю жеребцовского поля, смотрел, как качаются травы под тёплым августовским ветерком, и вспоминал, как ходил мальчишкой по этому полю в школу, как один раз увязался за мной в Артёмово наш пёс Шарик. Мы сидели в школе, занимались, и в это время у соседнего дома раздался выстрел и послышался жалобный собачий визг. Визг через несколько минут смолк: это умер мой Шарик, его застрелил просто так, от нечего делать, живший напротив школы дед Александр Кузин.

Ах, сколько я тогда пролил слёз. Уроки ещё не закончились, но Мария Андреевна, видя мое горе, отпустила меня домой. Я, идя от Артёмова до Овчинникова, всю дорогу ревел, слёзы застилали мои глаза. Дома меня не могли успокоить ни мама, ни бабушка – так я жалел Шарика.

...Бабушка умерла, когда я ходил в третий класс. Это было в самое половодье, в апреле. Один раз я пришёл из школы – бабушка лежит на полу без чувства. Я позвал соседей, её подняли на кровать. Больше она в сознание не приходила, лежала на кровати и звала – то маму, то Тольку, то меня. Кормили и поили её с ложечки. Так продолжалось две недели. Потом Катерина Шубанихина посоветовала маме:

– Всё равно Ульяна – не жилец. Чего тебе, Валька, мучиться-то? Залезь на крышу, переверни одну доску на ней. Вишь, душа из Ули никак не может выйти. Дай ей проход, Господь и возьмёт душеньку-то.

Мама так и сделала, благо крыша у нас была односкатная. Бабушка умерла на другой день после этого действия. Хоронить её приезжала вся наша родня из Саратова и из Северодвинска.

А вскоре мы переехали на Погост – в Ловзангу, маме там выделили одну из восьми квартир в только что сданном местными плотниками новом доме.

Это был первый совхозный дом, построенный в этой большой деревне, остальные дома были частными. В этом же году из Артёмова в Ловзангу перевели почту, магазин и школу. Школу собрали из раскатанной на брёвна в том же Артёмове небольшой церковки, стоящей давно без креста и без купола. Так что у школы нашей оказалось шесть углов, а не четыре, как у обыкновенного дома. В том месте, где был алтарь, стала учительская, а паперть поделили новыми перегородками на классы, сложили в них печи. И осенью я пошёл в четвёртый класс из нового дома в новую школу, причём стояла она через дом от нашего места жительства и модно было бегать в неё, не надевая ни пальто, ни шапку.

А дом купца Крылова – бывшую нашу школу – через несколько лет перевезли, разобрав, в пригород Каргополя, на Центральную усадьбу совхоза, и поставили там снова. В бывшей школе стали жить люди: четыре семьи на первом этаже, четыре – на втором. Здание это стоит там и сейчас – раньше умели люди подбирать такой лес на строительство, что не гниёт дерево и не портится и пятьдесят, и сто, и сто пятьдесят лет...

* * *

...Деревня Ловзанга (она же – Ловзангский Погост, она же – Жуковская) после Стойлова и Овчинникова казалась мне очень большой. Шестьдесят дворов – это, всё-таки не семь, и не восемь. Располагалась Ловзанга буквой «Г», в центре её было старое кладбище, когда-то окружённое каменной оградой. Остатки ограды и две церкви без куполов – летняя и зимняя – посредине кладбища указывали на то, что деревня стоит на этом месте давно, и на то, что она и в давние времена была большой и наверняка богатой.

В Ловзанге жило много незнакомых мне людей, в том числе и тунеядцев, о которых я упоминал выше. Тунеядцы, как и сами жители деревни, работали в совхозе, в основном на разных работах – куда пошлют.

Среди них выделялась молодая тунеядка, её все называли Риткой: красивая, высокая, с накрашенными всегда губами. Бабы в деревне и сейчас губ не красят, а тогда это было совсем в диковинку, потому Ритка ярко выделялась на фоне местного населения. Из Питера её выслали за проституцию. Таких, как она, по деревням было много.

Рассказывают: когда партию молодых тунеядок привезли в совхозную контору, встречать их вышел на крыльцо сам директор – Алексей Николаевич Колчин. Вышел, оглядел стоящих перед ним городских размалёванных дамочек и спросил озадаченно:

– Девушки, вы хоть чего-нибудь делать-то умеете? Вы хоть вилы или лопату когда-нибудь в руках держали?

– Кроме х#я ничего не держали, – ответила со смешком одна из молодух, может быть даже Ритка.

Ритка и в деревне не потерялась, не забыла свою городскую «профессию»: иногда к ней с получки заворачивали молодые неженатые мужики (жила она «на квартире» у одинокой бабули, в огромном доме), а в темноте – так и женатики заскакивали.

Деревенские бабы ужасно злились на Ритку, но трогать её боялись. А мальчишки по дурости дразнили её. Не помню сейчас, какими словами обзывали они тунеядку, но она обижалась, топала ногами, а иногда и пускалась в погоню за обидчиками.

Однажды я случайно оказался в компании мальчишек. Я вообще-то в детстве был очень скромный и застенчивый, всё больше с книжкой дома сидел. А тут Выколзовы братаны выманили меня на улицу – по лужам покататься. Стоял ноябрь, уже хорошо морозило, но снег ещё не выпал. С осени на деревенском просёлке всегда оставалось много луж, они, естественно, замерзали, и вот по этому льду мы катались – не на коньках, а на сапогах или валенках. Разбежишься по дороге, перед лужей оттолкнёшься от земли обеими ногами и – едешь по льду на своих двоих. И интересно, и весело.

И вот катаемся мы по лужам, а тут, откуда ни возьмись – Ритка. Вовка Выколзов и загнул ей какое-то словечко. Она – за нами, мы – от неё. И как раз лужа замёрзшая впереди. Выколзовы братаны благополучно пробежали по льду, а я поскользнулся и упал. Ритка подбежала и пнула меня резиновым сапогом, не куда-нибудь, а в лицо. И попала аккуратно каблуком по носу. У меня, естественно, из носа – кровища, он сразу распух. Я с рёвом побежал домой, оставляя за собой кровавый след.

Ритке за это ничего не было. Милицию из города вызывать не стали. В тот же день старший брат Выколзовых – Венька (ему уже за двадцать было) «отомстил» за меня: уличил момент, когда Ритка пошла с двумя ведрами на колодец за водой, подождал, пока она наполнила ведра, подошёл к ней и вылил оба ведра на Ритку, обкатив её на морозце с ног до головы холодной водой...

Нос же у меня оказался сломанным, так и живу – с искривлённой носовой перегородкой, дышу одной ноздрёй – вторая не работает. Надо было б в своё время операцию сделать, да всё не до того...

Если уж я упомянул про нашу забаву – катание на льду, расскажу и ещё про одну – весьма своеобразную...

Хоть и далеко не все деревенские мужики были заядлыми охотниками, но охотничьи ружья (тогда покупали их без всяких разрешений и регистраций) держали почти в каждом доме. И патроны к ним, как заряженные латунные гильзы, так и пустые, достать нам, мальчишкам, не составляло никакой проблемы. Заряженные-то как раз нам и не нужны были, требовались, наоборот, пустые. И ещё пластмасса была нужна – та, которая горит ярким пламенем.

Обычно мы брали пластмассовую куклу или расчёску, разламывали её на мелкие кусочки, оборачивали серебряной бумагой из-под чая и заталкивали в патрон – так чтобы кусочки пластмассы торчали немного из патрона.

Пластмассу поджигали, почти сразу же кто-либо из нас задувал огонь, из патрона начинал валить густой и едкий пластмассовый дым. Под руками у нас, вернее – около ног, уже стояло наготове толстое осиновое полено или круглая чурка – в эту-то чурку и забивался патрон. Забивали мы его лёгким поленцем, на одну треть: острые края патрона позволяли ему легко входить в мягкое дерево.

Пластмасса в забитом патроне продолжала дымить, внутри его скапливались горючие газы, и примерно через минуту он «выстреливал» – вылетал из полена и с дикой скоростью уносился в поднебесье, иногда так высоко, что невооружённым глазом его и не разглядишь. При вылете его из полена следовал громкий, как выстрел из ружья, хлопок. Мы ждали, пока патрон прилетит обратно, снова начиняли его пластмассой и опять запускали в небо.

Иногда в этой забаве участвовали и взрослые мужики, и тогда около чьей-либо избы собиралась куча народу, оттуда слышались дикие возгласы, смех, патрон то и дело взлетал в небо и падал обратно.

А ещё мы очень любили кино, которое «катил» в клубе приезжавший три раза в неделю из города киномеханик. Кино – это было нечто! Мы с нетерпением ждали, когда в «киношный» день завклубом вывесит у магазина объявление с названием фильма – детского фильма, ибо их в ту пору показывали частенько. Для нас крутили кино в шесть часов вечера, для взрослых – в восемь или в девять.

Кроме родителей мы ещё очень почитали своих учительниц (да в то время и взрослые их почитали). Если кто-либо из нас схватывал на уроке тройку, Мария Андреевна сердилась и говорила:

– Наверно, в кино проходил, вот и невнимательно отнёсся к подготовке домашнего задания, поспешил. В следующий раз в кино не пойдёшь!

В «киношный» день мы бежали после занятий к магазину, читали объявление и сразу же садились дома за уроки. Полшестого с подготовленным заданием шли домой к учительнице и, робко встав у порога, просили:

– Мария Андреевна, можно нам сегодня в кино сходить?

И показывали тетрадки с подготовленным домашним заданием. Учительница обычно милостиво разрешала нам, да ещё и спрашивала:

– Есть у вас по пяточку-то? Если нет, могу дать, – билет на детский фильм стоил тогда пять копеек.

Четвёртый класс я закончил в Ловзанге, а в пятый уже нужно было идти в Каргополь и жить там неделю в общежитии, домой же приезжать только на воскресенье. Но это уже другая страница моего земного бытия...

ОБЩАГА

(продолжение)

О чём шумят
Друзья мои, поэты
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.

Уже их мысли
Силой налились!
С чего начнут,
Какое слово скажут?
Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!
(Николай Рубцов)

Третий этаж нашего общежития принадлежал студентам заочного отделения Литературного института (сейчас, говорят, заочники обитают на пятом). Когда в августе 1987 года мы первый раз ступили на этот этаж, он был более-менее ухоженным: ещё действовала комната отдыха, где можно было посмотреть телевизор и сыграть в бильярд, на той и другой кухнях у газовых плит были в наличии (и работали!) все вертушки, в мужском туалете висело зеркало. Ещё на установочной сессии той же осенью к зеркалу подходил похмельный поэт-самородок из Нижнего Тагила Юрий Виноградов, смотрелся в него, приглаживал пятернёй взлохмаченную голову и с чувством, с толком, с расстановкой произносил:

– Я становлюсь всё больше и больше похожим на Есенина...

Да, осенью 1987 года зеркало в туалете ещё висело, а весной следующего его уже не было – кто-то грохнул по пьяни. Зеркало, конечно, не самый главный атрибут общежития, но когда утром приходишь в умывальник побриться и не видишь свой подбородок, всё равно какое-то неудобство создаётся. Тем более, если карманного зеркала ты не имеешь, а просить у кого-то на пять минут просто неудобно.

Дом 9/11 на углу улицы Добролюбова и проспекта Шота Руставели, располагался буквой «П», в каждом из двух его крыльев находились туалет-умывальник и кухня с двумя четырёхконфорочными газовыми плитами. Тут же, в кухне, в небольшую нишу в стене был вделан постоянно застревавший мусоропровод. Вообще-то при строительстве общежития предполагалось, что одно крыло дома будет женским, другое – мужским, в соответствии с этим дамский туалет был в левом крыле здания, мужской – в правом.

Но строгое разделение на слабый и сильный пол на этаже не соблюдалось – дамы иногда селились в нашем крыле и наоборот. Правда, с женской половины в мужской туалет далеко по ночам ходить, но это – единственное неудобство: кухней можно хоть там, хоть тут пользоваться.

...Общага наша год от года, от сессии к сессии постепенно хирела. Первый раз, приехав на весеннюю сессию, мы

обнаружили, что комната отдыха закрыта навсегда и ни бильярд, ни «телек» бедным студентам не светят. В первые годы нашей учёбы этаж убирали женщины. Это были и приходящие москвички, и девушки-студентки с дневного отделения, подрабатывающие техниками. А убирать было что! Особенно в туалете, где в кабинках на полу к ночи громоздились выше края унитазов вороха использованной по назначению бумаги и стояли пустые бутылки: студенты мусульманского вероисповедания бумагу не признавали, по своему обычаю они после отправления естественных надобностей подмывались водой из бутылок, заливая ею полы кабинок.

Стоишь ты утром в умывальнике, бреешься на ощупь, подходит к твоей раковине представитель солнечного Азейрбаджана, наполняет бутылку водой из-под крана и идёт, как ни в чём не бывало, в кабинку. И не то, чтобы тебе неприятно, а как-то непривычно. Или, скорее, наоборот: не непривычно, а неприятно. Тем более идти потом в эту кабинку, где на полу в луже воды стоит пустая бутылка из-под «Жигулёвского» пива.

Туалет, кухню (комнаты мы убирали сами) и длиннющие коридоры приводили в порядок по ночам представительницы прекрасного пола – днём они стеснялись делать эту работу. Но надо сказать, что выполняли они её добросовестно. А в году примерно 90-м подряд на уборку нашего этажа взяли три мужика-москвича, и этаж в буквальном смысле этого слова зарос грязью. Ну, какие из мужиков, да ещё москвичей – уборщики? Три мужика брали три швабры, наматывали на них тряпки, мочили тряпки в воде и маршировали по коридору, толкая перед собой приспособления, прозванные в народе «лентяйкой». «Лентяйка» оставляла за собой влажный след, что и требовалось доказать. Мужики сворачивались, увлажнив таким образом коридор и собрав в туалете бумагу, шли на останкинский пустырь в пивнушку.

Влага на старом линолеуме высыхала, и он становился таким же грязным, как и до помывки. Уборку мужики проводили не ночью, а днём, и студенты, решившие не ходить в «альма-матер» по той или иной причине, топали по сырому линолеуму, оставляя за собой грязные следы – обувь в общаге было не принято мыть.

Внизу, на вахте в первые два года нашей учёбы сидели благодушные старушки-москвички. По этажу гуляли рассказы про одну из бывших вахтёрш по имени Эра Михайловна. Она любила выпить и всегда знала, в какую из комнат в тот или иной вечер студенты пронесли алкоголь и где намечается грандиозная пьянка. Она, найдя какую-либо причину, обязательно появлялась в этой комнате, где ей непременно подносили лафитничек, а то и два. Вахтёрша, в свою очередь, обязывалась не «стучать» в деканат на весёлую компанию. У неё было длинное прозвище: «Двигается Эра светлых годов...»

Однако выдумчив наш русский народ на прозвища. Иногда с таким столкнёшься – нарочно не придумаешь! Довелось мне как-то провести почти два месяца в одном не очень весёлом лечебном учреждении. Так там была санитарка по прозвищу Поль Робсон, грузная такая женщина с толстой заячьей верхней губой. Кому из весёлых пациентов того печального учреждения пришло в голову назвать её так и какое сходство имела она с известным афроамериканцем?.. Но это так, к слову...

Эру Михайловну мы уже не застали, через два года старушек на вахте сменили угрюмые мужики, а к концу нашей учёбы на первом этаже расположился ОМОН. Кстати, ни мужики, ни ОМОНовцы выше первого этажа в здание не поднимались, для них – хоть на головах там ходи. И ходили! Сидящим на вахте вменялось в обязанность не впускать в общагу посторонних лиц. А дальше – хоть трава не расти.

...Постоянной комнаты, как таковой, у заочников не было: приезжая, например, на весеннюю сессию мы уже не могли претендовать на тот «номер», в котором жили осенью. Да и какая разница, в какой комнате жить, если они все похожи друг на дружку, как сестры-близняшки, только обои везде разные. Да-да, по чьему-то хозяйственно-завхозовскому плану обои во всех пятидесяти комнатах третьего этажа были поклеены разными обоями. Обои давно выцвели, в некоторых комнатах сами студенты подновляли их, пробуя себя в амплуа художников, изображением женских головок в стиле «аля-Пушкин» и обнажёнными женскими торсами. На обоях рисовали шариковыми ручками, фломастерами, акварелью, а в 307-й комнате ещё в середине 80-х синей масляной краской широкой кистью кто-то вывел в полторы стены надпись: «НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИ – В КАБУЛЕ ОСТАНОВКА!» – афганская война таким образом аукалась в стенах общаги. Надпись была кривая, начинаясь в середине стены, она заканчивалась почти у пола, буквы прыгали и плясали – по всей видимости автор данного лозунга во время написания его находился в тяжёлой степени опьянения...

Все студенты-заочники, причисляющие себя к так называемым почвенникам (какое обидное слово!), утверждали, что они проживают именно в той комнате, в которой когда-то жил Рубцов. Тень Николая Михайловича витала в длинных коридорах, его почитали, ему поклонялись, и каждому (кроме студентов-«западников») естественно хотелось побыть в тени поэта, хотя бы таким образом. Ходила легенда, что однажды в одной из комнат третьего этажа Рубцов написал на обоях:

Я сегодня напился по-свински,
Спал в ботинках я и в пиджаке.
Ночью снился мне критик Белинский
Со стаканом портвейна в руке...

Надпись эту, как ни искали, так никто и не мог обнаружить. Видно, её заклеили обоями, а со времени последнего ремонта прошло никак не меньше десяти лет, если не больше. Где уж тут найти рубцовский автограф...

Надо полагать, Рубцов так же менял комнаты, как и мы, да он ещё одно время и на дневном отделении учился, следовательно, на четвёртом, пятом и шестом этажах поэт также жил. На эти этажи мы не ходили, разве что под хмельком – стихи почитать да послушать. Там обитали зелёные юнцы и юные девицы со всех концов СССР наряду с иностранцами – неграми и палестинцами. Кого только не было в этом разноязыком Вавилоне – литинститутской общаге! Чему можно араба-палестинца научить в нашем вузе – только аллах и ведаёт. И, тем не менее, они учились...

На двух же верхних этажах обитала «белая кость» – слушатели Высших литературных курсов при Литинституте, сплошь одни члены Союза писателей.

Они, действительно, жили шикарно: стипендия 200 рублей в месяц (по тем временам вполне приличные деньги), комната на одного с хорошей мебелью, не то, то у нас, заочников. «Вээлкашникам» были созданы все условия для творчества: живи себе в Москве, слушай лекции – никаких тебе зачётов и экзаменов, никакой ответственности перед преподавателями.

Юра Виноградов был своим человеком на этажах ВЛК, в первую голову потому, что бегал «конём» в таксопарк за водкой по поручению членов Союза: им-то, имея такое звание, несподручно было спекулянтов посещать. Юра как-то и затащил меня на восьмой этаж к своему знакомому прозаику из Киргизии. Прозаик обликом на девяносто девять процентов был похож на Чингиза Айтматова, иначе как «Чингизом» Виноградов его и не называл, хотя имя у киргиза было другое.

Естественно, знакомство наше с представителем братского народа без спиртного и без чтения стихов не обошлось. Киргиз хотя и говорил по-русски с диким акцентом, но суть стихов понимал, кивал в знак согласия с ними головой, прищёлкивал пальцами в знак восхищения и жал мне руку после каждого прочитанного стиха.

Спустя три-четыре дня среди ночи в дверь нашей комнаты на третьем этаже раздался дикий стук. Мы разом проснулись, Димка Загулин открыл дверь: в коридоре стоял пьяный «Чингиз Айтматов» с початой бутылкой водки в руке. Он был на голову выше Митьки и в полтора раза крупнее его, хотя Загулин – тоже далеко не хилый мужичок.

– Чего вам? – спросил Митька. – Три часа ночи. Завтра экзамен у нас.

«Чингиз», чуть покачиваясь на широко расставленных ногах, спросил Митьку:

– Здэсь живьёт рюсский паэт Искандер Росков? Я хачу с ним выпит! Мне стихи иго больна па душе пришлысь!

В коридор вслед за Димкой вышли Костя Савельев и Коля Харитонов. Они втроем еле уговорили пьяного почитателя моего таланта идти к себе, заверив, что он перепутал комнаты, и никакого Роскова здесь нет.

«Чингиз» побрёл по коридору, помахивая бутылкой водки и стуча в каждую дверь:

– Здэсь живьёт рюсский паэт Искандер Росков? Я хачу с ним выпит!

– Из-за тебя весь этаж перебудил! – набросились на меня друзья. – Не ходи больше на ВЛК, не читай стихи. Отдувайся тут потом за тебя!...

Что греха таить: я лежал, не возражая им, но мне было приятно, что мои стихи так понравились прозаику из далёкой

Киргизии. А к «вээлкашникам» мы ещё захаживали не раз – в комнату к нашему земляку-прозаику Александру Лыскову, выпивали с ним, родные места вспоминали. Он так и обосновался потом в Москве, устроился работать к Александру Проханову в газету «День», переименованную впоследствии в «Завтра».

На втором этаже жилых комнат не было, там располагались всякие подсобные помещения и бельевая: раз в десять дней всему общежитию меняли постельные принадлежности. Мы получали их два раза – по приезду, и в середине сессии, длившейся двадцать дней. Привередливый Митька Загулин, завидев маленькую дырочку на простыне или жёлтое пятнышко на полотенце, спускался вниз, требовал нормальное бельё. Он бегал туда-сюда раз пять, потому как идеально чистое и целое белье в общаге – большая редкость. Но Митька в конце концов добивался своего, на то он и Митька. Мы же довольствовались тем, что получали – не господа, в конце концов...

На лестничной площадке каждого этажа висели на стене телефоны-автоматы, до крайности изнасилованные студентами и студентками. Каким-то чудом они ещё работали. У телефонов иногда собирались небольшие очереди, на нашем же этаже их почти не наблюдалось – родственники и знакомые в Москве были далеко не у каждого заочника. Но иногда можно было услышать, как кто-нибудь, набрав номер, орал в трубку на весь коридор:

– Алло! Алло! Это дача Евтушенко? Алло, это Переделкино?...

Сессия начиналась так: первыми из нашей дружной четвёрки в Москву приезжали мы с Колей Харитоновым и «забывали» комнату на нас и на Костю Савельева с Митькой Загулиным. Мы всегда селились вчетвером, хотя в большинстве комнат жили по три, реже – по два, и совсем редко – по одному человеку, как Юра Виноградов или поэт Миша Елькин из Сыктывкара.

Мы с Колей отмечали на вахте свое прибытие, вахтёр давал нам ключ от свободной комнаты, и мы летели на третий этаж – осматривать «жилё». Частенько приходилось сразу же вызывать плотника – его «резиденция» базировалась тут же, в общаге, – требовалось подремонтировать дверь или починить или даже заменить внутренний замок. Не своё, так оно и есть не своё: больше всего в комнатах наших страдали двери – пьяненькие студенты частенько теряли ключи, или кто-нибудь один закрывал комнату, а ключ на вахту сдавать забывал, уносил его в кармане. Уносил и пропадал с ключом до позднего вечера, а иногда и к ночи не возвращался. Соседям его по комнате ничего не оставалось, как ломать дверь в районе замка, поэтому во многих комнатах многострадальные двери латались по несколько раз, дыры на них заделывались фанерой и выглядели как после погрома.

Первым делом мы с Николаем осматривали дверь, помогали плотнику, если была нужда в его вызове, а потом уже наводили «ревизию» в самой комнате: проверяли, в порядке ли матрацы на кроватях, не сломаны ли сами койки, есть ли в комнате веник, совок, ведро для мусора.

Сама комната представляла собой самый настоящий бардак. Жившие здесь до нас студенты оставляли после себя следы быстрого побега из общаги: на подоконнике и на столе валялись раскрытые книжки и учебники со штампом литинститутской библиотеки, под кроватями лежали смятые бумажные листы вперемежку с рваными носками, на столе засыхали остатки нехитрой закуски – предшественники выпивали на «посошок». В двух встроенных в стены шкафах перекачивались пустые бутылки из-под пива и более крепких напитков. На паркетном, с самого момента сдачи общаги в эксплуатацию ни разу не лакированном, полу лежал слой грязи.

Коля шёл получать бельё на второй этаж, я хватался за веник, приносил в ведре воды из умывальника, и, обильно брызгая на пол воду, тщательно подметал его, убирал из комнаты всю грязь, бумажки и рваные носки, спускал их в мусоропровод.

В каждой комнате, согласно комплектации, был в наличии трёхлитровый чайник и из посуды больше – ничего. Кружки мы брали из дома, несколько раз покупали в Москве кастрюльку, для того, чтобы сварить в ней сосиски или картошку, но так как комнаты все время менялись, кастрюльки пропадали безвозвратно – не будешь же их возить туда-сюда.

Стол и стулья в комнатах заочников оставляли желать лучшего – они шатались, издавая при этом жалобное скрипение. В первый год нашей учёбы третий этаж «осчастливили», в комнаты поставили новенькие жёлтые тумбочки – единственное светлое пятно во всём жилище, но их, уличив подходящие моменты, скоренько перетаскали себе наверх студенты с дневного отделения, принеся взамен свои, старые...

Наведя порядок в комнате, застелив кровати, разложив в тумбочки привезённые с собой книжки, туалетные принадлежности и другое мелкое барахло, мы шли в магазин – нужно было купить чаю, сахару и чего-нибудь поесть на вечер. На улице мы закуривали, неспешно оглядывались вокруг себя, привыкая к столице, чувствуя себя временными москвичами. Москва в годы мэрства Гавриила Попова выглядела ужасно грязно, да и витрины продовольственных магазинов смотрелись довольно-таки жалко, а в октябре 1991 года вообще опустели, повергнув привыкших к социалистическому изобилию столичных жителей в настоящий шок. Правда, через какой-то месяц, благодаря реформам Егора Гайдара, они быстренько наполнились заморскими продуктами, и теперь о той кошмарной осени москвичи и помнить не помнят. А я тогда, перед отъездом домой с сессии, проходя по Ленинскому проспекту мимо пустых витрин в поисках чего-нибудь съестного (надо же что-нибудь домой привезти гостинцами – в Архангельске в то время отпускали по талонам на месяц в одни руки 200 граммов варёной колбасы), наткнулся на длиннющую очередь – в одном из магазинов «выбросили» мясной паштет в баночках размером с хоккейную шайбу.

Отстоял я тогда в этой толпе москвичей четыре часа и был счастлив, унося от прилавка пять баночек с паштетом – именно столько отпускали в одни руки. Но чего я наслушался в этой очереди в адрес Горбачёва, Ельцина, Попова, коммунистов и демократов – нормальными словами не передать!

Итак, мы с Колей, перейдя улицу Добролюбова в сторону Останкино, первым делом подходили к табачному киоску и покупали по блоку сигарет – «Родопи» или «Опала», а потом уже брали в «Продуктах» полкило останкинской колбасы, сосисок по пять штук на брата (холодильника в комнате не было), хлеба – белого и чёрного и всё необходимое к чаю. Вернувшись в общагу, кипятили на газе чай, выпивали по кружке-две, потом Коля ложился отдохнуть с дороги, а я шёл путешествовать по комнатам, узнавать: кто уже приехал с нашего курса на сессию и в какой комнате поселился?

Потихоньку в одной из комнат, иногда и в нашей, собиралась тёплая компания, и кто-нибудь из этой компании, зажав в кулаке деньги, бежал в таксопарк, а после 1991 года – в магазин, где спиртное стало продаваться без всяких ограничений. А как же без него? – народ не виделся полгода, народ почувствовал свободу, оторвавшись от домашних очагов, от жён, детей, тещ, народу хотелось выпить и пообщаться.

По мере наступления вечера веселье на этаже начинало вспыхивать в разных его концах, иногда оно продолжалось до утра, а кое-кто из вошедших в «штопор» заочников продолжал веселиться и на второй, и на третий, и на четвёртый день по приезду в Москву: благо в первую неделю в институте не было ни зачётов, ни экзаменов – только лекции.

К концу недели пьянка на этаже затихала, люди начинали потихоньку браться за учёбу. Конечно же, спартанская обстановка, не очень-то устроенный общаговский быт, грязные стены в комнатах и коридорах давили на психику, на наши умы, являлись предпосылками плохого настроения. Да тут ещё предстоящие экзамены...

Но как хорошо было перед сном, после вечернего чая, выйти с сигаретой в зубах в коридор или в кухню, сесть на подоконник и закурить, поглядывая сверху на наш двор, на рябины, затеняющие окна, на тую, на огни Останкинской телебашни, горящие днём и ночью. Казалось, телебашня находится под самыми окнами, протяни руку – и дотронешься до неё, хотя на самом деле от общаги до телецентра – несколько километров.

Потихоньку в коридоре или на кухне собирались однокурсники: Серёга Бойцов, Сергей Жилинский, Володька Дмитриев, Сашка Шиненков. Начинались длинные беседы о поэзии, о литературных новинках, тут же читались и обсуждались написанные нами в промежутке между сессиями стихи. Правда, чем старше на курс мы становились, тем реже делалось это. Мы с Колей подолгу не спали, через каждые двадцать минут выходили курить (в комнате запретили себе делать это, примеру же нашему следовали далеко не многие), раз пять за вечер ставили на газ чайник и заваривали свежий чай. За окном стояла тёмная московская ночь, мы сидели с кружками в руках каждый на своей кровати и разговаривали – о доме, о бытовых и других жизненных проблемах, но чаще и больше всего, конечно же, – о литературе, о судьбах её, о наших судьбах.

– Я чувствую, – говорил Николай, – что вот умер Фёдор Абрамов, а дело его надо продолжать мне. Кто будет писать о простых северянах, о деревенских мужиках и бабах? Чувствую: это должен делать я...

Да, каждый из нас в глубине души надеялся на свое предназначение, втайне мечтал, что именно он когда-нибудь прославится сам и прославит русскую литературу. Эх, святая наивность! Мы и не подозревали тогда, что вскоре наступят такие времена – маститым писателям небо с овчинку покажется, а не только молодым и начинающим. Но всё это было впереди...

В конце первой сессионной недели приезжали Митька с Костей, и вся наша «капелла» была в сборе. Оба наших сотоварища – люди занятые, оба занимали высокие посты в своих конторах, поэтому и работу свою считали (как оказалось впоследствии – по праву) важнее институтских лекций. Тем более что и Митька, и Костя имели уже по одному высшему образованию: история КПСС, научный коммунизм и некоторые другие дисциплины у них, как говорится, от зубов отскакивали. Да и в плане литературном, не говоря уже о философском, тот и другой были подкованы на три порядка выше нас. Коля несколько раз пытался вступить с ними в дискуссию по некоторым острым вопросам современности, но каждый раз замолкал, посрамлённый. Я же только внимал им и задавал вопросы, удовлетворяя свое любопытство.

Костя Савельев воевал в Афганистане, носил там офицерские погоны, Димка Загулин после окончания первого – экономического – вуза также в лейтенантском звании служил в финансовой части крупного войскового соединения в одной из Закавказских республик и хвастал нам тем, что во всей русской литературе финансистами были только два поэта: Афоня Фет и он – Митька. Коля Харитонов дослужился в милиции до звания младшего лейтенанта, но потом по собственному желанию ушел из органов МВД в простые дворники. Я же, отдав Родине два года своей молодой жизни, выше рядового не дослужился, поэтому с особым смаком, проснувшись утром раньше всех, блажил:

– Господа офицера-а-а! Подъём, господа офицера! Кто сегодня ставит чайник, Митька – ты?

«Господа офицера» мычали спросонья и грозились запустить в меня увесистым томом «Современного русского языка» под редакцией Розенталя. Кстати сказать, Димка Загулин был жутким антисемитом. Брызгая слюной от возмущения, он поносил однокровников Розенталя:

– Да они у нас в Питере всё кругом позакхватывали. Все газеты, все журналы! «Нева» – чья? А «Звезда»? Пойди, попробуй напечататься в том или другом! Знаете, как они поступают? Вот приходят к ним в редакцию три поэта: талантливый Петров, бесталаннейший мудака Иванов навряд ли нашего Юрия Виноградова и средней руки стихотворец Копштейн. Они берут их стихи, обещают посмотреть, почитать, вежливо расстаются... А потом через какое-то время в «Звезде» появляется подборка стихов Копштейна, с сопроводительной статьёй критика Ванштейна о молодой поэзии. В «пику» «талантливым» стихам Копштейна Ванштейн цитирует несколько бездарных строф этого мудака Иванова-Виноградова и на наглядном примере показывает, как надо писать. Иванов-Виноградов в глубокой жопе, Копштейн на щите! Вы спросите, где же талантливый молодой поэт Петров? А его вообще нет, даже имя его не упоминается в этой статье! Ему возвращают подборку стихов с нижайшими извинениями: это, дескать, не для нашего журнала!

Наверняка, Димка сам обращался в редакции названных журналов и получал там «отлуп», потому и был так зол на работников редакций. Или ещё чем-то большим, нежели отказом в публикации в питерских журналах, «достали» Загулина отдельные представители богоизбранного народа. В этом мы имели возможность убедиться, когда меня посетил в общаге близкий друг Феди Михайловского, знаток мировой поэзии Александр Григорьевич Кавтаскин по национальности белорус, а обликом – чистокровный еврей.

Митька сорвался с места в галоп, понёс про масонские ложи, про Каббалу, Протоколы сионских мудрецов, показывая в этом материале такие глубокие познания, что нам троим вместе с гостем оставалось только хлопать глазами. Кавтаскин, не имея возможности вставить слово, прервать Димкину речь, стушевался и ретировался, пригласив меня прогуляться с ним по улице.

Митька потом доказывал мне:

– Они – такие! Чуть человек поталантливее – они тут как тут! Окрутят, охмурят, залижут и толкнут потом в такую яму, из которой не выбраться. Вон что они с Есениным сделали! А теперь «Англетер» в Питере взорвали, чтобы никто не мог новое следствие уже не по поводу самоубийства, а убийства Сергея Александровича провести. Ты смотри, – грозил он мне пальцем, – не связывайся!

– Да и никакой Кавтаскин не еврей, белорус он, – вяло возражал я, помня о том, что Александр Григорьевич, проживая в узбекском городе Ургенче, слал мне в глухую лесную деревню бандероли с хорошими книжками.

С какими же умными и достойными людьми сводила меня судьба! «Митин журнал», выходящий в Москве в конце 80-х – начале 90-х годов, публикуя стихотворные переводы А.Г. Кавтаскина, представлял его: «поэт, переводчик с английского, немецкого, польского, японского и других языков». Да, Александр Григорьевич, будучи сам неплохим поэтом, но свои стихи нигде не публиковавший, – полиглот и зарабатывает на жизнь переводами.

В 1999 году он впервые перевёл с английского на русский книгу Ф. Йейтса «Розенкрейское посвящение» (Москва, изд-во «Алетейя»), в 2000 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Перну Режина «Ричард Львиное Сердце» в переводе Кавтаскина. А в 2001 году издательство «Когелет» издало книгу «Византийское богословие» православного протоиерея Иоанна Мейендорфа (перевод с английского А.Г. Кавтаскина).

В конце концов, даже если Кавтаскин и еврей, какая разница? – был бы человек хороший...

Но вернёмся к Митьке Загулину. Наш четвёртый друг оказался далеко не простым парнем, ох, каким не простым. Познакомились мы с ним в первый день по приезду в Москву, в очереди у дверей приёмной комиссии. Сначала Митька стоял в стороне от всех в скромном таком прикиде: клетчатый простенький пиджачишко, рубашка без галстука, плохо поглаженные брюки, невзрачная котомочка на плече. Дня через два, когда мы приехали на консультацию на Тверской бульвар, 25 (перед вступительными экзаменами было несколько консультаций по каждому предмету), к нему подошла с приветственным возгласом «Здравствуй, Дима!» женщина лет сорока, очень похожая на киноактрису Ирину Мирошниченко. Она отвела Дмитрия в сторону, и они о чём-то увлечённо беседовали минут пять, как хорошие знакомые.

А во время установочной сессии мы с удивлением обнаружили, что эта женщина – Ольга Васильевна – куратор из деканата заочного отделения. Только курировала она параллельный с нами второй курс. Сколько потом ни пытали мы Митьку насчёт их знакомства, он нам так и не открылся. По всей видимости, Загулин поступал в Литинститут за год до нашего знакомства, но по каким-то причинам не поступил. Впрочем, об этом остаётся только догадываться.

К своим двадцати шести годам (Димка младше меня на целых семь лет, а в год поступления в Литинститут мне стукнуло 33 года) он был блестяще образован, эрудирован, знал назубок все тонкости, все нюансы русской истории от крещения Руси до горбачёвской перестройки. Нам с Колей оставалось только удивляться, когда Димка начинал блистать своей эрудицией. И стихи Митька писал крепкие, любовые»:

...И да грозить будет меч
всяким надменным хазарам.
Древнюю русскую речь
не разбазаривай даром.

Чтобы и внуки смогли,
помня заветы и клятвы,
вывести утром полки
к берегу тихой Непрядвы.

А однажды мне пришлось присутствовать при том, как Загулин играл на пианино «Романс» Георгия Свиридова, играл талантливо и вдохновенно. И этот же Митька, умница Митька рассказывал нам уже на весенней сессии, что он читает (общественная нагрузка – в двадцать-то шесть лет!) каким-то старым ветеранам историю КПСС:

– Старпёры сначала недоуменно смотрят на меня: что за мальчишечку им прислали. Потом начинают каверзные вопросы задавать. Они мне – хуяк! – вопрос! Я им – хуяк! – ответом по башке. Ленина процитирую, Плеханова или ещё кого-нибудь

из этих мудаков. Старпёрам крыть нечем, сидят, слушают...
Историю партии Димка также знал назубок. Они с Костей были «партийные», что несколько озадачивало нас с Колей. Коля пытался несколько раз уличить их в причастности к преступной деятельности коммунистов, но получал такой «отлуп», что до следующей сессии не напоминал нашим друзьям об их партийной принадлежности.
Осенью 1987 года, узнав, что принят в Литературный институт, Митька не остался на установочную сессию, ссылаясь на то, что он не может надолго оставить свою работу. Он ради неё даже решил пропустить первые занятия с Межировым, хотя очень хотел на них присутствовать.

Что за работа у него – Митька не хотел говорить, но весной следующего года мы его не узнали: Загулин появился в общаге в новом с иголки костюме из дорогого материала, в шикарном плаще, шляпе, с кожаным «дипломатом» в руке, при галстукке, причём впечатление было такое, что он и родился с импортным галстуком на шее. В Москве, помимо учёбы, у него были дела по работе, он носил в кармане строгую книжечку в красной обложечке с надписью золотыми буквами «ПРОПУСК В ЗДАНИЕ». В какие здания ходил Загулин в Москве, нам также не было ведомо, только со временем, уже в 1992 году, мы узнали, что наш друг занимает должность заместителя управляющего питерского отделения одного из солидных банков страны. После окончания Литинститута Митька был уже не заместителем, а управляющим Санкт-Петербургским отделением другого, не менее крупного банка, лопнувшего после дефолта 1998 года. Потом (эти сведения о Загулине я нашёл уже в Интернете) он возглавил один из местных банков, а в 2001 году ему было предложено встать во главе банка, носящего имя одного из регионов России, очень и очень богатого нефтью и газом. Надо думать, что, работая на этом посту, наш бывший друг заботится не только о своем благе, но и о благе страны, иначе я и не могу представить деятельности Дмитрия Загулина – с его-то взглядами на жизнь. И дай ему, как говорится, Бог...

В память о Митьке у меня сохранилось пяток писем ко мне и сборничек его стихов, изданный в Питере, с дарственной надписью: «Дорогому...» Как-то, в конце 90-х, он позвонил мне домой, пригласил в гости: дескать, ты только до Питера доберись, а тут я тебе все устрою... Но с поездкой не получилось, и связь наша прервалась. Митька, конечно, сменил адрес, домашний номер телефона (да и у меня они поменялись). Несколько раз я пытался дозвониться к нему на работу, но секретарша Митькина хорошо поставленным голосом отвечала:

– Дмитрий Алексеевич занят.

Или:

– Дмитрий Алексеевич проводит совещание.

– Знаешь, – сказал мне по телефону Костя Савельев, – у меня складывается впечатление что ни мы, ни стихи Митьке больше не нужны. У него сейчас другие интересы...

Наверное, прав Костя, с которым, в отличие от Димки, мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения, переписываемся, перезваниваемся, а иногда и встречаемся, проводя вместе недельку за рыбалкой на архангельских озерах и речушках. Костя – президент одной технической фирмы в Харькове, снабжающей гидравлическими механизмами металлургические комбинаты не только Украины, но и России. Хотя Костя по профессии и технарь, но голова его во всех других жизненных направлениях «варит» не хуже, чем у Димки Загулина, уже то, что Костя – единственный из абитуриентов, сдавший все вступительные экзамены в Литературный институт на одни пятёрки, говорит о его всесторонней образованности. И про стихи Костины говорить не приходится: в 1987 году, когда война в Афганистане ещё не кончилась, для нас настоящим откровением были савельевские военные:

Танкиста по трапу несут в самолёт –
Обрублено сильное тело,
В эфирном угаре запекшийся рот,
Да простыни краешек белый.

Здесь звёзд золочёных не видят во сне,
Здесь проще подводят итоги:
Что звёзды, когда остаётся в цене
Немногое: руки да ноги.

Здесь, может быть, завтра нас пуля найдёт,
На землю горячую бросит.
...Танкиста по трапу несут в самолёт,
а сверху патроны выносят.

Уже на второй литинститутской сессии, Костя, «изменив» первому своему соседу по комнате и земляку Юрию Давидовичу Тамаркину, переселился к нам в комнату. И мы четверо: он, Коля Харитонов, Димка и я, на первый взгляд такие разные, крепко сошлись на все шесть лет учебы.

...Первыми, как я уже сказал, в общаге появлялись мы с Колей. Потом, дня через три-четыре приезжал Костя. А ещё через два дня – Димка. Он обычно прибывал в столицу ночной «Стрелой» и являлся на улицу Добролюбова, 9/11 ранним утром, когда мы ещё крепко дрыхли. Но, предвосхищая его появление, мы с вечера вывешивали на наружную сторону двери листок бумаги с крупной надписью: «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ПИНГВИН ПУЛКОВСКИЙ!!!», наглядно доказывающей, с каким нетерпением ждала наша комната этого «пингвина». Митька, заявившись на этаж, читал эту надпись, стучал в дверь и, визжа от восторга, бросался в наши объятия.

С Димкой и Костей все последующие дни пребывания в Москве казались сплошным праздником и пиром духа. Сдержанный, иногда даже суровый Костя – прямая противоположность Митьки, расслаблялся и отпускал всякие шуточки по поводу нас троих. Загулин же, с удовольствием сбросив с себя начальственную маску, с удовольствием матюгался к месту и ни к месту, дурачился, как мог, и подпрыгивал от переизбытка энергии, сидя на кровати.

Вечером, в день приезда Загулина, в нашей комнате устраивалась шумная пирушка со множеством хорошей закуски. Митька сам бегал за ней в магазин и вместе с мясной и рыбной снедью приносил ворох всякой зелени: петрушки, укропа, кинзы... Мы приглашали в нашу компанию мелитопольского поэта Серёгу Жилинского из нашего, межировского семинара, закрывались изнутри на ключ, открывали первую бутылку водки, и пиршество начиналось. Дойдя до определенной кондиции, компания наша заводила песни. Начинал всегда Митька, мы подхватывали, и на пол-этажа из нашей комнаты звучали в пять голосов «По муромской дорожке», «Наш костёр в тумане светит...», «Как за буйный Терек...», «То не ветер ветку клонит...», «Ой, да не вечер да не вечер...», «Ходят кони над рекою...», «Позарасти стёжки-дорожки...».

Пели мы, обнявшись, погрузившись каждый в свою думу. Только Серёга Жилинский вставал и раздевался до пояса – пьяный, он почему-то имел привычку не сидеть, а стоять, раздевшись до пояса, и петь.

Он же и задал как-то вопрос, повергший всех нас в изумление:

– Почему русские люди, собравшись повеселиться, всегда поют грустные песни?

Действительно – почему? Или это гены наших предков, не видевших в жизни ничего хорошего, сказываются в нас, или водка ныне такая – не веселит, а на унылый лад настраивает?...

Напевшись досыта, мы проветривали прокуренную насквозь комнату (в этот вечер разрешалось курить за столом) и заваливались спать: со второй сессионной недели начинались суровые студенческие будни – экзамены и зачёты, к ним нужно быть готовыми во всеоружии, с ясной головой. Со второй недели весь третий этаж общаги хватался за учебники, в комнатах почти до утра горел свет: кое-кто из взрослых дядей и тётей, как десятиклассник, претендующий на золотую медаль, сидел и зубрил «Современный русский язык» под редакцией Розенталя, кое-кто писал шпаргалки, старательно выводя буквы, помогая себе языком, а кое-кто, понадеявшись на удачу, просто шлялся по этажу из комнаты в комнату в поисках развлечений.

Мы, придя из института и попив чайку, устраивали часа на полтора «тихий час», потом опять пили чай и садились за стол играть в карты – в «козла». «Сбацав» партии две, заставив проигравшую пару проблеть под столом по-козлиному, брали в руки книжки, соответствующие предстоящему экзамену и затихали каждый на своей кровати. Но ненадолго – начинались смешки и подковырки (особенно усердствовали мы с Митькой), потом у нас возникало желание сходить покурить. Костя обзывал нас «дикими людьми» и отворачивался к стене – подремать, а Коля Харитонов, серьёзно готовившийся к предстоящим испытаниям, шикал на нас и выговаривал мне один на один:

– Косте с Димкой ничего учить не надо, у них любой предмет от зубов отскакивает. А мы-то с тобой?! Вот попадётся мне завтра билет по западноевропейской литературе восемнадцатого века, я скажу преподавателю: это такой пласт, который надо пахать и пахать! Разве за несколько месяцев, да вечерами, можно его осилить, всю эту литературу прочитать?

Тем не менее, он сидел за книжками до поздней ночи, а мы с Димкой шли «придуриваться» по этажу. Однажды мы с ним завалились вечером в комнату, где обитал Юрий Давидович Тамаркин – высокий, нескладный, некрасивый, в очках на прыщевато-угреватом лице, этакий бедный еврей-великомученик. Плюс ко всему Тамаркин ещё и заикался в три раза сильнее, чем я, и всегда ходил со страдальческим видом, волоча, как старик, ноги и выставив вперед голову, как жираф. Он все шесть лет носил одну и ту же лёгкую ветровку, брюки и рубашку, имел литературный псевдоним Юрий Финн и писал стихи о французской революции, пожирающей своих детей. Почти в каждом Юрином стихотворении «кровь по желобу стекала» и с визгом падал на шеи невинных жертв широкий нож гильотины.

Одновременно Финн работал над романом, посвящённым Абраму Терцу и Идее Свободы. Юру все жалели, мы неоднократно зазывали его к себе в комнату, угощали колбасой, пирожками и сладким чаем. Юра с жадностью и аккуратно ел, благодарил нас тонким писклявым голоском и шёл работать над своим романом.

Мы с Митькой вечерком и закатились к нему в комнату в самый разгар этой работы. Соседа Тамаркина по комнате, отчаянного бабника – белоруса Генки Метелицы не было на месте, и Юра сосредоточенно скрипел шариковой ручкой, низко склонившись в своих близоруких очках над листом бумаги.

– Юрка, хватит тебе творить! Отбой! – с порога заверещал Димка. – Пойдём лучше выпьем!

– Д-да ч-что в-вы, х-хлопцы, – страдальчески заблажил Юрий Давидович. – Р-ра-аботать же н-надо! Д-да з-завтра в ш-школу идти.

«Школой» Финн именовал Литинститут.

Но Митька не терпел никаких возражений:

– Юра, пойдём выпьем!

– Д-да н-не п-пью я, х-хлопцы! В-вы ж-же з-знаете, – блажил, страдая, Тамаркин.

Он и в самом деле никогда не пил спиртного и не курил.

– Подождёт твоя идея свободы! И Абрам Терц подождет! – Митька уже завёлся. Уж если он пристанет, то не скоро отлипнет:

– Мы хотим с тобой выпить! Ты нас не уважаешь?

– Ув-важаю, – выдал из себя Тамаркин. И вдруг совершенно неожиданно для нас выдал:

– Н-ну х-хрен с с-тобой. Н-неси!

Митька, поражённый до глубины души такой выходкой Юрия Давидовича, быстренько сбегал в нашу комнату, выудил из своего «дипломата» и приволок бутылку «Русской». Налил нам по чуть-чуть, Юре – полный гранёный:

– Юра, мы уже пили. Тебе – штрафной!

Финн мученически посмотрел на нас, потом – на стакан, потом опять на нас и выцедил сквозь зубы весь гранёный. Димка тут же сунул ему в открытый рот сигарету и чиркнул спичку, хотя и знал, что Юра не курит. Но у Финна-Тамаркина как-то сразу помутнели глаза, он принял сигарету и, странно похихикивая, начал пускать дым в потолок.

Через десять минут Митька налил ему ещё полстакана. Юра выпил и занюхал рукавом.

– Ну, что, Юрка? – продолжал экзекуцию Димка, – пойдём сейчас по блядям?!

Юра встал со стула, кивнул согласно головой и качнулся – он был готов пуститься во все тяжкие.

Появление в коридоре пьяного Юры Тамаркина-Финна произвело фурор. Некоторые заочники специально оторвались от учебников, чтоб поглядеть на него. Юра, решивший идти «по блядям», ввалился в комнату Раисы Михневой, ставшей впоследствии Рахель Абельской, сел мимо стула на пол, облевался и тут же заснул.

– Низкие, подлые люди! – возмущалась Раиса на весь этаж. – Напоили Юру, этого святого человека!...

На следующее утро мы с Димкой, мучаясь чувством вины, отпаивали Юрия Давидовича крепким чаем и подсовывали ему бутерброды с колбасой. Юра, вдруг разоткровенничавшись с похмелья, рассказывал нам, как лично к нему в гости в Харьков приезжала модная тогда поэтесса Марина Кудимова. И ещё рассказывал про своё близкое знакомство с Борисом Чичибабиным – замалчиваемым советским режимом харьковским поэтом.

В конце 90-х Костя Савельев прислал мне из Харькова двухтомник Бориса Чичибабина, и там я увидел Юрия Тамаркина среди десятка людей, запечатлённых рядом с Чичибабиным на чьей-то даче в Переделкино. В подписи под снимком Тамаркин значился как «поэт Юрий Финн». Фотографировался он, ещё учась в Литинституте, а по окончании его, по сведениям Кости Савельева, Финн эмигрировал в Германию, где нынче и проживает вместе со своей идеей Свободы.

С Юрой в общаге было связано несколько случаев...

Общагу частенько навещали студенты с нашего курса, проживающие в столице – москвичи. Они приходили сюда пообщаться с «себе подобными» за рюмкой водки – в институте же так не пообщаешься, попеть песен, говоря современным языком – потусоваться. Москвич Санька Портнов, пишущий прозу, во хмелю отличался крутым и задиристым нравом. Уже в конце нашей учёбы, в предпоследний её год, он «прыгнул» на коменданта общежития Вальтера (фамилию Вальтера я запамятовал), за то, что он не хотел пускать пьяного Портнова на этажи – тот на свою беду попался на глаза коменданту в вестибюле. На беду – потому что Вальтер этот служил раньше то ли в десанте, то ли в органах на Лубянке и по выходу на пенсию (в 40 лет!) был «откомандирован» комендантствовать в общежитии Литературного института. Портнов «прыгнул» на Вальтера, но тот, вспомнив прежние навыки, ловким и незаметным движением сломал Саньке руку чуть выше запястья.

Так вот этот самый Санька Портнов двумя годами раньше схватки с Вальтером ударил бедного человека Юру Тамаркина-Финна кулаком в грудь. Пьяный Санька зажал на лестничной площадке какую-то студенточку с дневного отделения, та заверещала, и тут шедший из «школы» Юрий Давидович, попытался сделать Портнову внушение. Интеллигентный Юра сделал внушение, как интеллигент, но Портнов в ответ размахнулся и ...

Подбитый портновким кулаком Юра поднялся кое-как в свою комнату, лёг там на койку и не вставал с неё четыре дня, причём даже для принятия пищи принимал (простите за тавтологию) сидячее положение с помощью привязанного к противоположному от его головы козырьку койки длинного бинта. Юрий брался двумя руками за этот бинт, тянул его на себя и таким образом садился и пил чай, услужливо налитый ему Генкой Метелицей. Грудь Юрия Давидовича также была затянута (поверх рубахи!) от подмышек до пупка марлевой повязкой, он лежал все четыре дня со страдальческим видом и тихо ойкал и охал. К докторам Юра не обращался (где найти в нашей общаге доктора?!), врачебную помощь ему компенсировали своей заботой и вниманием однокашники и однокашницы, приходящие в тамаркинскую комнату с разного рода приношениями. Каждый, проявляя участие, причём зная, что случилось с Юрой, спрашивал:

– Как же так, Давидович, что с тобой случилось, почему ты лежишь с перебинтованной грудью?

И Давидович отвечал, не снимая с лица страдальческого выражения:

– В-в-с-с-гу-ту-пился з-за д-девушку.

Правда, по нужде Финн ходил сам, держась руками за стенку, но – в женский туалет, поскольку тот был ближе к Юриной комнате, нежели мужской. А к первому экзамену больной выздоровел, снял с себя бинты, взял под мышку виды выдавшую сумку и потащился в «школу».

Вторая история была смешная... Как-то Тамаркин познакомился с «девушкой» с верхних этажей и привёл её к себе в «номер», надеясь, видимо, продолжить знакомство, сойтись с девушкой ближе, но не в смысле телесной (она-то наверняка думала иначе) близости, а в смысле общности взглядов на Абрама Терца и идею Свободы.

Юра привёл «девушку» (всех особей женского пола до 40 лет он называл «девушками») и пошёл на кухню кипятить чайник, с целью угостить гостью чем Бог послал. Вернувшись же через пятнадцать минут назад с пышущим паром чайником, он

обнаружил картину, переходящую всякий предел Юриного возмущения: на его, тамаркинской койке, с его – тамаркинской гостьей занимался любовью в прямом смысле этого слова Генка Метелица – известный всей общаге бабник. Как уж он уломал «девушку» за такой короткий отрезок времени – одному Метелице известно, но больше Юрий Финн не водил студентов в свою комнату...

И вообще – всяких курьёзных случаев в нашей общаговской жизни было более чем предостаточно. Другой Юра – Виноградов – познакомился однажды на улице с интеллигентной парой – мужчиной и женщиной, влюблёнными друг в друга.

Что уж там они наобещали Юре, но он, под видом приехавших навестить его родственников, провёл эту пару на третий этаж и предоставил им свою комнату и койку, выпросившись на ночлег к соседу – одиноко проживающему Мише Елькину, благо свободная «шконка» с голым матрацем у того была.

Пара эта быстренько сбегала в душ и, как

поётся в одной старинной песне, за елькинской стенкой «всю ночь кровать скрипела», а Юра Виноградов лежал на голом матраце, отделённый от влюбленной пары этой стенкой, и мечтал, какое же всё-таки вознаграждение получит утром за предоставленную случайным знакомым плацкарту». Под скрип койки за стенкой Юра уснул...

А утром его ждало разочарование: в пустой своей комнате, на измятой своей постели он обнаружил лист бумаги с крупной надписью шариковой ручкой:

«СПАСИБО ЗА КОМПАНИЮ!!!» Парочка эта – скорее всего и мужчина и женщина были москвичами – искали место, где бы можно провести ночь любви. Вот им и попался «под руку» доверчивый Юра Виноградов, над которым смеялся потом весь этаж.

* * *

Хотя заочники и заочницы были взрослыми людьми и жили на одном этаже, романы или даже мелкие интрижки случались между ними весьма и весьма редко. Речь ведь здесь идёт не только о представителях противоположных полов, а о народе пишущем, предъявляющим друг к другу не просто человеческие претензии. Сильный пол относился к слабому свысока и презрительно, считая, что литература – не женское дело. Слабый же пол платил сильному неприязнью, потому всякие высокие чувства здесь были исключениями. И исключения эти составляли только два романа – между Арвидасом Лапукасом и Мариной Хлебниковой (полной тёзки известной певицы) – поэтессой из Крыма и Володьки Беспалова с Людкой Бурякиной, о котором я уже говорил.

Были в общаге и свои, «доморощенные», «путаны», если можно назвать путанами этих несчастных, о которых пойдёт речь ниже.

Однажды, вернувшись после лекций «домой», мы обнаружили в коридоре нашей мужской половины, а точнее сказать на подоконнике, некую девицу. Девица безразлично смотрела во двор и курила, пуская дым куда-то под потолок. При виде нас она лениво спустила ноги на пол и также лениво пошла по коридору, нарочито покачивая бедрами. Тонкая длинная юбка на ней просвечивала насквозь, делая тело девицы совершенно обнажённым ниже пояса. Походка этой «дивы» была столь призывной, что Генка Метелица, не снимая с плеча сумку с книжками, двинулся за ней, ступая осторожно и вкрадчиво, как кот, идущий на поиски добычи.

Потом девица эта уже примелькалась на нашем этаже, все уже знали, что она – Наташа из Питера, поступавшая, но не поступившая в прошлом году в Литинститут. Считая позором возвращение домой, Наташа решила поступать на будущий год. Написав родителям, что всё нормально, что она учится на дневном, осталась жить в общаге, кочуя из комнаты в комнату, из женской – в мужскую, из мужской – в женскую, зарабатывая на пропитание древнейшей в мире профессией.

В этом году она также не поступила в желанный вуз и осталась в общаге ещё на год, каким-то образом избегая гнева коменданта. Вскоре к ней прибилась такая же неудачница Ольга, и вдвоём курсировать по всем этажам общаги им стало сподручнее и веселее. Они ночевали тот тут, то там, их услугами не брезговал даже пустившийся в тяжёлый запой после года трезвой жизни известный прозаик Н. с Высших литературных курсов.

Они – и Наташка и Оля – ходили за этим прозаиком, как собачки, зная: где он, там и выпивка, и еда. А Н., пьяный, обнимая их, сюсюкал:

– Ну, что, «грелочки» мои, выпьем?

И пояснял «почтенной публике»:

– Наташка мне грудь греет, Ольга – спину. Втроём тепло спать, ой как тепло! Правда? – спрашивал и «грелочек» их благодетель, и те дружно хихикали в ответ ему.

Однажды утром, разыскивая по нашему этажу Сашку Шиненкова, я заглянул в одну из комнат, дверь которой была безнадёжно перекошена и не закрывалась на замок. В комнате этой, на единственной кровати, на грязном тюфяке, без подушки, накрывшись каким-то тряпьём, спали, обнявшись, Наташка с Ольгой.

В комнате стоял запах табака и водочного перегара, на грязном столе валялись какие-то объедки, стояли пустые бутылки и стаканы. От грязного замусоренного паркета, от ободранных стен, от этих двух спящих несчастных девиц веяло безысходностью и жизненной трагедией. Непоправимой трагедией, поскольку трагедия всегда непоправима...

Вместе с нами поступила в институт критикесса Марина Тищенко из Якутска. Она – наполовину якутка, наполовину – украинка, полная, грудастая – кровь с молоком, образованная красивая женщина к концу учёбы превратилась в жалкое подобие человека. На втором курсе Марина перевелась на дневное отделение, стала постоянно жить в общаге. Где-то там, в Якутии, у неё оставался сынишка, сообщение о гибели которого во время пожара Тищенко получила спустя две недели после трагедии.

Это её и подкосило. Говоря по-русски, у Марины потихоньку «поехала крыша» плюс к этому, постоянно живя в Москве, она пристрастилась к наркоте, похудела, даже не похудела – высохла, глаза её потухли, потеряли осмысленное выражение, её, как и Наташку с Ольгой, «пользовали» по пьянке как заочники, так и «дневники».

К шестому курсу Марина была уже на половину сумасшедшей. Родственники её не обнаруживали себя, кураторша нашего курса Нелли Константиновна сказала нам, что идёт оформление документов на помещение Тищенко в дурдом.

И ещё одна трагедия – Серёга Жилинский, добрейшей души человек, обещавший стать большим детским поэтом тоже сошёл с ума, едва дотянув до четвертого курса. Не знаю, что послужило толчком к этому, неужели та встреча в редакции журнала «Юность»?..

Кирилл Ковальджи, заменивший на время Межирова в руководстве нашим семинаром, будучи членом редколлегии «Юности», пригласил нас на встречу с поэтами-авангардистами – Алексеем Парщиковым, Иваном Ждановым, Ниной Искренко, Дмитрием Приговым. Некоторые из этих имён уже мало что говорят сегодняшним ценителям поэзии, но в те времена, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века они, можно сказать, гремели!

Я не поехал в «Юность» на эту встречу, а Жилинский поехал и читал там свои стихи, получившие всеобщее ядовитое неодобрение авангардистов. После этого мы и стали замечать, что с Серёгой происходит что-то странное: ему стало казаться, что его всюду преследует Дмитрий Пригов, не только во сне, но и наяву. Один раз, по возвращении из института в общагу, Серёга шёпотом сказал мне в метро, что его собираются убить жидомасоны, и в частности Пригов. На осеннюю сессию на четвертом курсе Жилинский не приехал, и вскоре мы узнали, что он определён в «дом печали». Серега сошёл с ума.

Были в нашем доме на Добролюбова, 9/11 и другие «двинутые» на почве литературы, прямые противоположности Жилинскому, ибо вызывали не сострадание, а наоборот – улыбку.

Например, земляк Кости Савельева и Юрия Давидовича Тамаркина-Финна харьковчанин Иван Новицкий. Иван поступал в Литинститут двенадцать раз и принят был только на тринадцатый, и то, конечно, не за талант, а за упорство, а, может быть, и просто для смеха: должен же быть «в каждой деревне – свой дурак»: в приёмной комиссии нашего вуза люди не без чувства юмора сидели.

Глаза Ивана Новицкого горели сумасшедшим графоманским огнём. Он поступил на дневное отделение в том же году, когда мы поступили на заочное, и часто бродил по третьему этажу в поисках жертвы. На верхних этажах «дневники» просто закрывали перед носом Ивана двери в комнаты и запирали их изнутри на ключ.

Поймав же кого-нибудь из заочников на нашем этаже, Иван затаскивал его в угол, зажимал между мусоропроводом и газовой плитой и начинал читать свои стихи. Вырваться из угла оказывалось делом непростым – Иван имел косую сажень в плечах, объятия его ничем не отличались от медвежьих. Коронной «фишкой» Новицкого была поэма о войне в Афганистане, пересыпанная словами «джирга», «агрессор Пакистан», «моджахеды» и далее всё в таком духе. Иван сам председательствовал на этой «джирге» на протяжении километра кое-как зарифмованных строчек.

– Ванька, отпусти человека! – рычал на Новицкого, показываясь в дверном проёме кухни, Костя Савельев, и тот с сожалением выпускал из угла ошалевшую от его стихов жертву.

Новицкий и без того имел бомжеватый вид, а проживание в общежитии совсем превратило его в прозаического бомжа, оборванного, заросшего до самых глаз грязной бородой. Стипендии не хватало Ивану на еду, он промышлял пустыми бутылками, причём носил их за плечами в невесть где найденном грубом льняном мешке, бутылки громыхали у него за спиной. Приходя во дворик Литинститута, он сбрасывал мешок на землю около памятника Герцену, засовывал его под скамейку и шёл на лекции. В аудитории Иван сидел в гордом одиночестве – никто из студентов, а тем более – студенток не решался сесть с ним рядом из-за специфического запаха, исходившего от Новицкого.

Потом Иван стал подрабатывать торговлей в подземке на станции метро «Пушкинская» патриотической литературой – газетами «День» и «Чёрная сотня». Глаза его горели графоманско-патриотическим огнём и в глубине подземного перехода светились не хуже, чем у голодного кота. Но, по всей видимости, ни сбор бутылок, ни торговля газетами не приносили Ивану большого дохода: борода его становилась всё грязнее, а одежда – все бомжеватее. Однажды в дикий октябрьский холод Иван появился на нашем этаже в неопределённого цвета халате до колен, надетом на голое тело, и босиком. Надо отдать ему должное – ни в какой ситуации Иван не терял присутствия духа, такая жизнь ему нравилась и он с удовольствием исполнял роль непризнанного гения в изгнании. И народ относился к нему соответственно – как к блаженному, многие попросту избегали общения с Иваном...

А ещё на нашем курсе училась прозаик Света Матина – красивая, можно сказать – знойная, южанка. Но тоже, увы, не без странностей: приезжая на сессию из своего Краснодарского края, Светлана везла с собой и мать и селилась (не без разрешения коменданта) с ней в одной комнате.

Мама исполняла при своем дитяти роль одновременно и няни, и секретарши. Она даже попробовала ходить вместо неё на занятия – Матина любила поспать, ей не хотелось тащиться на первую, и даже и вторую пару лекций в столь «ранние» часы. Профессор Иванов, читавший нам на первом курсе истории КПСС, увидев в аудитории пожилую женщину, усердно записывающую в тетрадь его слова, поднял её с места:

– Простите, я вас что-то не припомню среди абитуриентов...

– Я – мама Светланы Матиной. Она отсутствует по уважительной причине. Просила меня лекцию записать...

Иванов вежливо попросил маму Светы покинуть аудиторию с пожеланием видеть на лекциях не её, а дочку.

В общежитии же можно было наблюдать такую картину: дверь в комнату Матиных распахнута настежь, вдоль неё от стены к стене нервной походкой прогуливается дочка с дымящей сигаретой в зубах. За столом, за пишущей машинкой сидит мама. Света время от времени вытаскивает изо рта сигарету и, не останавливая движения, диктует матери очередное, пришедшее ей в голову предложение. Та тут же склоняется над кареткой и запечатлевает на бумаге дочкины бессмертные слова.

– Светлана роман пишет, – приставляя палец к губам, говорила Наташка Ахпашева, время от времени посещавшая эту комнату. – Роман называется «Малафейские времена».

– Следующая её «вещь», – иронизировал Митька Загулин, – наверняка будет называться «Менструационный период».

К сожалению, Светлана Матина по неизвестным причинам бросила институт после третьего курса и её бессмертные произведения остались тайной для нас.

Да, третий этаж нашей общаги видал всякое. Некоторые его обитатели, в том числе и я, пускались в неоправданные загулы по приезду в Москву (обстановка соответствовала!), но всегда к началу зачётов и экзаменов приходили в себя. А некоторые...

Как-то на осеннюю сессию вместе с нашим курсом прибыл ещё один заочный курс, шедший в Литинституте сразу за нашим. И трое студентов с этого «младшего» курса «заквасили» в своей комнате. Сначала они квасили одни, потом – несколько ночей и дней – с Наташкой и Ольгой, причём та и другая несколько раз выскакивали по нужде из комнаты чуть ли ни в чём мать родила. Потом девиц выгнали, и несколько дней загулявшим ребятам подносил в комнату спиртное наш Юра Виноградов, заквасивший вместе с ними. Трёхнедельная сессия подходила к концу – студенты продолжали гудеть, ощущая себя уже вне времени и вне пространства. Поднимались они из этого «вне» только ради того, чтоб принять очередную дозу спиртного и опять упасть без чувств.

Всё закончилось тем, что в конце сессии двоих ребят из этой комнаты увезли на «скорой» с подозрением на белую горячку; третий же, кое-как придя в себя, смотался домой, так и не появившись ни разу в институте.

...Если кому-то покажется, что я сгустил краски, описывая наш общаговский быт, могу сказать, что ничего я здесь не прибавил, не убавил: кто жил на Добролюбова, 9/11, тот о других событиях и приключениях может рассказать, ибо в отсутствии нас в стенах общежития и не такое происходило – люди из окон выбрасывались, люди, когда их в три часа ночи вахтёр не выпускал на поиски спиртного, брали в руки чемодан и заявляли вахтёру, что уезжают домой, что им срочно нужно на вокзал, ибо дома такое случилось!..

А через час возвращались пьяные в дугу с парой бутылок горячительного в пустом до этого чемодане и слёзно умоляли вахтёра впустить их обратно, ибо на улице дождливо и мерзко, а денег на такси – доехать до вокзала – у них нет, а городской транспорт начнёт функционировать только в шесть утра...

Может быть, кто-нибудь напишет или уже давно написал про наш «неугомонный», по словам Рубцова, дом на Добролюбова лучше, чем я, но – клянусь! – повествования наши будут схожи, ибо ничего выдумывать и высасывать из пальца здесь не надо – вот она, натура, во всей своей красе и во всём своём безобразии...

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!

– Легко ли учиться в Литинституте? – будучи ещё абитуриентами, спросили мы у одного из старшекурсников заочного отделения. И не поняли его ответ:

– Если хочешь учиться – тяжело, а не хочешь – легко!

Смысл этой фразы дошёл до нас где-то к курсу третьему. Действительно, если хочешь знать весь вузовский материал – это огромная куча книг, которую надо перелопатить в промежутке между сессиями, и это всё равно, что за одну ночь пройти расстояние от Архангельска до Москвы. Тем более что ты – студент-заочник: ещё ведь и работать должен, а не только контрольные писать и сидеть за учебниками. Одна книга Розенталя «Современный русский язык» чего стоит! А вся мировая литература: и античная, и мрачного средневековья, и эпохи Возрождения и всех последующих веков вплоть до конца века двадцатого! Вот уж прав был Козьма Прутков, когда воскликнул: «Нельзя объять необъятное!»

И по приезду в Москву на сессию после двух, трёхдневной пьянки обкладываться учебниками – дело напрасное: проскачешь «галопом по Европам», а в голове всё равно ничего не удержится.

Многие из нас, заочников, предпочли вариант второй, то есть, если не хочешь учиться – в учёбе будет легко. Главное – кое-как «спихнуть» контрольные, приходить на экзамены, а самое главное – чтобы на кафедре творчества всё было хорошо, то есть, если ты пишешь стихи, то раз в полгода должен посылать или приносить на эту кафедру что-нибудь новенькое.

А на экзамене преподаватель наводящими вопросами всё равно вытянет из тебя десяток фраз, за которые поставит если не «хорошо», то уж «удовлетворительно» – обязательно!

Вот, например... Экзамен по русской литературе 18-го–19-го веков принимал у нас «препод» по фамилии Дёмин (имя-отчество я, к сожалению, запамятовал). Я вытащил билет с вопросом о творчестве Державина, каковое, к стыду своему, совсем не знал. Ну не интересен мне был Державин, и всё тут, пусть он даже самого Пушкина, «в гроб сходя, благословил».

Дёмин, подойдя ко мне с того и другого бока и поняв, что этим ничего не добиться, спросил напрямую:

– А могли бы вы процитировать что-либо из Гаврилы Романыча?

– Могу! – нашёлся я и процитировал:

Утром раза три в неделю
С милой Музой порезвлюсь,
А потом иду в постелю
И с женою обнимусь.

Это было всё, что я знал наизусть из стихов бывшего губернатора Олонецкого края, в каковой входил когда-то и мой родной город Каргополь, и Державин пару раз осчастливил его своим посещением.

– Молодец! – сказал Дёмин. – Пять! И поставил мне в зачётку жирное «отлично».

Преподаватели наши жалели и щадили нас, понимая, что тридцати-сорокалетним мужикам, многие из которых женаты и имеют детей, дай Бог писать то, что они пишут: прозу и стихи, а остальное им можно и простить.

Михаил Павлович Ерёмин – литинститутский долгожитель, глядя свою седую бороду и хитро поглядывая из-под нависших бровей на экзаменуемого, говорил нарочито ворчливо:

– Ладно уж, ставлю тебе «хорошо», хоть ты и не заслужил. Вдруг передо мной какой-нибудь Рубцов сидит? Будут потом писать современники, что не щадил Михаил Палыч будущего гения, тройки ему ставил...

А куратор нашего курса, Нелли Константиновна, оглядывая полную студентов аудиторию, констатировала со смешком:

– Это вы сейчас на первом курсе все в сборе и все такие паиньки. А к курсу четвёртому на лекциях только треть вас будет сидеть. Вон у нас, на четвёртом-пятом курсах «деятели» есть: приходит похмельный студент на лекцию, а там уже вовсю экзамены идут. Он спрашивает удивлённо: «А что, уже лекционный период кончился? Мы уже сдаём? А чего сегодня сдаём?» И открывает ногой дверь в аудиторию и без зазрения совести идёт сдавать экзамен. И что самое удивительное – сдаёт!

Между прочим всё так в дальнейшем с нами и было. Кто-то пыхтел в общаге над учебниками, а кто-то в это время сидел за кружкой пива на останкинском пустыре. Были у нас два друга – поэт Володька Беспалов из Сибири и прозаик Николай Коняев из Ханты-Мансийска. Неделю по приезду на сессию они пропьянствовали, через неделю Володька пошёл сдавать экзамен по современному русскому языку, и билет, за ответ по которому получил «хорошо», не положил обратно на преподавательский стол, а зажулил его, затырил в карман и принёс Николаю Коняеву – тому на следующий день нужно было идти сдавать этот же экзамен. Николай подготовился по украденному Володькой билету (пусть условный его номер будет четвёртый). Преподаватели тоже подготовились: они пересчитали билеты и, не обнаружив среди них «номера четвёртого», стали поджидать на следующий день того, кто придёт с похищенным документом.

Коняев, скинув билет из рукава в разложенную перед ним «колоду» из остальных билетов, умудрился вытащить «номер четвёртый» и тут же был с позором выгнан из аудитории. Билет водрузили на законное место, и вошедший вслед за Коняевым прозаик Эдик Гайнанов по прозвищу Амамба, поколдовав над столом пару минут, совершенно случайно выволок из общей кучи билет № 4. Преподаватели, решив, что «номер четвёртый» – краплёный и что пол-общаги по нему подготовилось, изъяли злосчастный билет из рук Амамбы, заставив тянуть его другой.

Эдик Гайнанов – уникальная личность на нашем курсе. Уникальная тем, что у него вообще не было волос на голове, он с детства был лишён бровей, словом, не Эдик, а самым натуральным образом – Фантомас.

– Вот это голова! Такой головы у нас ещё не было! – отметил будущий министр культуры в правительстве Гайдара, ректор Литинститута Евгений Сидоров, вручая нам, бывшим абитуриентом, студенческие билеты. – Такую голову можно бы и без экзаменов принять!

...А весной по традиции перед выпускниками – шестым заочным курсом должен был выступить первокурсник. И это дело доверили Гайнанову. Его голова, появившаяся на трибуне, голая, как колено, без бровей и волос, повергла выпускников в лёгкий шок. Зато студенткам лёгкого поведения голова Эдика нравилась, иногда по утрам он, жмуря безбровые глаза, выходил из той или другой комнаты на женской половине общаги.

– Да нравится бабам мою балду гладить, – похвастался как-то он по пьянке. – Она им, наверно, большой пенис напоминает... «Балду» Гайнанова уже после окончания Литинститута я наблюдал несколько раз в «ящике» на Ленинградском канале – он работал на питерском телевидении каким-то технарём. А потом этот канал перекрылся каналом «Культура» и Эдик исчез с экрана...

* * *

На двух первых курсах с нами учился Арвидас Лапукас, драматург из Каунаса, тоже личность весьма заметная. В противоположность Амамбе он носил длинные, ниспадающие на плечи волосы и шикарные очки в золотой оправе. Арвидас был сыном видного партийного работника Литовского ЦК партии, кроме него никто из прибалтов в Литинституте не учился. На него – высокого, элегантно одетого, всем своим видом похожего на иностранца, даже на улице «западали» молодые женщины.

Мы познакомились с ним в первые дни нашего абитуриентства. Арвид угощал меня и Колю Харитонову привезённой из

Литвы вкуснейшей домашней колбасой, Витька Борисов читал нам учебник русского языка за 7-й класс, мы слушали его и запивали колбасу «Жигулёвским» пивом прямо из бутылочного горлышка. Арвиду понравились мои стихи, на почве их мы и сошлись. Однажды он предложил мне поехать в Дом актёра (позже сгоревший) – там у него была назначена встреча с русским драматургом Николаем Мишиным.

С Арвидом и с Мишиным – весёлым, немножко склонным к полноте здоровячком средних лет, мы выпили в Доме актёра граммов по сто коньячка, а потом судьба привела нас на десятый этаж гостиницы «Интурист», в шикарный бар, где мы и расположились за уютным столиком, в надежде, что здесь нам удастся выпить настоящей русской водки, с коей в 1987 году в столице была напряжёнка.

В «Интурист» в то время впускали отнюдь не каждого желающего: на швейцара подействовали элегантный костюм и длинные волосы Арвида. Арвид ещё брякнул швейцару пару слов по-литовски и показал широким жестом на меня с Мишиным – это со мной! – и мы прошли в лифт.

В баре, пока Арвид договаривался с барменом насчёт водки, к нашему столику подседа миловидная, подстриженная под мальчика, путана и откровенно начала «снимать» Николая. Но тут к нам подлетел донельзя рассерженный Лапукас: в водке ему отказали – бармен попросил предъявить паспорт иностранца и вид на жительство в «Интуристе», - и ввиду отсутствия у Арвидаса того и другого попросил нас покинуть бар.

Мы, опозоренные, оставив путану сидеть с раскрытым от негодования ртом, быстренько рванули вниз, на широкую московскую улицу, которая и привела нас в кафе «Ивушка», в самое начало Нового Арбата, где мы и залили свой позор изрядной дозой коньяка.

Мы сидели в кафе, пили, и я по просьбе Арвида читал Мишину свои деревенские стихи. Они нравились драматургу, он одобрительно побрякивал и время от времени хлопал себя рукой по колену:

– Настоящие у тебя стихи! Русские! Слушай, у меня к тебе такое предложение: сочини-ка ты стихотворение про русскую печь посреди Москвы. Ты же поэт! Ты же и печник! Вот и давай напиши стихи! Давай поставим печку на место бассейна «Москва», где храм Христа Спасителя раньше стоял. Пусть печка топится, и пусть русские люди, живущие в столице, а настоящих русских здесь не так уж и много – азиаты и прочая шушера заполонила всю матушку Москву, – так вот, пусть русские люди приходят к этой печке погреться, если им трудно станет. И сам товарищ Ельцин (Е.Б.Н. был тогда первым секретарём Московского комитета компартии) приходит греться, и пусть он видит, как плохо живётся здесь братьям-славянам!

Забегая вперёд, скажу: Николай Мишин впоследствии стал главным редактором патриотического издательства «Палей» при Союзе писателей России, «прославившегося» тем, что выпустило книгу стихов поэта Анатолия Осенева, более известного, как «гекачеписта» Лукьянова, сидевшего тогда за своё участие в путче в «Матросской тишине».

Стихи про русскую печь в столице я написал той же осенью, а в 1988 году стихотворение это опубликовал престижный ежегодник «День поэзии-88», выходящий опять же в престижном издательстве «Советский писатель», где за одну стихотворную строчку платили тогда пять рублей – сумасшедшие деньги! Стихотворение это я посвятил Н. Мишину, но из «Дня» посвящение выпало по неизвестной мне причине:

Людам в городе трудно, как птицам...
Чтоб народ от невзгод уберечь,
Посредине великой столицы
Я поставл бы русскую печь.

Но вначале, поскольку не нужен,
Осушил бы искусственный пруд*,
Осмотрел бы, обстукал снаружи
Весь фундамент, что прячется тут.

Объявил бы народу: «Несите
вашу лепту – раствор, кирпичи».
И на месте, где взорван Спаситель,
Основал бы начало печи.

И поставил бы печку такую –
С православным крестом на челе.
Нет, за всех говорить не рискую,
Но чтоб русские жили в тепле.

Чтобы в холодные, снежные зимы
Каждый русский из вас, москвичи,
И не только морозом гонимый,
Смог погреться у этой печи,

Чтобы в центре советской столицы
Раздавалась славянская речь,
И светились улыбки на лицах,
И топилась бы русская печь.

Чтоб огонь с неслабеющей силой
Нагревал бы печные бока.
Чтоб частицу тепла доносило
До возвышенных залов ЦК...

Интересно получается: мои знакомые – Пётр Алёшкин и Николай Мишин возглавляют в Москве издательства, первый – «Голос», второй – уже упомянутую мной «Палей», и я давно и запросто мог бы обратиться к ним по поводу издания своей книжки, но считаю это не совсем удобным.

А, может быть, горький опыт попытки издания отдельного сборника в Москве удерживает от обращения к тому и другому... После обсуждения моих стихов на семинаре в «Олимпийце» один из его руководителей – Михаил Числов, занимающий тогда должность заместителя главного редактора издательства «Советский писатель», сказал мне:

– Подготовьте рукопись сборника и принесите в издательство.

К осени того же 1989 года я подготовил рукопись и, приехав на осеннюю сессию, пошёл в «Совпис». Числов принял меня и проводил к заведующему отделением поэзии издательства поэту Александру Боброву.

Бобров взял мою папку, полистал, положил на стол и попросил захаживать, узнавать о её судьбе. Судьбы же, говоря попросту, никакой и не было, рукопись затерялась в недрах издательства, да так надёжно, что когда года через полтора я попросил Боброва вернуть её назад, папку с моими стихами так и не смогли найти.

Был и ещё эпизод. Весной 1987 года, накануне поступления в Литинститут, я послал десяток своих стихотворений в журнал «Наш современник». И через месяц получил письмо, написанное собственноручно – авторучкой! – от заместителя редактора журнала Александра Казинцева. Казинцев хорошо отзывался о моём творчестве, а в конце стояла такая фраза: «Будете в Москве – заходите в редакцию в гости».

Мы и зашли. Осенью того же года. Вместе с Колей Харитоновым. Я даже письмо от Казинцева захватил, чтобы ему показать. В доме на Цветном бульваре, 32 нас встретили не очень-то приветливо. Правда, когда я назвал имя Александра Ивановича, нас провели к нему. Казинцев узнал свой почерк, пригласил в кабинет Геннадия Касмынина (ныне покойного. — А. Р.) — ответственного за стихи в «Нашем современнике», и сказал:

— Вот! Прекрасные стихи у парня!

И ко мне:

— Стихи с собой?

К сожалению, с собой стихов у меня не оказалось, они остались лежать в общаговской тумбочке. Мы же в «гости» к Казинцеву зашли, и я по наивности думал, что те стихи, что я прислал весной, сохранились у него.

Но они не сохранились. Александр Иванович попросил меня принести подборку стихов и отдать их лично Касмынину. Я принёс и отдал. Касмынин просил звонить. Я звонил. Раза два или три. Потом перестал. Стихи затерялись в недрах редакции...

И был ещё один случай. Мой однокашник Александр Сорокин, будучи знакомым через Межирова с поэтом Евгением Храмовым, работающим в журнале «Новый мир», ошеломил меня как-то на перемене между двумя лекциями:

— Слушай, тобой Храмов заинтересовался. Давай зайдём сегодня после занятий в редакцию «Нового мира».

Редакция от Литинститута — рукой подать! Мы зашли. Я познакомился с Евгением Храмовым — тучным, немного вальяжным метром, ведущим себя именно как метр:

— Читал ваши стихи, — сказал он, пожимая мне руку. — Если не затруднит, пришлите стихотворений 10–15 в редакцию на моё имя.

Как можно догадаться, присланные мной стихи — лично Храмову — опять же безвозвратно пропали.

Тем не менее я не обижаюсь ни на Касмынина (Царство ему Небесное!), ни на Храмова, ни на Боброва. Бог с ними... Мало ли поэтов стучались в те годы в двери редакций! Только Москва насчитывала 10 000 членов Союза писателей. Тем более что над перечисленными мной людьми стояли редактора, а у редакторов свои пристрастия. А скольких авторов нужно было напечатать по знакомству, через знакомого знакомых...

И всё-таки один столичный журнал опубликовал мои стихи. Они появились в «Москве» №1 за 1999 год, уже задолго после окончания Литинститута... Я и этим доволен...

* * *

...Но вернёмся в кафе «Ивушка» на Новом Арбате. Уже темнело, когда мы покинули его, находясь в самом что ни на есть распрекрасном расположении духа. Старый Арбат рядом с Новым, и разве мы могли пройти мимо самой свободной в ту пору улицы Советского Союза. Конечно же, мы свернули на «офонаревший» Старый Арбат.

Тут во всю кипели свобода и демократия, а заодно и гласность, и плюрализм мнений. Если днём на улице, воспетой Булатом Окуджавой, царили художники и продавцы матрёшек и балалаек, расписанных в стиле «а-ля-рюс», то вечером сюда собиралась вся московская богема: тут и там звенели гитары, звучали песни, читались стихи, в основном — политические, типа:

Ну вот, дождались мы момента
И посадили президента.
Но, может, уличив момент,
И нас посадит президент!

Туда и сюда по пешеходной улице курсировали толпы народа, люди кучковались около той или иной группы гитаристов, поэтов, политиканствующих ораторов, хлопали в ладоши, выкрикивали слова поддержки и шли дальше — к другим выступающим.

«Бешенство правды-матки» — так кто-то метко окрестил всё происходящее на Старом Арбате конца 80-х годов прошлого века.

Николай Мишин дёрнул меня за рукав:

— А ну-ка, выдай им что-нибудь деревенское! Они тут на политике зациклились, совсем о русском народе забыли! Уважь — выдай!

Они с Арвидасом поднатужились и подняли меня на какую-то тумбу метровой высоты. Разгорячённый выпитым коньяком, присутствием огромной массы людей, светом арбатских фонарей и ощущением духовной свободы личности, я, забыв про своё заикание, начал читать: про родную деревню, про одинокий помещичий дом, про бобыля, про разрушенные церкви. Вокруг тумбы постепенно собралась солидная масса народу. Моё стихотворение про деда с бабой, одиноко живущих на хуторе и пугающих кабанов игрой на старой гармошке, чтоб те осенними ночами картошку в огороде не копали, — сорвало почти бурные аплодисменты. Потом я начал читать что-то хулиганское — толпа одобрительно загудела. Потом перешёл на цикл «Стихи из дурдома»:

Брёл апрель по задворкам России,
Был закат неестественно глуп.
Шли толпою душевнобольные
На танцульки в дурдомовский клуб...

Это был мой «звёздный час», это было нечто: я, две недели назад строивший печку-голландку в глухой архангельской деревни, печник, ставший абитуриентом одного из престижнейших вузов страны, именовавшейся СССР, стоял на тумбе в самом центре Москвы, в каком-то километре от Кремля, и шпарил свои стихи, а толпа искренне аплодировала мне, тут и там раздавались возгласы одобрения.

Когда я устал и спрыгнул с тумбы, народ окружил меня: кто-то требовал автограф, протягивая мне кто блокноты, а кто просто денежную купюру, чтобы я расписался на ней. Кто-то пытался уточнить мою фамилию, переспрашивал, через букву «т» она пишется или нет.

От толпы нам пришлось спасаться бегством: Арвидас дотянулся до моей руки, вытащил меня из кольца окружившего тумбу народа, и мы побежали в сторону Смоленской площади и Министерства иностранных дел. Кто-то бежал за нами, громко топая и прося остановиться, требуя с меня автограф.

— Ну, молодец! Ну, ты им выдал! — хвалили меня на ходу Николай с Арвидасом.

Наконец уже в конце улицы нас оставили в покое. Но навстречу, чуть не столкнувшись с нами грудь в грудь, выплыли из мягкого полумрака две девицы в мини-юбках:

— Мальчики, дайте десять рублей!

Николай Мишин попал в их объятья, подхватил ту и другую за талии и пошагал с ними в обратную сторону, сделав нам прощальный знак рукой: дескать, я исчезаю! Да и то: было уже за полночь, а жил он не в самой Москве, а близ неё, в городе Климовск-1, откуда и написал мне в деревню несколько писем. Адресами мы с ним обменялись ещё в «Ивушке».

Николай «слинял», а мы с Арвидом пошли по ночной Москве и минут через двадцать оказались не где-нибудь, а на Красной площади, выйдя на неё со стороны Исторического музея.

На главной площади страны не было ни души: только я и Арвидас, Арвидас и я.

– Давай пройдем по площади, – предложил он.

Звёзды на кремлёвских башнях рубиново горели. Огнём, но не рубиновым, а неоновым был залит вход в Мавзолей, перед которым, по левую и правую стороны дверей неподвижно стояли два солдата с карабинами. Каблуки наши в ночной тишине почему-то очень громко стучали по брусчатке, видевшей военные парады, праздничные демонстрации, брусчатке, на которую через каких-то две недели сядет маленький самолётик, управляемый храбрым немцем Маттиасом Рустом.

Эхо наших шагов отдавалось где-то под куполами храма Василия Блаженного.

– Чёрт возьми, я горжусь тем, что живу в этой стране! – остановившись посреди площади, вдруг воскликнул Арвид, видать, от нахлынувших на него чувств.

Мы дошли до Лобного места.

– Представляешь, сколько глаз наблюдает сейчас за нами?! – вдруг полушёпотом озадачил меня мой прибалтийский приятель.

– А ведь и верно! – также шёпотом ответил я ему. – Не может быть, чтоб за нами не следили!

И, тем не менее, никто не подошёл к нам, не окликнул и не остановил. Мы одни на этом огромном брусчатом пространстве, одни во втором часу августовской тёмной ночи полюбовались на Минина и Пожарского, на всё кремлёвское великолепие, на сменившийся на наших глазах Почётный караул у Мавзолея, дошли до конца площади и свернули направо – на Тверскую улицу, ведущую к Пушкинской площади и Литературному институту. На Тверской поймали такси и водитель мигом домчал нас по пустынным улицам до дверей общежития.

Пожилая вахтёрша, отпирая дверь на наш стук, ворчала полусонно и недовольно:

– Ладно бы хоть ещё студентами были. А то ещё неизвестно: одной ногой тут, а другой – там, и туда же – полуночничать!..

Это всё запомнившиеся мне яркие фрагменты нашей литинститутской жизни...

Где-то в году, наверное, 90-м Сашка Снегирёв – студент с нашего, межировского, семинара пригласил меня, Серёгу Бойцова и Андрея Алексеева в Переделкино, на дачу Пастернака.

Я уже говорил, что по поступлению в наш вуз Снегирёв работал прорабом по ремонту писательских дач в Переделкино. Мы ещё думали: блатник какой-нибудь. Но Сашка оказался замечательным поэтом и хорошим парнем.

В 1990 году он уже не был прорабом, он работал сторожем в том же Переделкино – стерёг дачу Пастернака, которая вот-вот должна была превратиться в дом-музей поэта.

Как раз стояла осень, пасмурная и дождливая, кончался октябрь, сессия наша тоже заканчивалась.

– Поехали к Пастернаку, – предложил Сашка, – вот скоро сделают дачу музеем, тогда пожалеете, что такой момент упустили!

И мы поехали, вчетвером, поздно вечером, закупившись предварительно спиртным – пивом и водкой. В полупустой электричке мы пили пиво, сберегая то, что покрепче до другого момента – до встречи с Пастернаком.

От станции до дачи мы шли в полной темноте. Шли под проливным холодным дождём, то и дело спотыкаясь о корни деревьев, растянувшихся поперёк тропинки, которую наощупь «осязал» ногами Снегирёв, будучи нашим проводником.

Когда мы пришли к заветному дому, на нас сухой нитки не было. Дверь пастернаковской дачи нам открыл изнутри Сашкин сменщик – молодой поэт Илья Колли. Мы сняли грязную обувь и оставили её за порогом. Мы стянули с себя мокрые плащи, пиджаки и прочее, развесив шмотьё поближе к печке и газовым горелкам. Мы выставили на стол водку, хлеб и колбасу. Мы дружно расселись вокруг стола, дружно выпили по первой рюмке, дружно закурили...

Эх, видел бы нас покойный хозяин дачи! Я думаю, если бы даже видел, он бы на нас не обиделся: мы всю ночь вспоминали его и всю ночь читали стихи. Читали и пили. Пили, курили и читали.

А спать пошли на дачу Александра Фадеева: жена почившего в бозе автора «Молодой гвардии» киноактриса Ангелина Степанова оставила Сашке Снегирёву ключи от неё – на всякий пожарный случай. С песнями мы выкатились под утро на улицу и с песнями перекочевали к Фадеевым. И улеглись спать там вчетвером на огромной тахте (Колли остался на своём сторожевом посту), такой огромной, что на ней уместилась бы ещё такая же четвёрка. Мы забылись на этой тахте безмятежным пьяным сном.

А утром проснулись, глянули в окно и обалдели в буквальном смысле слова: за окном было всё белым-бело: пока мы почивали, выпал первый снег, да такой густой, что все ветви на переделкинских деревьях облепило пятисантиметровым слоем белого холодного пуха. Земля тоже покрылась сплошным белым покрывалом.

– Ну что, мужики, – разлепил я пересохшие губы, – надо ехать в институт, диктант писать...

Был у нас такой предмет вплоть до пятого курса – практикум по орфографии и пунктуации, где мы под диктовку молодой смазливой девицы упражнялись, как шестиклассники, в правописании.

– И кто это говорит? – спросил как будто бы себя Серёга Бойцов. И тут же ответил себе:

– Это говорит член Союза писателей СССР. Ты что, Росков, перепил вчера или недопил? У меня предложение: чем ехать писать диктант, пойдём лучше пивнушку на станции искать, опохмелимся. Есть там пивнушка? – спросил он Снегирёва.

– Да, за «железкой» должна быть, – ответил Сашка.

– Пойдём! – в три голоса отозвались мы.

Но не тут-то было! Выйдя на улицу в своей летней обуви, мы тут же увязли по щиколотку в снегу. Да я ещё пиджак свой найти не мог. Все углы в фадеевской гостиной обшарил – не было пиджака!

– Да ты его, наверное, у Пастернака оставил! – догадался Снегирёв.

Так оно и было: Илья Колли вынес мне пиджак с пастернаковской дачи – высохший и немножко сморщенный. Короткий промежуток пути между дачами утвердил нас в мысли не ходить на кладбище на могилу поэта, хотя поначалу и решили туда завернуть – наша обувь, не успев высохнуть после вчерашнего дождя, начала уже промокать: первый снег начал потихоньку таять и превращаться в воду.

Так мы и не побывали на могиле Бориса Леонидовича. Кое-как добравшись до пивной за «железкой», пройдя пастернаковским путём – тем, которым ходил он на ранние поезда, мы застряли за кружками пива почти до вечера.

Той же осенью из дачи автора «Рождественской звезды» сделали музей, и Сашка Снегирёв лишился своего поста – дом, в котором жил и творил поэт, перешёл под опеку другого ведомства.

Надо сказать, что стихи на трёх последних курсах мы читали только в хмельных застольях, да и то не всегда... Одна из особенностей Литинститута – поэты растворяются друг в друге, и большинство из них начинает писать меньше и хуже, кто и вообще перестаёт писать – на несколько лет или даже на всю жизнь.

Каждый из нас приехал сюда, можно сказать, – личностью. Во всяком случае, он сам считал себя таковым, и общество, в котором он вращался, ничего не «рубящее» в поэзии, всерьёз называло его «поэтом». Взять, к примеру, меня. В конце 70-х – начале 80-х годов я широко печатал свои, во многом несовершенные, стихи в районной газете и могу с уверенностью сказать: вирши других «поэтов районного масштаба» на фоне моих выглядели бледновато, никто в Каргополе и в районе лучше меня не писал.

Пока туда не перебрался жить поэт Александр Логинов, в то время студент-заочник Литинститута. Я ещё печки клал и даже не мечтал о доме на Тверском бульваре, 25, а он к тому времени уже на 4-м курсе учился и печатался в столичной периодике, например в журнале «Октябрь».

Конечно же, Логинов сразу затмил меня на страницах «районки», а стихи мои всерьёз не принял. Во все наши встречи с ним, изрядно сдобренные хмельным, с его стороны было только метровское похлопывание по плечу и отзывы о моих стихах не выше, чем «банальщина». И если б я не общался эпистолярно с Сашей Ипатовым, Фёдором Михайловским, Александром Кавтаскиным – Логинов смог бы меня убедить в банальности моих стихов, и путь в широкую поэзию был бы закрыт для меня.

Но, слава Богу, этого не произошло, я варился в собственном соку в своей деревне, ведя переписку с моими литературными учителями, убеждавшими меня в том, что я не имею права закапывать в землю свой талант. В конце концов я уверился в

том, что действительно обладаю талантом, и жил в большинстве своём стихами, в мыслях своих представляя себе книжку, которую когда-нибудь выпущу. Я старался читать больше как классики, так и современной поэзии, орудуя топором на стройке или кельмой при кладке печи, я складывал, рифмовал в голове своей строчки и удачные заносил на бумагу: спрыгивал с лесов или подмостей и бежал в бытовку, где у меня всегда лежали на столе карандаш и листок, вырванный из школьной тетрадки. Иногда это было целое четверостишие, а иногда и просто одна, понравившаяся мне строчка. А бывали удачные дни, когда, возводя очередную печку-голландку, я сочинял целое стихотворение, которое вообще не нуждалось ни в какой правке. Такие стихотворения есть в моём первом сборнике.

Конечно же, уже в ту пору я умел отделять «зёрна от плевел», знал, что плохо в моих стихах, что хорошо. Да и Федя Михайловский безошибочно подсказывал мне в письмах (а я посылал ему новые свои опыты), что стоит оставить, а какие строчки в том или ином стихотворении необходимо выбросить вообще или заменить другими.

Немало повлияла на моё отношение к собственным стихам – «проверяй холодом ума то, что рождено в пламени вдохновения!», – ныне доктор филологических наук, а тогда – редактор Северо-Западного книжного издательства Елена Шамильевна Галимова. Я с ней тоже состоял в переписке, она обладала прекрасным литературным чутьём, сама писала стихи, письма её были умны и интеллигентны. Она также убеждала меня в письмах в моей поэтической избранности. Благодаря её стараниям несколько моих стихотворений появились в единственных в ту пору областных газетах «Правда Севера» и «Северный комсомолец», а в 1985 году в Архангельске вышел сборник «Молодые голоса Севера», где были и мои пять стихотворений.

Так что к калитке Литературного института я подкатил на такси летом 1887 года чуть ли не гением (ещё и положительное письмо Александра Казинцева повлияло!), во всяком случае, в своей исключительности и талантливости я был убеждён.

То же самое – и остальные абитуриенты, то есть каждый из нас воображал себя надеждой русской литературы, каждый думал, что его стихи – лучше других, и не только думал, а был уверен в этом.

И потому, будучи абитуриентами, мы с пылом и с жаром читали друг другу стихи в комнатах и коридорах нашего общежития. Мы обменивались привезёнными с собой рукописями, «обсасывали» их, как леденцы, сравнивали себя с другими, своё творчество с творчеством соседа, единодушно выделяли лучших (в числе которых осенью 1987 года оказался и я), снисходительно поглядывали на более слабых. И чтение стихов продолжалось в общаге до поздней ночи. А читать было что: мы ведь все приехали сюда с солидным багажом, с тем, что уже было написано за свою 30 -35-летнюю жизнь.

А потом, от сессии к сессии, интерес как к своим, так и к чужим стихам, то есть стихам своих сокурсников, стал сходить на «нет». На семинарских занятиях в течение шести лет каждый из нас был так «разобран» по косточкам и раздолбан коллегами-семинаристами, что даже говорить о стихах не хотелось, а не то, что читать их, особенно на трезвую голову.

Свою роль играло и то, что в полугодовых промежутках между сессиями мы должны были подтверждать свою талантливость, писать что-то новое и привозить в Москву. Привозить или присылать на кафедру творчества нужно было обязательно, поэтому вдохновения ждаль иногда и не приходилось, наоборот, появлялась нужда «давить» из себя стихи. А что выдавлено, а не выдохнуто легко и свободно, – не есть талантливо.

Да ещё и влияние собратьев по перу чувствовалось, каждый из семинаристов ощущал его на себе, мы теряли самобытность, растворялись друг в друге. Почти все, за исключением, пожалуй, Сашки Снегирёва, стали писать хуже, в том числе и я. Хуже и меньше. На собственном опыте я понял, что такое насилие над собой, что такое придиричивость семинаристов к каждой, даже хорошей строчке.

Стихотворный багаж, с коим мы пришли на Тверской бульвар, 25, уже не имел никакого значения. Одним словом, мы потихоньку растеряли веру в собственную исключительность, в своё предназначение. Нет, в среде других людей, не поэтов, стихи свои семинаристы всё-таки читали, «особливо» находясь в подпитии. А в своей же, поэтической, среде чтение стихов к шестому курсу почти кончилось.

– Литинститут – это как бы прививка, укол, который ты должен безболезненно перенести, – сказал мне на первом году учёбы литературный критик Павел Горелов.

Действительно – «прививка»! Пожелание Павла Геннадиевича, точнее, смысл этого пожелания я понял несколько позже. Понял и сделал вывод: творческой личности, когда она уже вполне созрела, нужно общаться с себе подобными как можно меньше. Шесть лет такого общения в Литинституте оставили свой негативный, да-да, именно негативный, след в творческой судьбе каждого из нас.

Влияние этой «прививки» я перестал ощущать на себе года три спустя по окончании «альма-матер», в течение которых, честно сказать, и не писал ничего. А некоторые мои однокашники не могут избавиться от этого влияния до сих пор.

Вот, например, мой друг, с которым мы, не расставаясь, прошли через шесть лет учёбы, староста нашего курса Николай Харитонов. К моменту поступления в Литинститут он уже издал книгу рассказов «Осиновая лодка», у него были кое-какие наработки в прозе. Творческие же семинары, «долбания» на этих семинарах выбили его из колеи, уже, наверное, навсегда выбили: не слышно, чтобы Коля что-то писал, где-то публиковался. А ведь какие планы строили мы с ним в первую свою сессионную осень в столице! Вот оно – негативное влияние Литинститута...

А тогда, во время 9-го Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (точнее – в Химках), я ещё только перешёл со второго курса на третий, и тревожные очертания этого влияния ещё только вырисовывались где-то на горизонте.

И совсем никакой тревоги не было в наших сердцах в сентябре 1987 года, в последний день нашей первой, установочной, сессии в Литинституте. Мы сидели на третьем этаже общежития, в комнате №317: я, Костя Савельев, Юрий Давидович Тамаркин (Финн) и поэт из Чернигова Ваня Гуз. Наши сумки были уже собраны, до отправления поездов на Север и на Юг нашей необъятной родины оставалось ещё несколько часов, мы сидели у открытого окна и пили красное вино – за отъезд.

Столица как раз отмечала День города. На улице стояла тёплая солнечная погода, в окно доносился шум праздничной эстафеты: милиционеры громко одёргивали в «матюгальники» заехавших и зашедших не туда водителей и пешеходов, под нашим окном стояла колонна остановленных на время пробега спортсменов троллейбусов маршрута №3, на которых мы ездили от общаги почти до самой Пушкинской площади.

И так хорошо было сидеть нам, уже полноправным студентам престижного вуза, в этой комнате №317, пить красное вино, курить, пускать табачный дым в распахнутое окно, подоконника которого касалась верхушка рябины с ещё только чуть тронутыми осенью, начинающими багрянеть листьями.

Костя, Юра и Ваня отбывали все одним поездом – на Украину, мой же сосед по комнате Николай Харитонов (мы во время установочной сессии жили вдвоём с ним) улетел в Архангельск, поэтому я и коротал оставшееся до поезда время в комнате соседей.

Мы пили красное вино, гордые сознанием свершившегося факта – поступления в Литинститут и успешно проведённой первой установочной сессией, и мечтали о будущем, о том, как в скором времени начнём печататься в столичных изданиях (вот она, Москва, – кричит под окном в «матюгальник»), какие красочные перспективы открываются перед нами.

Всё было прекрасно, всё в розовых тонах: и солнышко в открытом окне, и красное вино на столе, и листья рябины на подоконнике.

Кто из нас знал, что Ваня Гуз на следующую сессию уже не приедет – он получит десять лет заключения за попытку изнасилования какой-то девицы (сам он утверждал из мест не столь отдалённых в письмах к Косте Савельеву, что таковой попытки вовсе и не было); что через те же десять лет Юра Тамаркин (Финн) станет гражданином свободной Германии, а Костя бросит институт на пятом курсе, и город Харьков, где он проживал и проживает ныне, будет находиться уже в другом государстве, в так называемом «ближнем зарубежье».

Те часы, проведённые в 317-й комнате, почему-то врезались мне в память, – может быть, именно самым нашим настроением: вот мы покорили Москву, на улице идёт праздничная эстафета и никто из бегающих под окнами общаги людей не подозревает, что на третьем этаже этого дома, у открытого настежь окна сидят четыре поэта и мечтают о будущем.

«Мечты, мечты, а в жизни всё иначе...» – сказал великий поэт Николай Рубцов...

ОДНОКАШНИКИ

Последний поэт из нашего, межировского, семинара, с кем я изредка встречаюсь, будучи проездом в Белокаменной, – москвич Александр Снегирёв. После окончания Литинститута он вступил в Союз писателей России, какое-то время работал в редакции журнала «Новый мир», потом ушёл на вольные хлеба. В последние годы Александр читает лекции по литературе в одном из технических вузов Москвы. Зарабатывает он гроши и, как сам признается, живёт на содержании у жены – секретаря редактора одной из престижных столичных газет.

Санька – молодец, он писал и пишет стихи в самых лучших традициях русской литературы, печатается в столичных журналах, с его лёгкой руки журнал «Москва» поместил подборку и моих стихов.

Время от времени я звоню Снегирёву (ему в Архангельск звонить накладно), узнаю, что он жив и здоров, радуюсь этому, справляюсь, как дела у Андрея Алексеева.

– Андрей забросил свой трактор, – ответил мне как-то Александр, – он двух коров завёл, я бываю у него в Леонтьеве частенько, коров вместе пасём. Андрей доить их сам наловчился. Молоко он продаёт, всё какие-никакие, а деньги. И дежурит он в одной частной фирме около Курского вокзала. Сидит там в выходные дни, субботу и воскресенье, сутки напролёт, а потом всю неделю свободен. В фирме две тысячи рублей получает, плюс молоко да огород у Андрюхи большой, он там всё выращивает, на зиму запасает. А стихи Андрей почти не пишет...

Трудно живут и Андрей, и Санька, снегирёвские две с половиной тысячи «рэ» в месяц в его техническом вузе – тьфу, пылинки для Москвы. К тому же во время студенческих каникул Александр ничего не получает.

В августе 1998 года встретились мы с ним на Тверском бульваре около памятника Пушкину, зашли в «альма-матер», потом посидели в открытой пивной на Малой Бронной, неподалёку от невесты откуда появившейся в самом центре Москвы синагоги. Я выпил пару кружек пива (Сашка был в глухой завязке), мы поболтали о том, о сём.

– Серёга Бойцов запропастился куда-то, ни слуху от него, ни духу. Как уехал после института в свой Курган, так и пропал, – сетовал Снегирёв. – А к Андрею тут недавно Марина Хлебникова в гости заезжала. Она на юге живёт, в Одессе. В Москве проездом была. Надрались они с Андрюхой до чёртиков. А я не пил тогда...

В конце 2002 года, блуждая в сетях Интернета, на литературном сайте Максима Мошкова, я наткнулся на два стихотворных сборника Марины и сообщение о том, что она в возрасте сорока лет трагически погибла в декабре 1998 года. Стихи её – настоящие... В Литинституте Марина отличалась от своих однокурсниц молчаливой замкнутостью, всегда ходила в чёрном – пальто или плаще, училась она в семинаре критика Валерия Дементьева, и лично я с ней почти не общался, только раза два-три сидели в одном застолье, читали стихи... Но сообщение в глобальной Сети о гибели Марины просто потрясло меня... Это первый человек (по моим сведениям) с нашего курса, который ушёл из жизни, из этого мира. Я вспомнил о её романе с Арвидасом Лапукасом... Вот: жила, писала стихи, любила, ещё летом 1998 была в гостях у Андрея Алексеева... И – две строчки в Интернете о её гибели...

Через два года мы опять встретились со Снегирёвым. Я позвонил ему из Саратова, где мы отдыхали с женой у моих родственников:

– Шура, послезавтра утром я буду в Москве. Встречай на Павелецком вокзале...

– Хорошо, – каким-то подавленным голосом ответил он.

Он встретил нас, как и положено, у названного мной вагона, помог донести наши тяжёлые сумки с дешёвыми дарами юга до Ярославского вокзала, сдать их в камеру хранения. Всё это время мой однокашник был тихий и печальный, я просто узнать не мог прежнего Снегирия. И только когда мы остались вдвоём (супруга моя поехала по столичным магазинам), Санька открыл мне секрет своего подавленного состояния:

– Ты знаешь, я ведь должен быть сейчас не в Москве, я должен быть в Вене, столице Австрии!

И тут он поведал мне свою невесёлую историю...

Дело в том, что Сашка время от времени уходил в запой. Если в годы нашей учёбы запои эти случались раз в полгода, то в последнее время участились – Снегирёв запивал раз в квартал – на неделю, что, естественно, не очень-то нравилось его жене. Да ещё вечное это Сашкино безденежье, его неспособность заработать на жизнь и на содержание семьи.

– А тут подвернулась мне очень хорошая возможность перед женой реабилитироваться и деньги кой-какие зашибить. Знакомый один предложил что-то типа гранта – бесплатной творческой поездки в Австрию. Я заявление сочинил: дескать, хочу написать книгу стихов, но не имею на это ни времени, ни условий, но, главное, – денег. И, ты представляешь: приглашают меня в Австрию на два с половиной месяца, выделяют номер в гостинице – бесплатный! – да ещё и выплачивают две с половиной тысячи долларов, не сразу, по частям. На первый месяц – тысячу, на второй, и – так далее...

Далее я привожу Сашкин рассказ в его изложении...

* * *

– Обрадовался я – такая халява! Думаю: сэкономлю денежек, дела семейные поправлю. Да и, действительно, впечатлений наберусь, авось и рожу что-нибудь, книжку – не книжку, а подборку-то стихов хорошую напишу.

И вот я в Австрии, в Вене! Неделю живу, вторую, хожу по городу с их разговорником (из иностранных я французским худобедно владею, а по-английски и по-ихнему – ни-ни!), достопримечательностями люблюсь, ситро попиваю.

Да, а перед отлётом в Австрию сходил я к наркологу, укололся – чтоб запоя не случилось. Ввёл он мне «эспераль» в вену – сроком на год, год спиртное в рот брать нельзя. Да и какое там спиртное – Австрия впереди!

Вот, значит, попиваю я это ситро – бутылочки такие аккуратные, фрукты разные на них нарисованы, живу один в номере, кое-что уже пописывать начал – красота! Две недели прожил, из тысячи долларов, выданных мне на месяц, ещё и двухсот не истратил – экономлю «баксы»!

И вот в один, сразу скажу – не прекрасный, день купил я такую бутылочку, пробочку с неё содрал и, как обычно, сделал из горлышка три-четыре хороших глотка – жарко на улице-то! Сделал и чувствую: чтой-то не то – не ситро это, а спиртное, причём – крепкое, как наша водка!

Стою я посреди тротуара с бутылкой этой в руке и жду, что сейчас меня кондратий хватит – эспераль-то совсем недавно ввёл. Минуту стою, две, пять – хмель уже в голову ударил, а кондрашки чего-то нет. Мозги мои уже набекрень, всё как-то помимо моей воли пошло. Сделал я ещё пару глотков из бутылки, думаю: хрен с ним, чему быть – того не миновать!

Стою, значит, на одном месте, чувствую: пьянею потихоньку... И тут ко мне какой-то ферт чёртом подскочил – вычислил меня, наверное. Подскочил, залопотал по-своему, за руку меня потянул. Я как на автомате за ним пошёл. Привёл он меня в дневной стриптиз-бар, за столик усадил. Девушка полуголая меню мне принесла. Я пальцем по горлу щёлкаю, дескать, выпить мне что-нибудь! Всё уже как по инерции под горку покатилося. Принесли выпивку, закуску. Этот ферт знаками мне показывает: хочешь девушку? А девушки там – всё при них, как говорится! Я ему тоже знаками: почему не хочу? Хочу! Я думал, он мне секс предлагает, а оказалось: индивидуальный стриптиз! Вышли мы с одной из девиц в маленькую комнату: там не кровать, а креслице одно-единственное стоит. Она усадила меня в кресло, сама разоблачилась полностью и давай стриптиз показывать: задом перед моим носом крутит и животом тоже, а трогать её – ни-ни! – нельзя то есть.

Короче говоря, потрянули меня в этом стрип-баре изрядно, кошелёк мой сразу похудел. Но мне уже всё до лампочки было,

пустился я, как говорится, во все тяжкие. Носило меня по этой Вене и днём и ночью: на такси с какими-то девицами куда-то ездил, бродил по каким-то закоулкам. Очнулся в своём номере, пустыми бутылками уставленном. Пол весь заблёван. Встал, начал по углам шарить... Нашёл-таки непочатую бутылку, сижу полураздетый на постели, пью из горлышка. Вдруг замечаю: дверь в номер немножко приоткрыта и в ней – чужие глаза. А, судя по пустым бутылкам, я тут неделю квасил, не меньше, и всё на автомате, без сознания то есть. Я когда в запой ухожу – ничего потом не помню: где был, с кем пил.

А в гостинице этой одна эстонка ещё проживала, она русский знала. Сижу я, значит, на постели с бутылкой, она входит ко мне в номер и с ней два полисмена. У полисменов в глазах ужас стоит: видно, не видали они ещё русского мужика в состоянии запоя.

Эстонка мне: за тобой, дескать, уже неделю наблюдают, а войти боятся: иностранец, всё-таки:

– Мне говорят: он ведь умрёт! Я им: не умрёт, у русских иногда это бывает – запой то есть.

Короче, полисмены ждали, когда я очухаюсь, чтобы в больницу меня сопроводить. Башка моя – как котёл кипит, мотает меня из стороны в сторону. Собрался кое-как...

В больнице у них чисто так, положили меня на кровать, капельницу влили. Одежда моя тут же, в палате, аккуратно в шкафчик повешена. Я лежу, и в мозгу у меня крутится: а в номере-то моём ещё спиртное должно быть! Запой – это такое ведь дело, думаешь об одном: как бы добавить, а там – хоть трава не расти!

А в таких делах, видно, сам чёрт помогает. Он меня и толкает в ребро: одевайся и иди! После того как капельницу мне прокапали, я встал, оделся, вышел из палаты на улицу.

Никто меня не задержал. Кое-какая мелочь в карманах ещё была, да я по пути ещё в наше консульство заглянул – знал, где оно находится. После капельницы лёгкость какая-то в теле и в голове появилась: в консульстве удалось мне ещё двести долларов выклянчить: сказал, что обчистили меня, что я писатель – билет им членский показал, поплакался – денег на обратную дорогу в Россию нет.

Ну и загулял я по новой: в номере ещё пару бутылок нашёл (убей – не помню, кто мне спиртное подносил, неужели – сам бегал?!) да эти двести долларов. Короче, те люди, которые пригласили меня в Австрию, обратились в то же наше консульство, где меня долларами ссудили. И отправили меня из Вены в Москву на консульском самолёте. Я полуживой – ни говорить, ни шевелиться не могу. Перед глазами уже черти пляшут. Загрузили меня в самолёт, а в голове моей одна мысль: мы непременно упадём и разобьёмся! Во рту всё пересохло, настроение – хоть живым в гроб ложись. Что мне в Москве скажут? Позор-то какой! А жена? Плакали доллары, плакало семейное благополучие, плакала моя репутация...

Сижу в самолётном кресле – живой труп и всё тут! Взлетели. Стюардесса идёт по проходу. Я пить хочу ужасно, а сказать ничего не могу... Пальцем по горлу себя щёлкнул. И что ты думал? – Она мне выпивку принесла! Не такую крепкую, как наша водка, но забирает хорошо! Я таким макарон ещё несколько раз стюардессу за спиртным сгонял и к Москве отрубился в своём кресле. В Шереметьеве вынесли меня из самолёта, как русскую недвижимость.

Неделя вот прошла после моей депортации из Австрии, а я всё хожу, как в дурном сне и твержу себе: я должен быть в Вене! Правда, вот стишок накропал. «Стансы» называется:

Боже, что всё это значит!
Разве быть такое может:
день ещё почти не начат
и уже почти что прожит?

Для чего-то нужен всё же,
без надежд и канители,
этот тусклый, непогожий,
окаянный день недели.

Ближе я к окну подсяду,
опущу бессильно плечи:
не на ком сорвать досаду,
некому кивнуть при встрече.

Словно тонущее судно,
оседает осторожно
этот мир, где выжить трудно
и не выжить невозможно...

* * *

– Хорошее стихотворение, – похвалил я Снегирёва. – А с женой-то как?

– А! – махнул он рукой. – Вообще меня не замечает. Хорошо, что в моей квартире живём, а так – давно бы выгнала.

Как я уже говорил, Сашка жил и живёт на той же улице Добролюбова, где и общага литинститутская располагается. Его дом стоит на другой стороне улицы, квартала за два от общежития в сторону знаменитой останкинской пивнушки. Квартира принадлежала Сашкиным родителям, мать его Вера Николаевна жила вместе с сыном и невесткой.

– Что делать-то будем? – спросил я приятеля, в душе сочувствуя ему. – До поезда моего ещё десять часов...

С женой мы заранее договорились: встречаемся в условленном месте на Ярославском вокзале в 20.00, за два часа до отхода нашего поезда. Она, скрепя сердце, отпустила меня со Снегирёвым, зная, чем иногда заканчиваются встречи поэтов.

Видя подавленное настроение моего однокашника, я купил пару бутылок пива, и мы с Сашкой пристроились у парапета над входом в метро.

– Я всё ещё не могу выйти из этого состояния, – пожаловался он, с наслаждением отхлёбывая из бутылки, – и надо бы уже завязать, и денег нет ни копейки, да настроение такое, что...

– Андрей-то сейчас в своём Леонтьеве? Или фирму свою сторожит? – поинтересовался я насчёт Алексева.

– Нет, бросил он свою фирму. Сейчас в другом месте сторожем работает. В Кратово. Это час от Москвы на электричке с Казанского вокзала. Там дачи Олимпийского комитета находятся, вот Андрюха их и охраняет. Неделю безвылазно в Кратово живёт, неделю – у себя в Леонтьеве.

– Так поехали к Андрею! – загорелся я. – Время ещё есть, я его семь лет уже всё-таки не видел!

– Смотри, мне-то всё равно, – ответил Сашка. – Дома сидеть – нож по сердцу, а работы сейчас нет. Я ведь ещё 400 баксов должен – занял у знакомого перед поездкой в Австрию. Сейчас голову ломаю, как отдать эти доллары. Ты смотри – к Андрею так к Андрею. Только всё равно мне сперва домой заехать надо – паспорт взять. Сейчас милиция в Москве прямо свирепствует. Без документов да ещё выпивши – запросто загребут. А я тебя встречать поехал – не подумал паспорт захватить с похмельной-то головы.

Мы перешли на Казанский вокзал и тут же запрыгнули в электричку:

— Она мимо моего дома идёт, — пояснил мой спутник, — нам как раз по пути.

Вышли мы с ним из электрички на той самой платформе, с которой десять лет назад я и Серёга Донцов с канистрой, наполненной останкинским пивом, уехали в Химки. До снегирёвского дома, действительно, отсюда было рукой подать. Мы вместе поднялись в квартиру. Я поздоровался с его мамой, с женой, которая, ответив мне, бросила на своего мужа уничтожающий взгляд.

— Она сейчас в отпуске. С какой-то подругой в Англию собирается на две недели. Ну и пусть катит... — с горькой усмешкой сказал Сашка, когда мы остались вдвоём в его комнате.

Он сходил на кухню, наполнил чаем термос, положил его в свою заплечную сумку. С этим термосом Сашка и в Литинституте не расставался, всегда носил его с собой, объясняя это тем, что после каждой выкуренной сигареты ему обязательно нужно сделать глоток чая. Он охотно наливал по глотку всем желающим, из этого термоса пил чай весь межировский семинар.

Мы вышли на улицу. День был солнечный, тёплый — начало августа всё-таки! — и Снегирёв повёл меня дворами, оставляя в стороне нашу общагу, к Савеловскому вокзалу.

Будучи студентами, эту часть пути — до станции метро «Савёловская» — мы обычно проезжали на «троебане», там и было-то всего-навсего три остановки.

Но пешком эти «три остановки» показались мне длинными, тем более что время моего пребывания в Москве неумолимо сокращалось.

— Шура, — обратился я к своему спутнику, — а чего ж мы это пешком-то идём? Запросто могли ведь на «троебане» проехать, — спросил я своего спутника уже у вокзала.

— А я всегда хожу до метро пешком, деньги экономлю, — вдруг признался Снегирёв.

Ответ его меня поразил: выделить четыре рубля на троллейбус для моего однокашника было большой трудностью. И это когда основная масса москвичей выглядит достаточно благополучными людьми...

Проехав несколько остановок на метро, мы вышли на какую-то платформу, где можно было сесть на электричку, следующую до Кратово. Прихлёбывая прямо из бутылки пиво (мы взяли ещё по паре «пузырей» в киоске на платформе) и глядя из вагонного окна на проплывающие мимо подмосковные пейзажи, я уже жил предстоящей встречей с Андреем Алексеевым...

В Литинститут Андрей пришёл с небольшим творческим «багажом» — всего с двумя десятками машинописных стихов. В своё время он жил несколько лет в Средней Азии, всем нам нравились его строчки из небольшого азиатского цикла «...очень много кара-кумов от Хивы до Бухары...» В подмосковном Леонтьево же, как я уже говорил выше, Андрей работал трактористом, руководил уже в начале перестройки механизированной бригадой, о нём и его сотоварищах была даже опубликована большая статья с фотографиями в популярном тогда журнале «Сельская молодёжь». Стихи Алексеев писал соответствующие: о звёздах над зернотоком, о сельской природе, о том, как пахнет развороченная плугом земля. Писал Андрей мало, по три-четыре стихотворения в год, и тем не менее творчество его привлекло чем-то Александра Петровича — Межиров взял его в свой семинар.

Андрей — кряжистый, плотный, крепко сбитый напоминал русского богатыря из былинной сказки. Он был выше всех нас на голову и крупнее каждого «межировца» раза в полтора.

Как-то во время весенней сессии, в весёлом месяце мае, Андрей пригласил нас к себе в Леонтьево — с ночёвкой. Нас — это меня и Серёгу Бойцова, Сашка Снегирёв подразумевался сам собой: они крепко подружились с Андреем и были неразлучны на протяжении всей нашей учёбы в Литинституте. Дружба эта сохранилась и после его окончания.

Алексеев звал нас к себе: дескать, в леонтьевском пруду карасей полно, а в селе около заборов уже крапива молодая выросла, а соседка Андрея вот — такие! — котлеты из крапивы делает. Андрей во время сессий нередко выручал пропившихся в пух и прах заочников, привозя в общагу по целому рюкзаку картошки из своего погреба. Он умел очень вкусно готовить её на сковородке, и, когда колдовал на общаговской кухне около газовой плиты, запах жареного картофеля дразнил весь третий этаж.

От Москвы до Леонтьево, через воспетую Галичем станцию Белые Столбы, нужно было добираться с пересадкой на автобус, вся дорога занимала около четырёх часов. После этой поездки я написал такое вот дружеское посвящение Андрею:

Институтская суббота
Наступает, всё поправ.
Мы устали от зачётов,
Книги бросили за шкаф.

Нам московский воздух вреден,
Вреден шум машин зело.
Мы в Леонтьево поедem —
Подмосковное село.

Там сирень — как пена с пива,
Там луга и тёмный лес.
Там котлеты из крапивы
Вот — такой! — деликатес.

Карасей в пруду там много,
Плавает по дну уха.
Там живал Донцов Серёга —
Гений хитрого стиха.

Там перины и подушки,
Там прибежище для Муз.
Там открыт домашний Пушкин
На «...прекрасен наш союз!»

Там гуляют гуси важно,
Там полным-полно курей.
Там в коттедже двухэтажном
Меценатствует Андрей.

У Андрея-мецената
Стол накрыт на сто особ.
У него ума — палата,
Он поэт и хлеботорб.

У него такая мама,
У него такая мать:
Мы по триста выпьем граммов —
И не будет нас ругать!

Сядет мама с нами вместе
С мелкой рюмочкой в руке,
Чудную исполнит песню
На французском языке.

Засидимся до полночи
Мы за чтением стихов...
Закричит соседний кочет –
Вы слышали петухов?!

Вы слышали в час урочный
Звонкое «ку-ка-ре-ку»?
Спать ложимся – срочно! Срочно!
Миг – и все мы на боку!

Утром встанем – ах, как жалко:
Дождь по крыше моросит.
Дождь идёт... Прощай, рыбалка!
Будьте здоровы, караси!

Будем лёжа молча слушать
Дождик-дождь – рыбацкий бич...
– Чай готов, извольте кушать! –
Прозвучит Андреев клич.

Мы за стол все дружно сядем,
Чаю выпьем. А потом
Брюки мятые погладим
И – прощай, Андреев дом!

До свиданья, дом Андрея,
И крыльцо, и палисад.
Все мы выглядим бодрее,
Чем два дня тому назад.

Проскрипят нам вслед ворота:
– За визит – благодари-и-им...

Мы сдадим свои зачёты,
Хоть на тройки, но сдадим!

Да, котлет из крапивы мы тогда, действительно, отпробовали, и мама Андрея нам, на самом деле, пела песню на французском языке...

Ну, вот и Кратово. В магазине близ платформы мы затарились пивом – бутылок десять взяли. Водку я сознательно не стал покупать: засидишься тут, в несколько десятков километров от Москвы, а там – поезд на Архангельск вечером, жена с тяжёлыми сумками. Перспектива отстать от поезда мне совсем не улыбалась, поэтому пиво в моей ситуации – самый приемлемый вариант.

От платформы до дачного посёлка – километра полтора в обратную сторону – мы протопали пешком.

– Андрей ведь нас не ждёт, правда? – несколько раз переспросил я Снегирёва.

– Конечно – нет. Я звонил ему, говорил: ты проездом в Москве будешь. Андрей очень сожалел, что увидеть тебя не сможет.

Привет огро-о-омный просил передать!

Ах, какая природа в Подмосковье! Заглядение и любование! Как хорошо жить тут – в дачном посёлке в часе езды от столицы, в тишине и в зелени, наслаждаться чистым воздухом, слушать по ночам, как, стуча колёсами, пробегают мимо электрички, писать стихи...

– Саша, ты не спрашивай у Андрея о новых стихах, – предупредил меня Снегирёв. – Он уже несколько лет ничего не пишет и очень тяжело переживает это. Я даже боюсь читать ему своё новое, даже журналы, где печатаюсь, не показываю... Видишь, добывание денег боком выходит. Ну и многие другие причины...

Андрея мы увидели сквозь сетчатый металлический забор: он сидел на крыльце уютного домика, склонившись над обрезком доски с каким-то инструментом в руке. Около него, глядя на руки Андрея, крутилась громадная овчарка.

– Гром! Гром! – окликнул собаку Снегирёв.

Та мгновенно развернулась и бросилась в нашу сторону. Андрей поднял голову от доски:

– Ба! – только и смог выдавить он из себя.

Мы толкнули сетчатую металлическую калитку, и я попал в алексеевские объятия: они были такими же богатырскими, как и десять лет назад. Сам он, казалось, ничуть не изменился, только виски стали седыми.

– А ты-то, Санька, совсем седой! – отстранил меня Андрей.

– Поспи на чужих подушках – не так ещё поседеешь! – отшутился я.

– Да вот, сплю... Дачи-то эти, – он показал рукой на домики, стоящие по эту сторону забора, – не мои. Олимпийский комитет их снимает. А я – сторож. Гром вот мне помогает.

Пёс, дружелюбно вертя хвостом, крутился около нас, пытаюсь сунуть нос в сумку – Грома привлекал запах купленной нами колбасы.

Мы выставили пиво и закуску на аккуратный столик возле крыльца домика, служившего Андрею сторожкой, сели за него, скovyрнули крышечки с пивных бутылок, чокнулись бутылками. И начались воспоминания...

Сначала мы выпили за тех, кто не смог вынести испытания Литинститутом – за сошедших с ума Марину Тищенко и Серёгу Жилинского. Ах, какой хороший парень был Жилинский – честный, порядочный, талантливый... Из него мог бы получиться хороший детский поэт, хотя сам он больше ценил свои «взрослые» стихи. Жаль, что у меня сохранились только шуточный его «стиш», посвящённый нам, однокурсникам, который стоит здесь привести. Пусть он будет памятником Сергею... Оставляю его в авторском варианте, не меняя ни слова, ни буквы...

СЕРГЕЙ ЖИЛИНСКИЙ

*Паёт живёть ниумирая
Он жить издраствавать гатов
Хать на зимле хать сриди рая
Тем паче Никалай Гласков.*

(Николай Глазков – известный поэт, современник Межирова. – **А. Р.**)

Низнайка ничиво низная
Живёть всигда вить он паёт
Иму што врай што вон израя
Но нивраю Гласкова нет.

Низнайка встренулса с Гласковым
То сё. Давай чудить стихи!
Давай! Штаб ничиво такова
Но гинияльнии! (Хи-хи!).

Кто ых записавал аб етам
Я апасля прагаварюсь
Пасколька в рот глидел паётам
В чём ручнособстно распишусь.

За ых шыдэвр ниатвичаю
Самих к аответу – канитель
Пустая, ежли хто взмичтаить
Паётав вызвать на дуель.

А ты, паёт, хать плачь, хать смейся
Ым да таво идела нет.
Чо ым? Ане живутъ нездейся
И всем ат теля шлють привет.

Ане приветы написали
Любой на сей придмет магёть
Чиркнуть славцо ым, но в начали
Пущай пасланию прачтёть.

ПАСЛАНИЮЯ ПАЁТАМ С ЕТИМИ КАК ЫХ? С ПРИВЕТАМИ А
ТАКОЖИ ПОЛНЫЫ РАЗДУМИЙ А СМЫСЛИ И ЖИСТИ БИСЕДЫ ЗАКРУГЛЫМ
КАКАРБУС СТАЛОМ ПАЁТА НИЗНАЙКИ ПАЁТА ГЛАСКОВА И НИКАЛАЯ

Скажи Гласков а чо паёты
В литынститутита растут?
Растут Низнайка! Мой совет: ты
Иди расти в лититститут.

Сриди густова пастырнака
Рос Снегирёв. Ух! Рос да рос!
Растёт, сабака! Ух! Аднака
Да пастырнака нидарос.

Сриди снихов и Кыракумав
Ат пичинегав шол Андрей
Да развирнулса пиридумава
И крикнул: –Пичинеги! Эй!

Кадаб ты небыл Адисеем
С прищюрам харькавским бландин
Товсеб твирдили: ты Савелев
А может даже Канстантин.

Ни абищай са дна марскова
Звизду небеснуюу дастать
А пачитай стихи Раскова
И ат печки топай ув печать.

В плащу ишляпи абнаружив
Асанку голас илицо
Д-митрий сретъ брабантских кружив
Ни патирай своё ицо.
(Димка Загулин. – **А. Р.**)

Забыл писать стишки дитишкам
Линтяй Жилинский. Вспомнит плут!
Пущай ане с ниво штанишки
Сымают и васпитают.

Скажи Гласков а ето правда
Што Юурий Фин апяць запил?
Низнайка, сплетничать нинавда!
А Юурий с мухами дружил?

Нинада никаких наградав.
Ничто нинада! Щастье – прочь!

Пущай нам Юрген Винцнаградов
Стихи читаить день и ночь:

– Зы-латая ту-учка ка-ачивала
Утёс выы-искыва-ая, но-о,
Увы, нипи-ирина-ачивала,
Ну, может, но-очиство-о адыно.

Ах, Сашка, Сашка! Змей Тугарин!
Куда? Пастой! Каки дила?
Сыграйка штоли нагитари
Пра залатыя купала.
(Александр Шиненков. – **А. Р.**)

Ах ПашаПашинька! А-ах Паш-ша!
Ты чо Низнайка? Бог с тобой.
Ни паша вовси а Наташа
Идётсябридётся сама сабой.
(Наталья Ахпашева, ныне возглавляющая Союз писателей Хакассии. – **А. Р.**)

Сытырадая пишуць на каточку
Гитарычка да Раичка
А я на пылаточки рву сарочку!
И брючки рви, Низнаичка!
(Раиса Михнёва, она же Рахель Абельская. – **А. Р.**)

И Вилимира знаю внучку!
Ты што Низнайка Бог с тобой
Исделай тёте даме ручкай
И шаркни эдак ват нагой.
(Марина Хлебникова, ныне покойная. – **А. Р.**)

Дасвидания!

Такие вот стихи посвятил нам Сергей Жилинский. Где-то он теперь, что с ним?.. Не знали об этом ни я, ни Сашка с Андреем.

Снегирёв, поддавшись общему настроению, забыл на какое-то время про свои похождения в столице Австрии, расслабился за пивом:

– Ребята, а слышно ли что-нибудь про Сашку Шиненкова?

– Конечно! – отозвался я. – Мне год назад Костя Савельев продиктовал по телефону Сашкин адрес. Я написал ему. Он живёт в своём селе Надёжино близ Дивеева монастыря, где Серафим Саровский монашествовал. Песни пишет по-прежнему. Мне кассету прислал, на ней – двадцать пять новых песен. Но вылезти из своей нижегородской глубинки Сашка никуда не может – ни в печать, ни в эфир. На жизнь зарабатывает откормом свиней. Я изредка звоню ему...

В годы учёбы мы очень любили Шиненкова – за его песни, за гитару. В последнюю нашу сессию Сашкины стихи были отмечены поэтом Юрием Кузнецовым, речь шла даже об издании его книжки, но... Один раз он надрался до чёртиков с Эдуардом Лимоновым – Эдичка также восхищался Сашкиными песнями. А теперь – деревня, поросята...

Позволю себе привести здесь фрагмент шиненковской песни о первой чеченской войне, присланной мне на аудиокассете, написанной уже после окончания института:

Что ж вы снова лишь пивши
И ни грамма ни евши,
И плюёте под стол,
Не стесняясь бойцов? –
Боевой капитан
Перебитых, сгоревших,
Как насмешка, живой
Командир мертвецов?

Вот они, как один:
Что за юные лица?
Светит солнце сквозь строй.
– Ша хохмить, я сказал!
Это что за ещё:
«Отпустите жениться»?
отрастёт чего брить –
тогда будет базар!

Как могли вы прийти? –
Штаб оформил бумаги,
Чтоб никто не узнал,
Как свалившихся вас
Через люк бортовой
Растаскали собаки,
Чтоб героями дома
Вас считали сейчас.

Что тесните меня? –
Не тесните меня – вы убиты!
Здесь за каждым за трупом
В крови поотмыт миллиард.
Улетайте в Москву,
Где сидят в кабинетах бандиты,
Где вас ждёт, как сынов,
Конституций и правды «гарант».

Разве предал вас я,
Чтоб вас пули, как зайцев, косили?
Разве я спланировал
Въехать в город на белом коне?
Вас отдали давно,
Как отдали давно всю Россию.
Почему ж вся погибшая рота
Приходит ко мне?..

Сашкины песни запросто могли бы звучать на том же радио «Шансон», где фигурируют почти одни и те же фамилии, звучат одни и те же голоса. Но кто, выражаясь современным языком, «раскрутит» живущего в глубинке «самодеятельного» (какое нехорошее слово!) барда? И сколько не востребуемых талантов погибает сейчас в провинциях, спивается, не видя перед собой никакой перспективы...

А Серёга Бойцов всё-таки нашёлся в своём Кургане. И вышел, опять же, на меня, а не на Снегирёва и Алексеева. Просто до Кургана дошла газета, которую я редактирую, Серёгина жена купила её, Бойцов, увидев мою фамилию на последней странице, написал мне на редакцию:

...Фамилии всех однокашников перебрали мы за пивом, всех вспомнили, за каждого выпили по несколько глотков.

Хорошо было тут, на дачах, которые сторожит Андрей: тихо, зелень кругом. Только вот в глазах его не видно никакой радости, можно подумать, что он здесь каторгу отбывает. Пробыли мы в гостях у Андрея ровно полтора часа, всё пиво выпили, всю закуску уничтожили, уступив часть её Грому, походили вокруг уютных домиков. Андрей показал нам пневматический пистолет, из которого стреляет по водящимся тут крысам.

Сашка вспомнил, как ставил ловушки на мышей в Переделкино, в бытность свою сторожем на пастернаковской даче. И ни с кем-нибудь он ловушки ставил, а с Михаилом Леонтьевым – популярным ведущим телепередачи «Однако». И Андрей знал Леонтьева хорошо – он часто наезжал в Переделкино в гости к Снегирёву. Леонтьев тогда сторожил соседнюю с пастернаковской дачу.

– Он-то, видишь, удачливее нас оказался, мы-то с тобой ни фи́га мышей не ловим, – с горькой усмешкой сказал Андрею Сашка.

Прощание наше было грустным. Да и чего весёлого? – когда ещё увидимся при современной-то жизни? Может быть, и никогда...

С женой мы встретились на Ярославском вокзале в назначенном месте и в назначенный час. Мы со Снегирёвым выкурили по сигарете под электронным табло, показывающим время отхода поездов, попрощались... Он с повинной по-прежнему головой поехал к себе домой, я остался ждать, когда подадут состав на Архангельск.

«СНЕГ ЛЕТИТ В МОЁ ОКОШКО...»

...Уснув, мы не заметили, как электричка долетела до Химок. Наш попутчик – добрый пожилой человек – мягко взял меня за плечо и предупредил:

– Ребята, обратно в Белокаменную не уедьте!

Мы протёрли глаза. Серёга быстрым движением схватился за канистру, проверяя, на месте ли она. Пиво наше никто не тронул, от него, ещё холодненького, на голубых боках пластмассовой ёмкости выступали мелкие капельки пота.

Мы вышли на перрон и невдалеке увидели кооператоров с пивом, белые столики и белые балдахины, под которыми чуть больше суток назад сидели и мирно беседовали о поэзии с ренегатом Володькой Хомяковым. И отсюда же рукой подать было до уютненького местечка в глубине парка, где наткнулись мы тогда на поэта Удальцова и критикессу Раису Овечкину.

– Мы уже почти «дома». Правда, Серёга? – посмотрел я на Донцова сверху вниз. Серёга мотнул головой. И подал гениальную идею:

– Слушай, Сашка, давай, не будем открывать канистру до «Олимпийца». Всё равно можно сказать, что пива мы в Останкино на халяву напузырились, и с собой нам на халяву налили. Если есть у тебя ещё башли – возьми по паре «пузырей» пивка да шашлычка по порции – от кальмаров этих никакой сытости. Возьми, и пойдём, вон в парк, на агальцовское место.

Серёга чувствовал себя героем «дня поэзии» в пивной на останкинском пустыре и давал мне понять, что если б не он – не было бы у нас десятилитровой канистры пива. И одновременно предъявлял права на свою долю, на свой «взнос» в наше общее пьяное дело.

Я порывлся в карманах дерматинового пиджака, как во внешних, так и во внутренних, собрал всё, что осталось от моих четырёхсот рублей и, уже не думая о свадебном костюме, направился к кооператорам: семь бед – один ответ! Когда ещё выпадет так погулять, в такой компании и с такой компанией!

Через десять минут мы сидели в глубине парка под уютными зелёными деревьями, я – на месте Удальцова, Серёга – на месте Овечкиной. На травке между нами стояли четыре бутылки пива и две порции шашлыка на одноразовых картонных блюдечках. Шашлык, щедро политый кетчупом, дразнил и звал, вызывая у нас прилив слюны.

Донцов ловко, пробка о пробку, открыл два «пузыря», и мы с наслаждением и жадностью отхлебнули из горлышек. И через пять минут опять вернулись к вечной теме – поэзии. Я с благоговением вспомнил о своем литинститутском мэтре Александре Петровиче Межирове. Как раз в тот период времени он был отстранён от руководства нашим семинаром – за то, что его машина сбила в ночной Москве актёра театра на Таганке Юрия Гребенщикова. Случилось это 25 января 1988 года, в день рождения Владимира Высоцкого. Надо думать, что актёры театра отметили этот день, и кто знает – злой рок или алкоголь толкнул Гребенщикова под колёса межировского «жигуля», только он погиб, а мы остались на два года без того, по чьей воле поступили в знаменитый вуз. По Москве ходили слухи, что за рулём был не сам Александр Петрович, а его друг, ас игры на бильярде по имени Ашот.

Вот тут, в парке, за бутылкой пива я и выразил сожаление, что вместо Межирова нашим семинаром руководит средней руки поэт Кирилл Ковальджи.

– Да что твой Межиров? – вдруг вскинулся на меня уже захмелевший с бутылки пива (много ли надо на старые дрожжи?) Донцов.

– Что твой Межиров? – в Серёге проснулся антисемит. – Он же еврейский выкормыш. И сам полуеврей! Что ты о нём жалеешь?!

Ещё сутки назад я поддерживал идею Удальцова-Донцова-Хомякова идти бить морду Виталию Коротичу, и в первую очередь за то, что он – еврей. А сейчас во мне выиграло «ретивое», мне вдруг стало обидно за своего учителя, за то, что Серёга обозвал его «еврейским выкормышем». Ведь если б не Межиров – не учиться бы мне в Литинституте, не быть бы на этом совещании молодых, не сидеть бы сейчас в Химках с хорошим поэтом Серёгой Донцовым и не закусывать бы горячим шашлычком «Жигулёвское» пиво.

* * *

Мне припомнилась первая встреча с Межировым на заседании приёмной комиссии в «овальном» зале на Тверском бульваре, 25, а ещё первое его выражение на первом «заседании» нашего творческого семинара: «Будда однажды сказал: встретишь учителя – убей его!»

...Межиров вошёл в нашу аудиторию немножко переваливающейся походкой со свежим номером «Нового мира» в руке. Мы, все двенадцать человек, одновременно вскочили со своих мест, и Александр Петрович сделал плавный знак рукой, усаживая нас обратно.

Межиров, седой, грузный, с заметно выделяющимся животом, сел за преподавательский стол и своими большими библейскими глазами, в которых всегда, даже когда он смеялся, стояла затаённая грусть, оглядел нас.

– Н-ну в-вот, – заикаясь, произнёс он, – теперь мы с вами и познакомимся.

Я вдруг ощутил некоторое смущение оттого, что Межиров заикается. Потому что такой же недостаток имею и сам. Когда разговаривают два заикающихся человека – со стороны это выглядит не то чтобы смешно, а... И я решил больше молчать, нежели говорить. Молчать хотя бы для того, чтобы сам Межиров не ощущал подобного смущения при общении со мной.

Некоторые слова Александр Петрович произносил с трудом и, чтобы скорее их выговорить, помогал себе правой рукой: когда слово не давалось, он поднимал руку и опускал её на стол. И слово произносилось.

Забегая вперёд, скажу, что при чтении стихов наш мэтр не заикался нисколько, и тут его правая рука была главной помощницей.

– За лето, – произнёс Межиров, – я прочёл тысячу рукописей, присланных на конкурс, и отобрал вас, двенадцать человек. Двадцать лет я преподавал на Высших литературных курсах, но вот поближе к старости решил подумать о душе и перешёл на кафедру творчества в Литинститут.

Александр Петрович поднял каждого из нас с места, называя по имени и фамилии, видимо, для того, чтобы получше запомнить в лицо, и начал занятие. Наше первое занятие...

– Вот только что мне принесли свежий «Новый мир». И здесь – очень сильная подборка стихов Ярослава Смелякова, его лагерный цикл, ни разу нигде не публиковавшийся.

Межиров открыл журнал на той странице, где начиналась подборка, и пустил его по рядам.

– Видите, там стихотворение под названием «Курсистка»? Первая его строфа в журнале звучит так:

Казематы гражданского сыска,
Пересылки огромной страны.
В 19-м стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны...

– Так вот, – продолжил Межиров, – я был близко знаком со Смеляковым и знаю, что это стихотворение называется не «Курсистка», а «Жидовка», и первая его строка звучит следующим образом:

Казематы сыскной уголовки,
Пересылки огромной страны.
В 19-м стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

И далее Межиров стал читать наизусть:

Ни рожать, ни стирать не умела,
Никакая ни мать, ни жена.
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И висит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
Никогда у неё не найти...

– Кто из вас выписывает «Новый мир» – внесите поправку в это стихотворение, – продолжил метр.

И всё оставшееся до конца занятия время рассказывал нам о Смелякове и о поэтах его – фронтового – поколения.

...Когда я узнал при поступлении в институт, что попал в семинар к Межирову, меня посетило лёгкое разочарование: я знал его, как и многие, по одному лишь стихотворению «Коммунисты, вперёд!», включённому в учебники литературы, звучавшему тогда по радио и телевидению во все дни громких социалистических празднеств. Хотя «Коммунисты...» были написаны талантливо и искренне:

...Жгли мосты, отступая от Бреста к Москве,
Шли солдаты, от беженцев взгляд отводя.
И на башнях закопанных в пашню «КВ»
Высыхали тяжёлые капли дождя...

Эти капли дождя на закопанных по самые башни в землю танках «Клим Ворошилов» мог разглядеть только настоящий поэт. Лёгкое мое разочарование рассеялось без следа спустя несколько дней пребывания в Москве. Друг Феди Михайловского (я о нём уже упоминал), тонкий ценитель поэзии, в советские времена – диссидент Александр Григорьевич Кавтаскин, славший мне когда-то книги из Ургенча в деревню, а в 1986 году «окопавшийся» в столице, сказал мне в телефонную трубку (я позвонил ему из общаги, чтобы «отметиться»):

– Тебе очень повезло, что тебя выбрал Межиров. Это последний из «могикан», последний из интеллигентов того поколения, жившего при Усатом («Усатым» Кавтаскин называл Сталина). И поэт он очень хороший. Хотя – сибарит. Игрок – и в карты, и на бильярде. Игрок до мозга костей. Но – умница, очень большая умница. Считай, что ты вытянул счастливую карту!

Для меня, вращавшегося во времена застоя не только в обществе пьяных скотников и плотников, но и некоторым образом имеющего связь с архангельскими и московскими инакомыслящими, такой отзыв о моём будущем учителе значил очень многое.

Дальше – больше: новоиспечённые литинститутовцы, да и студенты с дневного отделения и с других заочных курсов, узнав при разговоре, у кого я в семинаре, поднимали вверх палец и многозначительно говорили:

– О-о-о! Межиров – это величина!

К концу установочной сессии мы, двенадцать человек, уже ходили с гордым и надутым видом – мы учимся в семинаре Межирова! На установочной сессии Александр Петрович провёл с нами несколько занятий (творческий день в Литинституте, то есть занятия с метрами, – вторник) и, перед тем как расстаться до весны, дал задание: к следующей сессии найти и прочесть стихи Иннокентия Аннинского, Константина Случевского и Фёдора Сологуба. И выписать, то есть выделить для себя, наиболее понравившиеся. Таким образом, видимо, Межиров решил узнать о вкусах каждого из нас.

Дал он нам и свои домашние координаты. Вот они, до сих пор в моей записной книжке: «125319 г. Москва, ул. Красноармейская, дом 21, кв. 96. Домашний телефон: 151–23–20, телефон на даче в Переделкино – 593–17–68». Правда, в этой же книжке сейчас записаны у меня и два «штатовских» адреса Александра Петровича – нью-йоркский и портлендский. О каких-либо национальных пристрастиях Межирова трудно было говорить: мы, семинаристы его, на девяносто процентов – русаки. Я – из архангельской глубинки, Сашка Шиненков – из нижегородской, Андрей Алексеев – подмосковный крестьянин, Юра Виноградов – нижнетагильский пожарник, Серёга Бойцов – токарь из Кургана, Сашка Снегирёв – прораб по ремонту писательских дач в Переделкино, Володя Пестерников – мелкий московский чиновник, Серёга Жилинский – слесарь из Мелитополя, Митька Загулин – питерский русофил. А ещё в нашем семинаре был один нацмен – азербайджанец Ашраф Зейналов, на нацменов в те времена существовала разнарядка – на какой факультет и сколько брать. Семитская кровь текла только в Раисе Михневой – впоследствии Рахель Абельской из Свердловска (как потом оказалось, она попала к нам по протекции Юрия Левитанского и Булата Окуджавы – до неё Межиров не брал в свои семинары представительниц слабого пола) и сотруднике столичного журнала для слепых Алексее Зайцеве. Алёша, как коренной москвич, был избран нами старостой семинара, человеком он прослыл среди нас невредным, в какой-то мере даже солидарным с нами.

Зайцев, всегда одетый с иголочки, очень похожий на ведущего программы «Итоги» Евгения Киселёва, подходил в перерывах между занятиями ко мне или Серёге Бойцову и, приложив ладонь ко лбу, говорил:

– Ох, и перебрал я вчера! Надо после занятий пойти похмелиться.

Или, поворачиваясь к нам из-за своего стола (он сидел впереди), с удивлением спрашивал:

– Разве вы не были вчера на похоронах академика Лосева? Жа-аль. А я был...

Алёша несколько раз грозился напечатать стихи каждого из нас в своём журнале для слепых, но обещания так и остались обещаниями. Иногда Зайцев прогуливал лекции и даже семинарские занятия с Межировым. Александр Петрович оглядывал нас тогда своими большими и печальными библейскими глазами и говорил:

– З-звонил З-зайцев. Ему не м-можется. У него – ж-жар.

Мы-то знали, что Зайцев обманывал Межирова, но чего стоило услышать из уст нашего мэтра хорошее русское слово «жар», а не «температура».

Уже на установочной сессии на занятия нашего семинара стали приходить студенты из других групп – только ради того, чтобы посмотреть на Межирова и послушать его. Марина Хлебникова из семинара критика Валерия Дементьева даже решила перевестись к нам, но Александр Петрович печально посмотрел на неё и сказал:

– Я не могу вас принять. Вы же – избранница Дементьева. Он вас выбрал. По отношению к нему это будет предательством.

Многие поэты считали и считают Межирова своим учителем. Даже Станислав Куняев, несмотря на последующее негативное отношение к своему старшему коллеге. Куняев признаёт, что Межиров в своё время многое дал ему и помог наладить связи с литераторами из братских республик, переводя труды которых Станислав Юрьевич стал неплохо зарабатывать.

Своим учителем считает Межирова и Евгений Евтушенко. Об этом он говорит в стихотворении «Переулочек Лебяжий», написанном в конце 90-х годов.

Кстати сказать, наш мэтр пригласил однажды его, уже после своего возвращения на кафедру творчества по истечению опального срока, к нам на семинар. Евгений Александрович влетел в аудиторию метеором, прямо с заседания литературного объединения «Апрель», только что образовавшегося. В «Апрель» вошли писатели-«западники», решившие отмежеваться от Союза писателей СССР.

Евтушенко витийствовал перед нами, двенадцатью семинаристами, три часа. Он отвечал на вопросы, читал стихи, импровизировал. Межиров сидел в стороне, мудро смотрел на него и на нас, не ввязываясь в диалог Евтушенко с семинаром. Только один раз он попытался остановить разошедшегося поэта:

– Женя, а помнишь – там, у Данте?..

– Что мне Данте! – не дал договорить ему Евтушенко. – Я выше Данте, я убью Данте!

Если до этой встречи я относился к Евтушенко, как и многие, несколько предвзято, то после неё он стал мне даже чем-то симпатичен. Я увидел в поэте просто авантюриста, человека без царя в голове, плывущего по жизни «по воле волн»: куда ветер, туда его и несёт. Это мое убеждение подтвердил и Межиров, когда мы всем семинаром во главе с Александром Петровичем вышли проводить Евгения Александровича на улицу.

Межиров, задумчиво глядя вслед удаляющейся евтушенковской машине, как бы размышляя вслух, произнёс:

– Как много дал Господь этому человеку. И надо же – докатиться до «Апреля»...

Говорят, что блестящее стихотворение Межирова «Второе я» посвящено Евтушенке, хотя там и нет посвящения. Да оно и не требуется, так как стихи уничижительны. Цитирую их не с начала и без конца – стих очень длинный:

Лень приборку делать, постирушку,
Разную и всякую нуду.
Заведу смышлёную игрушку,
Ключиком игрушку заведу.

Жизнь чужую истово корёжа,
позвоню (своя недорога!):
– Подымайся, заспанная рожа,
едем в ресторан и на бега!

Далее в стихотворении говорится об отношении поэта к этой «заводной игрушке» – как он укажет ей «важные каналы», «книжечку» составит и издаст, короче говоря – выведет в люди. И далее:

На одной руке уже имея
Два разэкзотических кольца,
Ты уже идёшь, уже наглея,
Но пока ещё не до конца.

И непереваренного Ницше
В животе приталенном неся,
Ты идёшь всё выше, то есть ниже,
Ибо можно всё, чего нельзя.

Ты идёшь, способный на любое,
Только пользой чутко дорожа,

В шляпе настоящего ковбоя,
Выхваченной из-за рубежа.

Ты сперва за всё меня за это
Будешь очень сильно уважать.
А потом за всё меня за это
Будешь от души уничтожать.

Нажимай, снимай поглубже стружку
Со спины того, кто превратил
В жалкую игрушку-побегушку
Твой холодный олимпийский пыл.

Не жалея, отслеживай, аукай
Сдвоенными – в челюсть и под дых.
Ты рождён тоской моей и скукой
Самый молодой из молодых.

Я построил дом, но не из брёвен,
А из карт, краплёных поперёк,
Потому и пред тобой виновен –
Превратил в игрушку, не сберёг...

Стихотворение это я прочёл позже нашей встречи с Евтушенко и только тогда понял, почему Межиров так мудро и снисходительно смотрел на витийствующего поэта, почему обронил при прощании с ним эту фразу:

– Наадо же – докатиться до «Апреля»...

Сам Межиров ни к каким «Апрелям» или иным течениям никогда не примыкал и не докатывался до них. В своё время, написав знаменитое «Коммунисты, вперёд!», он остался навсегда, до конца коммунистической эпохи обласкан властями, хотя больше никогда верноподданнических стихов не писал. Но и «Коммунистов» нельзя назвать таковыми, их автор – человек, искренне верящий в то, что написал; человек, почти мальчишкой прошедший через войну, защищавший блокадный Ленинград, раненый, но спасённый врачами, дошедший до Берлина и только там осознавший, что и он мог бы лежать где-нибудь в братской могиле:

В мае сорок пятого, в Берлине,
В тишине почти что гробовой
Подорвался на пехотной мине
Русский пехотинец рядовой.

Я припомнил все свои походы,
Все свои мытарства на войне.
И впервые за четыре года
Почему-то стало страшно мне...

Да, «Коммунисты...» стали как бы визитной карточкой Межирова, абонементом, пропуском в любые коридоры и кабинеты власти, а тем более – в издательства. Но поэт не разменялся на мелочи, не стал строчить поэмы типа «Мама и нейтронная бомба», публиковаться тут и там, вседозволенность не испортила его как поэта, он просто засел за книги, у него была такая возможность – засесть за книги, стал самосовершенствоваться и совершенствовать свои стихи. В толстом сборнике «Избранное», вышедшем в Москве в 1989 году, нет «Коммунистов...», в нём много других стихов, замечательных, талантливых, профессиональных, написанных настоящим мастером, хотя... хотя истинному таланту всегда свойственно сомневаться:

С поэзией родной наедине
Всю жизнь свободным прожил я в неволе.
Никитина стихи прочтите мне,
Стихи Ивана Саввича о поле.

Кто я такой? Секрета в этом нет,
И уж теперь тем более не тайна,
Что я – несостоявшийся поэт,
Поэт, несостоявшийся случайно...

«Всю жизнь свободным прожил я в неволе» – признание это говорит о многом. Александр Петрович всю жизнь чувствовал не только покровительство властей, но и опеку с их стороны, выражаясь иначе – надзор. Да, он тоже ездил в те времена, как ездили Евтушенко и Андрей Вознесенский за рубеж, ездил, но не писал громогласных стихов, поносящих «западный рай», не воспевал превосходство советской системы над системой капиталистической:

В отеле, где не действуют на нервы
Стрекочущие кондиционеры,
В отеле, окружённом белой-белой
Оградой. Наше дело – сторона! –
Живи, подлец, и ничего не делай, –
Всё за тебя заплатит сверхстрана,
Всё за тебя заплатит сверхдержава...
Базар тибетский слева. А направо –
Всехристианский офис. На двери
Табличка по-английски. Так. Понятно.
Здесь выдаются Библии. Бесплатно...
Входи, товарищ Межиров, бери...
Бери? Когда известно мне заранее,
Кто выдаёт Священное Писанье,
Что за конторкой восседает фон,
Как говорится, Штирлиц. Телефон,
То бишь «вертушка», – прямиком в посольство...

Межиров не вступал со сверхдержавой в поединок, он не бранил её, но и не хвалил. Он не якшался с «придворными» поэтами, но и к диссидентствующим литераторам не примыкал. Следующие строчки он написал сам про себя:

И с фронта, и с тыла,
И слева, и справа
Ему постоянно
Грозил расправа,
За то, что со всеми
В единой системе
Он жил,
Но ни с этими был
И ни с теми...

В Москве, где так сильны всегда разногласия и противостояние литераторов еврейского и славянского происхождения, Межиров не примыкал ни к какой из этих группировок, он был как бы над ними, выше их. Может, в силу своей образованности, мудрости, прозорливости, философского склада ума, способности анализировать:

...О двух народах сон, о двух изгоях,
печатью мессианства в свой черёд
отмеченных историей, из коих
клейма ни тот, ни этот не сотрёт.
Они всегда, как в зеркале, друг в друге
отражены. И друг от друга прочь
бегут. И возвращаются в испуге,
которого не в силах превозмочь.
Единые и в святости и в свинстве
не могут друг без друга там и тут,
и в неопределимом двуединстве
друг друга прославляют и клянут...

Эти строчки – о еврейском и русском народах...

Вслед за военным уставом, вернувшись с войны и став вскоре членом Союза писателей, Межиров изучил Священное Писание и в дальнейшей своей жизни стал руководствоваться Книгой пророка Экклезиаста, не забывая и о Книге Иова. Поняв раньше других «соцреалистов», что всё на свете суeta и томление духа и что всё уже было под солнцем на этой земле, Александр Петрович предпочёл политическим играм другие – игры в карты и бильярд. «Я построил дом, но не из брёвен, а из карт, краплёных поперёк...» Ещё неизвестно, кем бы стал поэт, если б не война, ибо:

Отец ворчал, что отрок не при деле,
Зато колода в лоск навощена.
И папиросы в пепельнице тлели
Задумчивым огнём... Как вдруг – война!

И ещё:

Со школьной, так сказать, скамьи
Из, в общем, неплохой семьи
Я легкомысленно попал
В гостиничный полуподвал.
Там по сукну катился шар,
И всё один удар решал.
Маркёр «Герцоговину Флор»
Курил и счёт провозглашал...

Многие свои стихи Межиров, как профессионал в том и другом деле (то есть как поэт и как игрок), посвятил именно игре:

От зелёного поля села
До зелёного поля стола,
По которому крутится-вертится шар заказной
В знаменитой пивной,
В «Метрополе»,
Деревенского парня судьба довела,
Как тогда говорили, по Божеской воле.
Вскоре сделался он игроком настоящим. А это
Многokратно усиленный образ поэта,
Потому что великий игрок
Это вовсе не тот, кто умеет шары заколачивать в лузы,
А мудрец и провидец, почти что пророк,
С ним во время удара беседуют Музы...

Говорят, что настоящие игроки (в том числе и Межиров) даже в те, советские, времена выигрывали по крупному, счёт шёл не на сотни – на тысячи рублей. А советская тысяча – не чета нынешней. Настоящий поэт, настоящий талант никогда не боится сказать правду о себе в своих стихах. Не боится этого и Александр Петрович:

Почётная профессия – мошенник:
Везде и всюду слава и почёт
Тому, кто ради выигранных денег
На страшный риск бестрепетно идёт.

Я жизнь свою мошенничеством прожил
В мошенническом городе большом,
Его казну по доле приумножил
И подытожил гибельным кушем.

Он, почитающий одновременно ветхозаветного пророка Моисея («но если я, и вправду, заикаюсь, как Моисей...») и славянского философа Григория Сковороду, судит себя в своих стихах по «гамбургскому» счёту, жестоко:

Что у тебя имелось, не имелось?
Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
Всё, что имел, – и молодость и мелос,
Всё на потребу пятитопной лжи.

А чем тебя за это наградила?
А что она взамен тебе дала?
По ресторанам день и ночь водила,
Прислуживала нагло у стола.

На пиршествах весёлых, в чёрной сотне
С товарищем позволила бывать,
И в пахнущей мочою подворотне
В четыре пальца шпротами блевать.

Она меня вскормила и вспоила
Объедками с хозяйского стола,
А на моём столе мои чернила
Водою теплой жидко развела.

Здесь уже – явный перебор, слишком жестоко судит себя поэт. Видимо, это клеймо – клеймо автора «Коммунистов, вперед!» Межиров носил на себе всю жизнь, носил и мучился этим. И, повторюсь ещё раз, верноподданнических стихов больше не писал. Кроме одного, которое Александр Петрович выдохнул из себя уже в разгар перестройки, в разгар бурной антикоммунистической и антисталинской кампаний. Поэт очень тяжело переживал происходящие в стране катаклизмы:

Что ты плачешь, старая развалина?
Где она, священная твоя
Вера в революцию и в Сталина,
В классовую сущность бытия?

Вдохновлялись сталинскими планами,
Устремлялись в сталинскую высь,
Были мы с тобой однополчанами,
Сталинскому знамени клялись.

Шли, сопровождаемые взрывами,
По чужой и по своей вине.
...О, какими б были мы счастливыми,
если б нас убило на войне.

Стихотворение это Межиров не побоялся опубликовать в «Новом мире» в самый, казалось бы, «неподходящий» для этого момент – в момент развала СССР и КПСС. Он не принял демократию, хотя спокойно мог бы жить и при новой системе, тот же «Апрель» принял бы Межирова, как говорится, «с ручками и с ножками». На семинарских занятиях с нами Александр Петрович позволял себе некоторые высказывания в адрес Ельцина и иже с ним, но большинство из нас воспринимали эти высказывания в штыки – Ельцин, шедший к вершинам власти семимильными шагами, был чуть ли не национальным героем. Видимо, тогда у Межирова созрело решение уехать в Америку. И основной причиной его отъезда было именно неприятие нового строя, а отнюдь не трагедия с Юрием Гребенщиковым. Случилась она в 1988 году, а в Штаты поэт эмигрировал в 1993-м, «выпустив» из Литинститута наш семинар и устроив прощальный вечер у себя дома, пригласив на него всех нас. Хотя смерть Гребенщикова наш мэтр пережил очень тяжело:

Когда ещё
Сумой плечо
Я не сутулил,
Тюремный голубь за стеной
Ещё не гулил,
Я слёзы лил,
Петлял, юлил
И заикался,
Но от сумы да от тюрьмы
Не зарекался...

Никто не знает, почему и каким промыслом Судьба свела в ночной Москве поэта и актёра, но факт, что столкновение это не было преднамеренным. И любой из нас не знает, как поступил бы он, будучи на месте Межирова (говорят, что он уехал с места происшествия)... «Не судите, да не судимы будете...» Страшнее человеческого суда свой суд, суд совести. В момент нашего с Донцовым сидения в химкинском парке, мэтр наш находился один на один со своей совестью, под подпиской о невыезде.

Я допил первую бутылку пива и попёр на Серёгу:

– Ты Межирова не тронь! Ну и что, что он полуеврей?! А твой Самарцев, у которого мы всю ночь просидели, – не еврей? А Бродский – не еврей? Я Бродского не меньше Рубцова люблю! Стихи-то ведь его написаны на русском языке! Он русский язык прославил, за него и Нобелевскую премию получил!

Серёга, считающий, как и я, Бродского гением, заткнулся – ему было нечем крыть.

Мы выпили по второй бутылке «Жигулёвского», доели шашлыки, Серёга подхватил канистру с пивом – нужно было выбираться на шоссе и ловить попутку до международного спортивного комплекса «Олимпиец», где нас уже наверняка хватились. Я бормотал что-то про себя, всё ещё сожалея, что Межирова отстранили от руководства нашим семинаром.

Забегая вперёд, скажу, что и на осенней сессии 1989 года мы не встретились с нашим мэтром, и на весенней следующего.

А через два года мы уже потеряли всякую надежду на возвращение Александра Петровича: эти пресные семинары с Кириллом Ковальджи, где он талдычил одно и то же и хвалил только поэтов-авангардистов, всем порядком надоели. Авангардистов-то, почитай, среди нас и не было, даже Алёша Зайцев писал в традиционном стиле, а песенные тексты Раи Михневой и Сашки Шиненкова никак не могли сойти за авангардистские.

...Приехав на очередную осеннюю сессию, мы с курганским поэтом Серёгой Бойцовым загуляли по-крупному. Как я уже упоминал, творческий день в Литинституте, то есть занятия в семинаре с их руководителями, – вторник, семинары назначались на пять-шесть часов вечера, а весь день до этого был свободен. Сетуя на то, что «Кирюха» опять будет в своём репертуаре и встречаться с ним не больно-то хочется, мы с Бойцовым с утра направились в пивную на пустыре, где провели большую часть первой половины дня. Затем, правя дорогу на Тверской бульвар, заглянули в издательство «Молодая гвардия», благо оно было по пути, близ станции метро «Новослободская». Издательство это мы считали родным, так как оба уже были напечатаны здесь, я – в «Истоках», Серёга – в сборничке, где кроме него было ещё два поэта. Правда, в Серёгином случае произошёл казус: в этом же издательстве в том же году вышла книжечка студента Литинститута, учившегося на курс старше нас, Сергея Бойцёва, да-да, не Бойцова, а Бойцёва. Разница в фамилиях всего лишь в одну букву, но гонорар за стихи, который должен был получить поэт из Кургана Серёга Бойцов, перечислили Сергею Бойцёву, чем мой однокурсник был прямо-таки убит, ведь ему причиталось больше тысячи рублей, что по тем временам были немалые деньги (буханка хлеба 15 копеек стоила).

И вот мы с ним, хорошо подгулявшие в пивнушке, где не только «Жигулёвским» пробавлялись, но и «ерша» хлебнули, то есть водки с пивом, закатились в «Молодую гвардию», и Серёга стал искать виновного в перечислении гонорара не ему, а его неполному (одна буква не такая!) тёзке.

– Такие матери! – орал Серёга, выходя из очередного кабинета. – Такие матери! Я вам поперепутываю! Где мои кровные!?

Судьбу «кровных» ему выяснить не удалось: в конце концов в коридор вышли несколько мужчин и вежливо попросили нас удалиться.. Мы вышли на улицу, с горя ещё чего-то выпили и направились дальше, то есть ближе к «альма-матер», и уже на подходе в намеченной цели, наткнулись на междугородный переговорный пункт на Пушкинской площади, возле первого в Москве «Макдональса». Кто был там, тот знает, как были обставлены дела на переговорном: проходишь через турникет в кабинку, набираешь по коду нужный номер, разговариваешь, затем возвращаешься к турникету, платишь девушке деньги, на сколько наговорил, и потом уже только имеешь право оказаться по ту сторону турникета.

Кабинок на переговорном шесть или семь, я быстро дозвонился до Архангельска, вышел из кабинки, расплатился и стал ждать Серёгу. Серёга же, набирая курганский номер, попадал в Кургане не домой, а в какую-то кочегарку. Там снимали трубку и отвечали: «Кочегарка слушает!». Серёга рвал и метал в своей кабинке, мне уже становилось неловко за него перед стоящей у турникета очередью.

Наконец он вылетел в проход между кабинками и турникетом, подбежал к девушке-кассиру и громогласно заявил:

– Пошли вы на х.. со своей кочегаркой! Вам ещё за это и деньги платить!?

Пока опешившая девушка приходила в себя, мы с Серёгой были уже далеко, мы бежали по подземному переходу, где в 2001 году грохнул взрыв и погибли люди, на ту сторону Тверской улицы, к Елисеевскому магазину, где быстренько приобрели бутылку водки – со спиртным в то время в Москве стало уже намного легче. А потом как ни в чём не бывало, вернулись обратно, пробежали мимо «Макдональса» и со стороны Бронной, где всегда стоял мусорный бак с крупной белой надписью «Литинститут», вошли на «нашу» территорию – в скверик и сели на скамеечку возле памятника Герцену. Я взглянул на часы: через 15 минут начинались занятия семинара. Мы попили водки из горлышка, Серёга засунул ополовиненную бутылку ко мне в сумку, закурил, через пять минут окосел, его бросило на землю, и он лёг ничком на асфальтовую дорожку возле ног бронзового изваяния автора «Былого и дум», вытянув в его сторону обе руки.

Я наклонился, чтоб поднять Серёгу – здесь всё-таки не место для отдыха! – и вдруг боковым зрением увидел, как со стороны Тверского во дворик въехала машина и из неё вышел... Александр Петрович Межиров собственной персоной с чёрной папкой под мышкой. Половина листвы с кустов во дворике уже облетела и через голые прутья метр увидел меня, поднимающего с земли Бойцова, и всё понял. Понял, медленно поклонился нам и, не торопясь, зашагал к главному корпусу.

Я протёр глаза, подумав: а не привиделось ли мне это? Нет. Межиров уже открывал дверь дома Герцена.

Я потряс Серёгу за плечи (он уже не лежал, а сидел на асфальте) и почти прокричал ему в ухо:

– Серый! Очухивайся! Межиров вернулся!

Я отряхнул вставшего на ноги Серёгу, и мы пошли в подвал главного корпуса – в туалет, и, перед тем как подняться наверх, ещё попили из горлышка и дали попить Сашке Шиненкову.

Все наши уже были в аудитории. Александр Петрович сидел за столом и курил. Он не курил последние двадцать лет, но трагедия с Гребенщиковым и последующие за ней события заставили его снова взяться за сигарету.

Мы с Бойцовым, держась друг за друга, прошли между столами и сели на «камчатке». Семинар, и мы вместе со всеми, радовался возвращению Межирова. Он же сидел и сдержанно улыбался, видя эту нашу радость – ему было приятно. Мы, зная причину его более чем двухгодичного отсутствия, не стали спрашивать о ней, он тоже не счёл нужным объясняться с нами и, как будто мы расстались только вчера, медленно произнёс:

– Ну-с, на ч-ём м-мы остановились?

И семинар пошёл своим чередом. Сначала читал свои новые стихи Сашка Сорокин, потом – Андрей Алексеев. Андрей не успел закончить: мэтр прервал его, обратив взгляд в нашу с Серёгой сторону:

– П-подержите Бойцова. Он сейчас упадёт.

Межировские слова запоздали – я не успел схватить за шиворот разморённого в тепле приятеля: он покачнулся на стуле и вместе с ним свалился в проход меж столами. И заснул. Межиров, как будто ничего не случилось (такое ли он в жизни видел!) улыбнулся и кивнул Андрею: дескать, продолжай читать дальше.

Я тоже отважился и вслед за Андреем прочёл пару новых стихов. Александр Петрович похвалил их, делая вид, что не замечает моего, мягко сказать, нетрезвого состояния.

А после занятия я потащил Бойцова в общагу. И на станции метро «Новослободская» над нами сверкнул меч Немезиды: бросив жетон в щель турникета, я миновал его клещей, а вот Серёгу, чуть ли не висевшего на мне, защемило, и подскочивший к нам наряд милиции потащил его в свою сторону, почему-то проигнорировав мою персону. Я попытался было вступить за товарища, потянул его за руку на себя, но суровый сержант грубо оттолкнул меня и посоветовал убираться подобру-поздорову, пока «он добрый».

В самом наихудшем расположении духа отправился я в общежитие. А там как раз Костя Савельев приехал – он всегда опаздывал на сессии. Я сказал ему, что над Бойцовым сверкнул меч Немезиды, и мы оба опечалились. Но тут пришёл Сашка Шиненков с гитарой, на столе сама собой оказалась бутылка водки – Костя приехал! – выпили мы по одной, по другой, Сашка не успел запеть «Ах, как блещат купола...», как дверь распахнулась, и на пороге появился... Серёга Бойцов, улыбающийся во весь свой рот.

– Я показал ментам студенческий билет и книжку со своими стихами, она у меня в кармане была. Они прониклись ко мне уважением и отпустили...

Мы ещё больше стали ценить нашего мэтра, когда на следующем занятии он ни словом, ни взглядом не напомнил нам о том, что было накануне.

приёмная комиссия. Даже Межиров не позволял себе курить здесь, не говоря уже о нас. Евгений же Борисович с какой-то свойственной ему вседозволенностью достал сигарету и задымил ею прямо в «овальном» кабинете. То же самое сделал и молодой человек, пришедший с ним. Наш мэтр недовольно поморщился. И, как бы извиняясь за гостей, сказал нам, когда те ушли:

– Этот юноша – сын Евгения. У Евгения много детей и в Ленинграде, и в Москве – от разных женщин. Юноша считает, что с таким папой ему всё разрешено...

На последнем нашем творческом занятии Александр Петрович достал из кармана несколько купюр (деньги тогда уже были новые, «демократические») и положил их на стол:

– Нам нужно отметить ваш выпуск. Приглашаю всех к себе домой, – и он назвал день и час, – вот моя доля. Купите водки.

Межировские купюры взял Серёга Бойцов. Прощальный вечер с Александром Петровичем намечался дня через три, и за это время Бойцов успел пропить-прогулять чужие денежки, что и естественно в условиях общаги: там, главное, одну рюмку выпить, а дальше уже безразлично, на что пить – на свои деньги или на деньги мэтра. Накануне визита к Межирову похмельный Серёга ходил по общаге с сумасшедшими глазами, заглядывал в каждую комнату и просил взаймы. Выручил его Митька Загулин – ему, начинающему банкиру, дать деньги Бойцову было всё равно, что чихнуть.

И вот в назначенный час мы – все двенадцать человек, – нагруженные бутылками и кульками высадились на станции метро «Аэропорт» и через десять минут звонили в дверь межировской квартиры. Хозяин радушно встретил нас, провёл по всем комнатам, показал, где что лежит на кухне: соль, перец, лук. Картошку мы принесли с собой и тут же начали чистить и варить её.

Пока варилась картошка, Александр Петрович поставил видеокассету – последний бой боксера Майкла Тайсона за звание чемпиона мира. Межиров вообще любил цирк, бокс, футбол, хоккей, – может быть, потому, что сам был заядлым игроком, правда, в несколько другие игры.

За широким столом всем хватило места. Налили по первой, выпили по второй. Из всех спиртных напитков Межиров более всего предпочитал «светленькую»:

Пепси-кола не заменит водку,
Потому что водка – не вода, –

писал он в одном из своих стихотворений. Мэтр знал толк в выпивке и умел оставаться при этом в трезвом уме. После второй рюмки он поставил ещё один видео-ролик – художественный фильм «Фазтон». Кассета была без перевода, на английском языке. Фильм рассказывал о первых европейских переселенцах в Америке, о приключениях одной из таких семей. Семья ехала в фазтоне по диким прериям и саваннам, горевала и бедовала, уходила от преследующих их индейцев, и всё это – в поисках места, где можно было бы поселиться и пустить корни. Межиров сам переводил нам с английского на русский, перед этим, правда, извинившись за плохое знание иностранного.

Почему он поставил нам именно этот фильм? Наверняка мысли его были уже там – в Штатах, в душе своей он уже попрощался с Москвой, с Россией, а теперь прощался с нами – своими семинаристами.

– Я вам очень завидую, дорогие мои, – растягивая слова, говорил Александр Петрович, – «железный» занавес снят, теперь вы свободны, можете поехать в любую страну, посмотреть, как живут там, сравнить... Вы можете путешествовать...

Увы, мне пока не представилась возможность побывать ТАМ. А вот наши семинаристы... В 1998 году я зашёл, будучи проездом в Москве, в Литинститут. Дело было летом, в пору студенческих каникул. Я с замиранием сердца поднялся на второй этаж корпуса заочного отделения, заглянул в наш деканат. Там, как и десять лет назад, сидела за столом миловидная Нелли Константиновна – наш бывший куратор. Мы заговорили о том, о сём, о прошедших годах, об учёбе, о друзьях-товарищах...

– Тут недавно Алёша Зайцев звонил. Из Сорбонны. «Знаешь, – говорит, – Неля, если я думал, учась в Литинституте, что он – жопа, так по сравнению с ним Сорбонна тоже – жопа, только ещё более глубокая...», – сообщила наш бывший куратор.

Я мысленно порадовался за Алексея: мы не сомневались, что он пойдёт далеко, никто в нашем семинаре насчёт этого не сомневался.

А тогда, на прощальном вечере у Межирова, устроила прощальный концерт Рахель Абельская, бывшая шесть лет подряд Раисой Михневой. Она пела под гитару грустные, очень хорошие песни своего сочинения – у Раи в кармане, а точнее – в сумочке лежала въездная виза в Израиль: она уезжала туда навсегда.

Вслед за Раей пел под гитару Сашка Шиненков, мы все во главе с Межировым слушали, выпивали и снова слушали. Володя Пестерников начал читать стихи Тютчева. Межиров, поднимая очередную рюмку и глядя мне в глаза, вдруг сказал:

– Если б вы знали, каким пьяницей был Галич...

Кое-кто из наших уже захмелел. Серёга Бойцов норовил съехать под стол, его поддерживал Сашка Снегирёв – он не пил в тот вечер, боясь пуститься в запой, А время запоя для него ещё не настало, он недавно вышел из такового и собирался ближайšieе полгода жить трезвой жизнью.

Водка и закуска потихоньку кончались. Межиров, находясь в ясном уме, взял все наши зачётки и каждому поставил в них «отлично» по творчеству, витиевато расписавшись вслед за отметкой. Ребята стали помаленьку расходиться. Сашка Снегирёв с Андреем Алексеевым повели под руки Бойцова, мы с Митькой Загулиным собрали со стола грязные тарелки, рюмки, ложки и вилки, отнесли их на кухню и вымыли. Вымыли, вытерли руки... Мы были последними гостями, все уже разошлись.

Межиров пожал нам руки, пожелал всяческих удач, мы ему – тоже. И всё, и ушли, оставив этого пожилого человека с печальными библейскими глазами одного в большой квартире, обставленной старомодной мебелью. Он жил один – жена уехала в гости к дочери – в Штаты...

* * *

Прошло семь (Боже, как быстро!) лет. В 1999 году Межиров прислал мне из Америки следующие стихи:

Не забывай меня, Москва моя...
Зимой в Нью-Йорке проживаю я,
А летом в Орегоне, где сухие
Дожди, дожди. И океан сухой,
А в Портленде и климат неплохой,
Почти как в средней полосе России.

Оказия случится, поспеши,
Чтобы письмо упало не в могилу.
Пошли негодование – от души,
А также одобренье – через силу.

Я один из тех наверняка редких людей, получавших письма от Межирова – из Штатов. Сашка Снегирёв, давший мне американские адреса Межирова, посетовал как-то в телефонную трубку: – Мы с Андрюхой были куда как близки с Межировым. На даче у него жили после отъезда Петровича за «бугор», почти три года дачей пользовались, пока Литфонд её не приватизировал (дача нашего метра перешла Владимиру Личутину. – **А. Р.**). Сколько писем Петровичу в Штаты написали. А он нам – ни одного. А тебе – сразу четыре! А я все эти годы хотел написать Межирову. Просто так, как благодарный ученик: ведь его выбор, павший на меня, перевернул всю мою жизнь. Кабы не Межиров, кто знает, – может, лежать бы мне уже на деревенском кладбище, будучи павшим от «самопальной» водки, как многие мои сверстники, сметённые с этого света на тот перестройкой и чрезмерными возлияниями. В конце 1988 года, получив адрес из Москвы от Снегирёва, я и написал Межирову о себе, поблагодарил за всё, поздравил с Новым годом и вложил в письмо стихотворение «Письма московскому другу», сочинённые в духе Бродского с посвящением Фёдору Михайловскому. Я не просил Межирова об ответе и, честно говоря, не ждал его. А ответ пришёл – через несколько месяцев: видимо, мэтр все эти месяцы жил не в Нью-Йорке, а в Портленде, а, приехав на зиму в Нью-Йорк, достал моё письмо из почтового ящика. Вот что он написал:

«Милый Александр! Большое спасибо вам за письмо и стихи, мужественные, мудрые, выстраданные. Мне кажется, я вчитывался в них всем существом, стараясь почувствовать и то, что сказано, и паузы ощутить, умолчания, фигуры умолчания. Стихи эти трагичны, но не подавляют, а очищают, просветляют душу. О себе... Снег летит в моё окошко, выбитое мной самим... Хотелось бы напечатать "Письма московскому другу" в здешнем журнале "Слово-Word". Пожалуйста, напишите мне об этом и стихи новые и старые пришлите. Напишите, Александр, так же существенно, как и написали. Это вам дано. Вспомнил слова моей покойной матери: "Достоинство человека определяется степенью его терпимости, толерантности и обширностью частной переписки". Краткость моей записки обусловлена врождённой неспособностью связать хотя бы два слова в прозаическом тоне и тексте. Хотя читать больше всего люблю всё эпистолярное, от Цицерона до Розанова. Крепко жму вашу руку. Ещё раз большое спасибо за добрую для меня весть. Ваш А. Межиров». Письмо это датировано 22 апреля 1999 года.

Я ответил Александру Петровичу, написал, что, конечно, не против появления моих стихов в нью-йоркском журнале и послал ему вместе с письмом, небольшой бандеролькой свою первую книжку «Всё, что осталось от лета» и подборку машинописных стихотворений. И вот ответ от метра:

«Дорогой Александр! Я прохворал и дохварываю. Поэтому совсем кратко. В вашей книге есть замечательные стихотворения, свидетельства подлинного таланта. Машинопись же показалась мне с наплывом какого-то ремесленнического напряжения. Опасно (иногда безвольно) длинная строка с неизбежными пустотами, с несколько наивными упованиями на "крепкую" рифму, лишаящую звук одухотворяющей небрежности. Посылаю отрывок из книги Юрия Карабичевского "Воскресение Маяковского". Ныне покойный Карабичевский был замечательный писатель и человек. Всё было ему дано. Жить не мог. Ваши "Письма московскому другу" идут в очередном номере "Слово-Word". Дружески жму вашу руку. Ваш А.Межиров. 20.07.99 г.»

Через неделю вслед за этим письмом пришло ещё одно:

«Дорогой Александр! Не должен был я во время болезни заниматься чтением и тем более, тем более (последнее подчёркнуто. – **А. Р.**) выносить свои суждения перед поэтом. Первые прочтения вашей машинописи не позволили мне оценить её по достоинству. Между тем она содержит в себе очень сильные стихотворения. Прекрасны протяжные строки о покойном Николае Рубцове, они войдут когда-нибудь в настоящую русскую антологию, и "чеченские", и "Стихи от безделья". Я бы оставил в последнем только третью, четвёртую, девятую, десятую и одиннадцатую строфы, чтобы воздух ворвался, паузы ожили. Напишу подробнее, когда оклемаюсь. Ваш А. Межиров. 28.07.99 г.»

С этим письмом Александр Петрович прислал несколько своих новых стихов, написанных в Америке. «Не забывай меня, Москва моя...» я уже привёл выше. А вот ещё одно:

Значительное, скорбное лицо,
Витое прибалтийское кольцо
Из белого какого-то металла.
Такой была она, когда меня
На скользком склоне мартовского дня
В другое полушарье провожала.

Там север был на параллели юга
И все ходили книзу головой,
Не признавая и стыдась друг друга
Под бременем поруки круговой.
(В пустыне сорок лет с небесной манной
прошли не без следа,
и страх перед Землёй Обетованной
остался навсегда.)

На скользком склоне наших дней и лет
За старым умирающим поэтом
Ты всё-таки отправилась вослед
И пожалела, может быть, об этом.

Четвёртое письмо я получил от Межирова в ноябре того же года вместе с журналом «Слово-Word». Перед этим я отправил

ему мой второй «свеженький» сборник «Опознавательные знаки».

«Дорогой Александр! Пишу лёжа, как покойный Анциферов. Но по другой причине. Всё время болею. Постоянно возвращаюсь к Вашей второй книге. Она, как принято говорить, неровная. Со взлётами и срывами. Вы поставили перед собой более чем трудные задачи. Писания Нового Завета глубоко потрясли вас. Но отозвались порой пересказом первой действительности (недостаточно перевоплощённой). Впрочем, только гениальное стихотворение Сологуба "В бедной хате..." без греха. Да у Бунина ветхозаветное: "...и сказал проводник: я еврей и, быть может, потомок царей...". У Пастернака и Булгакова иногда слишком "роскошно". В "Гефсиманском саду" и у Пастернака последняя строфа бессмертна, а в середине беспомощные строки "головорезам – железом" и пр. Слишком храбро. А необходимы отвага и робость. Легко рассуждать об этом. Почти невозможно достигнуть сопряжения. Бродский был редкостно умён и изобретателен. "Телом поэзии" Шопенгауэр назвал изобретательность. Точней и трепетней сказал об этом Константин Леонтьев: "и мысли и чувства грубы, надо что-то другое". В вашей второй книге много замечательного. Так оно и есть. Не утешаю. И не сердитесь на меня, пожалуйста, дорогой Александр, что я взял на себя непозволительное, резко ужал "Стихи от безделья", избавил от тяжёлых риторических стен, перекрывающих поток воздуха Вселенной. Это было явно. И я решился. Подборка ваша в "Слове" сильная, независимая, в ней ощутимо то, что Пушкин называл самостояньем человека. Делатели журнала – малограмотные люди. Два последние стихотворения набраны чудовищно. Я живу здесь, на Диком Западе. А журнал издаётся на цивилизованном Востоке (тоже довольно диком). Через материк не уследишь, всего не усмотришь. Крепко жму вашу руку. Жду новых стихотворений и писем. Ваш А. Межиров 03.11.99 г.»

В журнал «Слово-Word» Александр Петрович включил (являясь членом редколлегии этого журнала) кроме моих «Писем московскому другу» ещё три стихотворения, в том числе и «Памяти Николая Рубцова», плюс к этому – отрывки из двух моих писем к нему в Америку. Я благодарен своему учителю за эту публикацию, за такое соседство в журнале (следом за моей подборкой идут стихи Иосифа Бродского). Надо понимать, каких трудов стоило ему «втиснуть» в «Слово-Word» меня, русофила (все авторы и сотрудники журнала имеют еврейское происхождение), не исключено, что для этого в фамилии моей ему (или кому другому?) пришлось даже изменить одну букву, и я стал не Росков, а Расков. Рубцовское стихотворение, действительно, было набрано так, что рифмы кое-где путались, «Стихи от безделья» сокращены на треть. Но всё это мелочи по сравнению с публикацией в ТАКОМ журнале, да ещё в Нью-Йорке! На последнее письмо я ответил бывшему мэтру кратенько и не сразу, стихов новых не послал (их у меня тогда попросту не было), поблагодарил его за публикацию, пожелал здоровья... И вот его пятое ко мне послание:

«Дорогой Александр! Думал, не дождусь ответа... У Вас были основания не отвечать: купюры, так сказать, явочным порядком, чудовищный набор, варварская его графика, вторжение даже в текст писем... Откуда в Вас, в новом человеке, столь старомодная, непреложная терпимость, толерантность? Я повторяю этот вопрос с чувством восхищения. Сквозь хворобу усердно пытался превращать старые и не слишком старые, и почти новые наброски в стихотворения. Опасное занятие. Но что поделаешь... Океан превращает прибрежные города американского востока в пыточные камеры. Чудовищные перепады температур и пр. А вот Великий, или Тихий, балует свои берега и его жителей. Всё больше проживаю в Портленде, в шт. Орегона. Блаженные места, средняя полоса России, красота кроткая, благостная, уединённая. Много (напоследок) читаю. Жду Ваших писем и новых стихов. Ваш А. Межиров, 12.01.00 г.»

А я ему не ответил... После выхода «Опознавательных знаков» я, можно сказать, выдохся и почти год ничего не писал. Ни строчки! А ведь мэтру нужно было что-то послать, тем более что он ждал от меня чего-нибудь новенького. И переписка наша прервалась. Это теперь, когда у меня уже почти готов третий сборник новых стихов, я мог бы ответить ему. А тогда... Тем не менее я всегда помню то, что Александр Петрович открыл мне дорогу в большую жизнь, и в мыслях своих желаю ему, старому больному человеку, только добра и здоровья, здоровья и добра, ибо, несмотря на свою довольно-таки благополучно прожитую жизнь, Межиров останется в русской (именно – в русской) поэзии фигурой в каком-то плане трагичной. Ибо в стихах его благополучие отсутствует:

Одиночество гонит меня
От порога к порогу.
В яркий сумрак огня.
Есть товарищи у меня –
Слава Богу! –
Есть товарищи у меня!

Один из любимых философов Межирова, Григорий Сковорода, сказал: «Мир ловил меня, но не поймал». Александр Петрович, перефразируя Сковороду, написал:

Мир ловил меня, и долго-долго
Всё никак не мог поймать меня.
Но поймал – на том же чувстве долга
И любви к тебе, моя родня...

Что ж? Доживать свой век на земле с родными людьми, которых любишь и которыми любим, – не самая плохая участь для поэта. Пусть даже и в Америке...

* * *

...В 2002 году я «встретился» с моим бывшим метром под одной обложкой – в «Антологии авторской песни» под редакцией

столичного поэта Дмитрия Сухарева, куда были включены два моих стихотворения, положенные на музыку московским бардом Раисой Нурмухаметовой. И Дмитрий Антонович обратился ко мне с просьбой дать ему штатовский адрес Межирова, чтобы отправить ему авторский экземпляр «Антологии». Я дал оба, сомневаясь, что адреса остаются те же, но буквально недавно, 19-го сентября 2002 года получил от Дмитрия Сухарева электронное послание, в котором, в частности, сообщалось:

«.. Межирову я написал на портлендский адрес, который одновременно дали Вы и Тамара Жирмунская, живущая ныне в Мюнхене. Письмо через некоторое время вернулось с дурацким требованием доплатить полтора рубля, теперь опять идёт или уже дошло. Тем временем друзья, издавшие мой сборник в Израиле, послали книжку на тот же адрес, и на прошлой неделе я получил от Александра Петровича письмецо-отклик. Так что портлендский адрес работает...»

Вдохновлённый сухаревской запиской, я тоже собрался и написал мэтру. Точнее – пожелал ему доброго здоровья и послал подборку стихов вместе с посвящением:

...Четыре письма с другой стороны Земли
из неведомых мне Соединённых Штатов
через океан переплыли, приехали и пришли,
сохранив на конвертах марочные заплаты.
Их отправил в мой адрес старый больной поэт:
два из города Портленд, ещё два – из Нью-Йорка.
Он доживать уехал в Штаты остаток лет,
за что Станислав Куняев устроил поэту порку
в одном столичном журнале... Полноте, гордый Стас,
чья бы корова... Да. А вы уж лучше молчите,
Межиров в своё время много сделал для вас,
и вы его называли мудрым словом «учитель»,
так же, как Евтушенко... Вслед старику плевать
только за то, что в нём – капли еврейской крови...
В Портленде у него та же, что здесь, кровать,
то есть, постель больная и жалобы на здоровье.
Он в шинели солдатской прошёл через всю войну,
очень переживал, когда распалась держава,
которую защищал... И выбирать страну,
где в сыру землю лечь, имеет такое право.
Александр Петрович, крёстный родитель наш –
двенадцати человек – студентов Литинститута!
Маленьким знаком «плюс» в руке его карандаш
жизни перевернул всех двенадцати круто.
Кем теперь были б мы? – «Если бы да кабы...»
Разве, глядя на мир, можно не удивляться? –
межировской рукой водила рука судьбы,
когда он нас выбирал из тысячи – двенадцать.
Славное было время! Славный был семинар
лучший – из всех других на нашем весёлом курсе.
Как мы внимали мэтру (тоже ведь – Божий дар!),
так не внимали и семинаристы в бурсе.
Он с высоты войны, прожитых долгих лет
и написанных книг был с нами равным всё же,
и 66-й вильямовский сонет
в те ещё времена чтил всех других дороже.
Он – сибарит, игрок в карты и на сукне,
по которому шар катится в «Метрополе»,
ныне живёт в другой, чуждой ему стране.
Впрочем – уехал сам. Впрочем – по доброй воле.
Вот – четыре письма... Болен поэт и стар.
Что ему – той земли фетиши и красоты?
Снится ему Москва, снится Тверской бульвар,
снится война, бои, Синявинские болота...

Вообще-то мэтр должен был обидеться на меня за моё последнее молчание. Но я достал из почтового ящика короткое письмо, датированное 22.03.03 г.

«Здравствуйте, дорогой Александр!

Вы, как и прежде, добры ко мне. Дружеская доброта Ваша радует меня и ободряет. Спасибо за неё. Хотя едва ли заслуживаю.

А вот стихи, которые прислали... Звучат они всё значительней, возвышенней. Что-то в них новое, неожиданное для меня. Веет силой.

Спасибо Вам.

Подборку передал в журнал.

Крепко жму Вашу руку.

P. S. Мир, похоже, всё более сходит с ума...»

В последней строчке он, по всей видимости, имел в виду начавшуюся войну в Ираке.

А через четыре месяца я достал из почтового ящика письмо из Портленда и журнал «Слово-Word» №38–39, где моим стихам было отдано пять страниц. В кратеньком письме Александр Петрович начертал:

«Здравствуйте, дорогой Александр!

Сердечно поздравляю Вас с новыми стихами. Они так хороши, свободны, неподдельны! Здесь нет преувеличения.

Совсем не умею писать письма. Но чувствую, как дивно окреп Ваш стих. И радуюсь от души.

Ваш А. Межиров.

30.06.03.»

А в записке, вложенной в журнал, значилось следующее:

«Дорогой Александр!

Вслед за как обычно кратким письмом-запиской посылаю очередной номер журнала с Вашей явно сильной подборкой, открывающей стихотворный раздел.

Умел бы я писать письма – прислал бы вам нечто восторженное!
Ваш А. Межиров.
07.07.03 г.»

Двадцать шестого сентября этого же года Александру Петровичу исполнилось 80 лет (я послал ему телеграмму-поздравление). Накануне по «Культуре» прошёл получасовой фильм о нём: были там и старые кадры (молодой Межиров читал «Коммунисты, вперёд!»), и новые – американские. Мэтр очень сильно постарел, похудел, сгорбился... Он сидел на скамейке среди окружавших его цветов высотой в человеческий рост и читал стихотворение, присланное мне три года назад: «Не забывай меня, Москва моя...».

«ЧТО СУДЬБА НА ПРЯМУЮ ВЫВЕЛА ПО КРИВОЙ...»

...Довольные, что помирились, отважные, хмельные и не выпавшиеся, мы с Серёгой Донцовым выбрались на шоссе, ведущее из Химок неизвестно куда, но, тем не менее, – мимо «Олимпийца». Донцов канистру с пивом нёс так бережно, как будто в ней была взрывчатка – одно неловкое движение и мы взлетим на воздух вместе с посудиной.

Я сел на обочину шоссе, Серёга, надёжно зажав пиво между ног, начал отчаянно голосовать, жестикулируя руками и кивая головой, на которой моталась из стороны в сторону жёлтая донцовская чёлка.

Синий «жигуль» тормознул около него.

– Двух поэтов... – услышал я, – до «Олимпийца». Чем платить? Стихами заплатим, откуда у поэтов деньги?!

«Жигуль» покатил дальше. Серёга выматюгался ему вслед:

– И тебя, и маму твою, и всю родню до седьмого колена...

Я хохотал над ним, лёжа на обочине на своём дерматиновом пиджаке:

– Серый, у меня есть ещё червонец! Хрен с ним – жертвую! Проси, чтоб за червонец довели.

– Ни фуя! Побереги, пригодится ...

Водители ещё нескольких легковых машин отказались везти нас за такую смешную плату – за стихи! Но Серёга, помня наш триумф в пивнушке, стоял на своём. И наконец тормознул гружёный гравием «ЗИЛ»-130. Водитель распахнул дверцу:

– Двух поэтов! До «Олимпийца! За стихи!

– Чего-чего? – не понял его нацепивший на нос солнцезащитные очки шофёр.

Серёга объяснил.

– Ну за стихи так за стихи! Я стихи люблю! Высоцкого – особенно! А в канистре-то чего у вас булькает?

– Известное дело – пиво! – отозвался Донцов.

– Ну вот, а говоришь – за стихи! Банку нальёте? Со вчерашнего дня чердак трещит, – с этими словами водила вытянул откуда-то из-за спины пустую семьсотпятидесятиграммовую банку с красовавшейся на ней замызганной наклейкой «Балкан-конфитюр из айвы».

Серёга вопросительно посмотрел на меня.

– Хорошему человеку! – утвердительно тряхнул я головой и спросил шофёра:

– А ГАИ?

– Фу! с ним, с ГАИ, – ответил он. – Только бы с вами не остановили – вы-то уже хороши. А один я отверчусь...

Банку мы налили водителю около поворота в «Олимпиец». Вылезли из кабины, кое-как преодолели шлагбаум и попёрлись с канистрой в безалкогольную зону. Первый, кто встретил нас в холле спортивного комплекса, был Сашка Лужилов, узнавший сразу же свою канистру:

– Где вас носит, мудаки? – без предисловий приветствовал нас он. – Тут же выездное заседание правления Союза сегодня было! Сам Карпов приезжал (Владимир Карпов – прозаик, фронтовик, Герой Советского Союза, возглавлял в то время Правление СП СССР. –

А. Р.). Сорок восемь человек списком в Союз приняли! Кое-кому стипендии годовые дали!

Сашка посмотрел на меня интригуяюще:

– Кажется, ты тоже в списке, кого в Союз приняли. Точно, твоя фамилия там была. Поздравляю!

Мы с Серёгой ошалело переспросили:

– Да ну!?

– Вот вам и ну! Где гуляли-то?

– Пойдём, – дёрнул я за рукав Лужилова, отказываясь верить его сообщению, – обмоем это дело.

– Не, мужики, в завязке я. Вы идите, обмывайте. А я – пас. Канистру не забудьте в общагу вернуть!

Мы поднялись на наш этаж. А тут! – а тут вдруг столько моих знакомых в коридоре оказалось! Причём однокурсники – Наталья Ахпашева из Хакасии, Женька Носов – фантаст из Новосибирска, Леночка Ромашко – тоже сибирячка, Таня Жмайло – бард из Череповца.

– Александр! – подошла к нам Ахпашева. – Поздравляю и завидую! Тебя в Союз приняли!

– Честно? – переспросил я. – А вы-то откуда взялись, вас же не было в первые дни...

– Да вот опоздали, к шапочному разбору приехали, – отозвался Женька Носов.

– Пойдём тогда, – пнул я легонько по канистре, – обмоем мой приём в Союз, коли вы не шутите.

– Мы тут одного человека ждём, – отвергла моё предложение Наталья, – а ты заходи к нам вечером, – и назвала номер комнаты.

Донцов уже тянул меня за рукав: дескать, канистра одна, а их много. Чего, дескать, нам добренькими-то быть?

Пока я попадал ключом в замочную скважину нашего номера, откуда ни возьмись нарисовался Володька Хомяков, и не один, а под ручку с мужичком бесцветного вида и початой бутылкой водки в свободной руке.

– Привет, ребяташки! Поздравляю, Санька! Ты – член Союза! Тебе, Серёга, стипендию годовую Союз пожаловал! – затараторил Хомяк. – Жалко, что вас не было! Тут такие люди из Москвы приезжали! Уже обратно укатали!

Донцов презрительно посмотрел на него:

– Ты, фуфло! Ренегат херов! Иудушка Голавлёв! Ты на кого нас променял? Члена Союза, – он показал на меня, – и союзного стипендиата, – ткнул себя пальцем в грудь, – на какого-то Удальцова и какую-то Овечкину? Променял? Нету тебе нашего благословения!

– Да что вы, ребяташки, – заплясал вокруг нас Володька, – да что вы! Я ждал вас! Знал – вернётесь! Вот, даже «мировую» берегу, – махнул он бутылкой.

– Это не «мировая»! – грозно нахмурился Серёга. – Это твой должок нам. Кто наши «чирики» пропивал? Да ещё своих друзейков на наши «чирики» поил?!

Я распахнул дверь номера, мы вчетвером ввалились в него.

– Познакомьтесь, – восторженно представил нам Хомяков своего бесцветного спутника, – это Николай Дмитриев, известный

поэт!

Я тут же вспомнил, что не раз видал это лицо в «Литературке» и в других изданиях. Дмитриев, действительно, в ту пору широко печатался, имя его было известно в поэтических и читательских кругах. Это он написал о своей деревне:

Ты, будто «Слово о полку»,
В одном, бесценном экземпляре...

Донцов, несомненно, знал это имя и тем не менее заблажил на Володьку:

– Ты, Хомяк, из навоза да в говно... То у тебя Удальцов, то Дмитриев. Подумаешь – Дмитриев... Наливай! – и он придвинул к Володьке поднос с гостиничными стаканами.

Дмитриев еле стоял на ногах, но донцовский выпад принял как личное оскорбление:

– Ты кто такой? – открыл он дискуссию.

– Русский поэт Сергей Донцов, – бойко отрапортовал Серёга, разливая хомяковскую водку.

– А я – Николай Дмитриев! Ты слышал – Николай Дмитриев!

– Ну и что? – Серёга сунул ему в руку стакан с водкой. – Ну и что, что ты – Николай Дмитриев? Выпьем лучше вон за Александра Роскова – у него стихи не хуже твоих, даже лучше!

– Нет, – отозвался Николай, – вы все тут щенки. Передо мной – щенки! Я пью за себя, за Николая Дмитриева!

Серёга дал ему выпить и схватил за грудки:

– Кто – щенки? Повтори!

– Вы – щенки, – еле ворочая языком, отозвался известный поэт

Донцов отворил пинком незапертую на ключ дверь и, как щенка, выкинул Дмитриева в коридор. Вытер руки о штанины и прицыкнул на Хомякова, даже не пытавшегося протестовать:

– Хочешь – вслед за ним полетишь?

Я заслонил собой Володьку – мне стало почему-то жаль его. Мы хлобыстнули, ничем не закусив, по полстакану водяры. Закурили.

– А тебя чем наградили? – спросил я Хомякова.

– Я – как фанера над Парижем. Пролетел по всем статьям...

– Так тебе и надо, ренегат херов! – в Донцове всё ещё кипел разум возмущённый.

– Слушай, так точно, что ли, меня в Союз приняли? Как это было? – начал я пытаться Володьку.

– Да просто было. Приехали эти из Москвы, всех нас собрали в зале. Карпов зачитал список: сорок восемь участников по итогам совещания приняли в Союз. Да что сорок восемь – для Союза? Союза СССР? Одних нацменов – больше половины, человек тридцать из сорока восьми. А всю эту сумму по карте эсэсэсэровской раскинуть, так по одному человеку на три области не получится. Я вот не попал, этим себя и успокаиваю. А ты – счастливчик!

– Правильно, Хомячок, Росков – счастливчик! – подтвердил Донцов. – Предлагаю выпить за него не просто так, предлагаю «ерша» выпить. Это будет достойно члена Союза писателей!

Водки хватило на троих ещё по четверти стакана. Серёга дополнил стаканы пивом, получился «ёрш»:

– Ну, за тебя!

Через десять минут наши мозги поехали набекрень. Хомяков заходил руками по стенкам, пробуя найти дверь:

– Ребятишки, мне к себе надо. Помогите выйти отсюда, мне – к себе...

Мы с Серёгой помогли – вывели его в коридор и сдали с «рук на руки» мирно посапывающему на диванчике в холле Николаю Дмитриеву. Я ещё успел отметить своим мутнеющим сознанием, как идёт по коридору прозаик из Новосибирска Женька Носов с тяжёлой сумкой в руке, с торчащими из неё бутылочными горлышками, затем – провал, и мы уже сидим с Донцовым за столиком в моём номере, разливаем по стаканам пиво и изнутри нас распирают неведомо какие силы и чувства. Распирают и просятся наружу...

– Серёга, давай, споём!

– Давай, – мотнул жёлтой чёлкой мой приятель.

– Ты знаешь песню, которую Куравлёв пел в «Иване Васильевиче», меняющем профессию?

– Знаю!

– И я – знаю! Споём?

– Споём!

Мы выпили пива и запели:

Счастье вдруг в тишине
Постучалось в двери.
Неужели ко мне? –
Верю и не верю.
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила.
Столько зим, столько лет
Где тебя носило?...

«Сбылись мечты идиота!» – воскликнули однажды Ильф и Петров устами Остапа Бендера. Я же и мечтать не мог, что вступлю в Союз писателей, вступлю так легко и скоро, совершенно неожиданно для себя, что тридцать стихотворений под рубрикой «Книга в альманахе» в «Истоках», №18, вышедших в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году, станут пропуском в ту организацию, где состоят такие знаменитые люди, как Виктор Астафьев, Александр Межиров, Евгений Евтушенко и многие, многие другие известные поэты и прозаики. «Неужели и я удостоился такой чести? – билось в затуманенном мозгу, – но за что?..».

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой.
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю – это было не зря,
Всё на свете было не зря,
Не напрасно было!..

Да, я переступил черту, за которой останется та, другая моя жизнь, ДРУГАЯ, приведшая к этой самой черте...

Вот я – пятиклассник, маленький человечек, стою в магазине «Рассвет» в уездном городе Каргополе около витрины со сладостями и с восхищением смотрю на плитку шоколада «Золотой якорь». Плитка большая, в белой обёртке с изображением золотого якоря с золотыми цепями. Стоит она один рубль пятьдесят копеек, а мне мама даёт на неделю жизни в общежитии (домой, в деревню, нас возили только на воскресенье) три рубля, и шоколад этот – предел моей несбыточной мечты. Вот сейчас я вдоволь насмотрюсь на него, поглотаю слюнки и побреду по обледелым тротуарам в школьную общагу, занимающую первый этаж вросшего в землю двухэтажного деревянного здания на углу улиц Ленина и

Ленинградской; настолько вросшего, что окна первого этажа только наполовину торчат на поверхности, и изнутри видно из них только двигающиеся ноги прохожих, одетые в валенки или в зимние ботинки.

Жизнь в общежитии – не сахар, сюда приходят «вышибать» из нас деньги городские взрослые парни, приходят целыми компаниями, и – попробуй! – не дай им требуемые двадцать копеек. Да и старшеклассники, живущие в общежитии, доброжелательностью не блещут, чуть что – пинок или подзатыльник ждёт любого пятиклашки: видимо, в крови у нашей нации обижать того, кто младше и беспомощнее.

Особенно страшен зимой общежитовский туалет «свободного падения» – тёмное помещение с единственной лампочкой на потолке, с рундуком, покрытым толстым слоем жёлтого, на девяносто процентов состоящего из мочи, льда, с тремя обледеневшими по краям «очками». Пол туалета также залит задеденевшей мочой, в которой тускло отражается тусклая лампочка, с потолка свисают длинные нити инея, и сам потолок покрыт инеем сплошь, даже досок из-под него не видно. В сорокаградусный мороз в туалете тоже – минус сорок градусов по Цельсию.

Однажды, мучаясь животом, я просидел на морозе на «очке» в общей сложности полчаса, после чего заболел коклюшем и попал с ним в районную больницу. Там лечили меня таблетками и прогреванием: родная тётка моей будущей жены накладывала мне на грудь и на спину круглые чёрные тарелочки с прикреплёнными к ним электрическими проводами и включала ток. Несколько раз приходила ко мне наша воспитательница Глафира Дмитриевна Кирюшкина, приносила по несколько конфет и по большому зелёному яблоку.

В больнице меня почему-то отметила красивая молодая медсестра с кудрявыми тёмными волосами, хотя в детском отделении было много других ребят, в том числе и старше меня. Когда у неё было ночное дежурство, она приходила ко мне в палату, садилась на стул около кровати или прямо на кровать и читала мне детские книжки. Помню красивое лицо и глаза медсестры, особый запах молодого полураскрытого тела: в палате стояла жара и под полурасстёгнутым её халатом не было даже бюстгалтера, помню неясные, волнующие меня чувства, разбуженные этим запахом и видом полных, тугих грудей, обнажённых чуть ли не до самых сосков. Сестра часто отрывала голову от книжки, протягивала руку, гладила меня по волосам, и глаза её выражали что-то загадочное и непонятное мне...

Но были в общежитии и праздники. Вот мы с Серёгой Солодягиным, по прозвищу Пушкин (его прозвали так за кудрявые волосы), остаёмся на воскресенье в городе: моя мама уехала в гости в Саратов, у Серёги дома какие-то проблемы – в деревне нам делать нечего. Кроме нас, в общежитии никого нет! В субботу вечером мы идём в деревянный кинотеатр «Родина» на детский фильм (билет стоит пять копеек) «История золотой туфельки», после кино покупаем батон, двести граммов сахарного песка и устраиваем пир: пьём сладкий кипяток из титана (частенько приходилось пить и несладкий) и заедаем его мягким батончиком. Потом прыгаем с кровати на кровать – никто нас не видит и не слышит, дверь заперта на крепкий крючок – и нам хорошо и весело. Попрыгав по кроватям, мы берём по книжке (не по учебнику!) и углубляемся в чтение, сидя у наполовину вросшего в землю окна...

* * *

Вот я учащийся СПТУ №1 того же города Каргополя, будущий каменщик-печник. Мы втроём: я, Серёга Выколзов и Колька Богданов – живём на квартире у бабы Шуры, то есть не на квартире, а в частном доме, платя ей за жильё по десять рублей в месяц. Вместе с бабой Шурой проживает её зять (дочь давно умерла) больной туберкулёзом пенсионер Костя-татарин, бывший во время войны снайпером. Костя – жестящик, у него на заднем дворе дома – мастерская, где он гнёт из листового железа «заказы» – разного рода патрубки, противни, каркасы к печным трубам. Костя-татарин по-русски говорит с акцентом, мягкие согласные он вообще не выговаривает. Костя любит выпить и учит этому нас.

Вот он сидит пьяненький на кровати и шепчет нам:

– Я – снайпир, я – жулик, я – вор. Я – мастер! Я знаю, ребята, где можно взять жилизо. Взял и пропит!

Вот мы одеваемся среди ночи и шагаем по ночному городу за Костей-татарином. Он ведёт нас на окраину Каргополя, к каким-то складским постройкам и легко открывает замок одной из них. Костя-татарин два раза сидел в тюрьме за воровство. Вот мы, взяв за загнутые углы, волокём за собой по снегу листы железа, штуки по четыре, размером каждый два метра на полтора. Листы издают даже при прикосновении с малым бугорком такой звон и громыханье, что хоть уши зажимай. Мы тащим железо и воровато оглядываемся по сторонам, опасаясь, что сейчас нас, как миленьких, возьмут с этим «жилизмом» и доставят куда надо.

Но всё проходит благополучно, на следующий день Костя-татарин «толкнёт» железо нужному человеку и к нашему приходу из «сэпы» – СПТУ – затарится «Солнцедаром» – красным противным вином. Вечером мы будем пить «Солнцедар», потом меня будет тошнить. А Колька Богданов будет в очередной раз делать Костю-татаринову «велосипед»: вставит ему, спящему пьяным сном на кровати, листок бумаги между двух пальцев босой ноги и подожжёт. Татарин в очередной раз, когда огонь лизнёт пальцы, задёргает ногой подобно велосипедисту, крутящему педаль, и закричит спросонья:

– Тётя Шура! Александра Тимофеевна! Поджигают!

Баба Шура давно не считала Костю-татаринова за родственника, просто держала как квартиранта, потому и звал он её «тётей Шурой». Она была настолько жадна, что даже использованную чайную заварку сушила на печке и заваривала снова. Около её дома росла садовая малина, несколько трёхлитровых банок с малиновым вареньем стояли в кладовке. Колька Богданов, научившийся у Кости-татаринова открывать замки с помощью гвоздя, частенько, когда баба Шура спала, наведывался в кладовку с большой эмалированной кружкой, наполнял её вареньем и угощал крадёной сладостью нас с Серёгой. Хозяйка берегла варенье для сына, который должен был летом приехать к ней в гости аж из-за Урала. Но в мае, проучившись в «сэпе» три четверти года, мы съехали с «квартиры», и если из четырёх банок варенья баба Шура обнаружила хоть одну целую, она должна была благодарить Кольку Богданова за то, что он всё-таки не оставил её сына без материнского гостинца...

* * *

Вот – армия, 76-й военно-строительный отряд, расквартированный в Питере, у самого Богословского кладбища. Издалека может показаться, что это не кладбище, а парк: над могилами поднимаются высокие деревья, и сюда приходят гулять созревшие городские девицы, влекомые половым чувством. Нет, это не путаны, про таких мы тогда и не слыхивали – девицы эти ищут острых ощущений, зная, что солдатики, пусть они и стройбатовцы, ничем не могут их заразить, так как находятся под неусыпным надзором военных медиков. А вот наоборот... Ещё в карантине очкастый лейтенант читал нам лекцию о заболеваниях, передающихся половым путём и предупреждал, чтобы мы ни в коем случае не спаривались с девицами на могилах Богословского кладбища, ибо те могут наградить солдата не только гонореей, но и сифилисом. Тем не менее самые отчаянные из нас, в основном парни, призванные из больших городов, нарушали этот запрет. Сашка Костин, призванный из Выборга, после очередного похода на кладбище хвастал своими подвигами:

– Стоит она такая, недотрогу из себя корчит. Я с ней тары-бары-растабары, к могилке её подвожу, хэбэшку свою скидываю, расстилаю на холмике, показываю: ложись, дескать. А она ломается: нет, нет и нет. А самой вижу – хочется, иначе чего ж она сюда припёрлась? Я давай у неё кофту расстёгивать. Она одной рукой меня отталкивает, а другой пуговичку помогает из

петельки высвободить, петелька-то тугая... Такие вот они все, если она «нет» говорит, это надо как «да» понимать. Ну, завалил я её...

Мы, деревенские ребята, в основном ещё не познавшие женщины (времена-то были целомудренные!), слушали, потя и краснея, подробности Сашкиного общения с неизвестной девицей.

А однажды кавказцы (выходцев из южных республик было в нашем отряде больше половины) перестарались – вдесятером использовали на могилке одну такую девицу. Но та оказалась не из простых: пришла в штаб, бросила на стол командиру отряда разорванные трусы и бюстгальтер и потребовала компенсации за удовольствие, доставленное ею его подчинённым. Командир дал приказ, весь наш отряд построили на плацу, и девица эта, ничуть не стесняясь, начала обходить строй, внимательно вглядываясь в наши лица. По такой стойке «смирно» мы не стояли даже во время строевых занятий: все вытянулись по струнке и взяли равнение на обходящую ровные шеренги представительницу прекрасного пола. Каждый боялся: вот сейчас ткнёт в меня пальцем и – попробуй докажи, что ты не был на кладбище, вместо дембеля загремишь в места не столь отдалённые.

Но девица ни на кого не показала, как выяснилось впоследствии, штаб специально устроил этот спектакль – для устрашения советских воинов, чтоб те не шлялись по кладбищу и не искали приключений на свою задницу. Девице заранее была обещана в штабе круглая денежная сумма (отряд наш хорошие деньги зарабатывал) – какая охота была нашим отцам-командирам иметь позорное пятно на вверенном им отряде? Обойдя строй, она получила денежки, сунула в сумочку порванные предметы интимного туалета и была такова.

Случай этот надолго отбил охоту у того же Сашки Костина шастать через забор на городской погост. Но он всё-таки избежал счастливого дембеля: за полгода до такового вместе с землячком-выборжцем Пашкой Кривцовым дезертировал из части, но подались они не в родной Выборг, а поселились в какой-то лесной избушке в Выборгском районе, где их через три недели и взяли, как говорится, тёпленькими. В гарнизонном клубе устроили образцово-показательный суд, и Сашка с Пашкой загремели на два года в дисциплинарный батальон.

Землячки эти были ребятами отчаянными. В первые полгода службы наш взвод занимался тем, что штукатурил мраморной крошкой двенадцатизатяжную шахту лифта на тыльной стороне нового корпуса Высшей военно-медицинской академии имени Кирова близ Финляндского вокзала. Мы сами ставили металлические конструкции лесов и потом ползали по ним, что твои белки. Сашке Костину ничего не стоило на деревянном щите верхней площадки (уровень двенадцатого этажа), где не было никаких ограждений, сбавать чечётку.

На дворе стояло лето, мы работали чуть ли не до захода солнца (командование требовало план!) и частенько оставались ночевать в вагончиках около нового корпуса академии. Кривцов с Костиным в одну из таких белых ночей, шастая по привокзальным окрестностям, обнаружили металлическую дверь, ведущую в подвал многоэтажного дома. Не знаю, как уж они ухитрились вскрыть эту дверь, но за ней оказался просторный холодильник, заставленный ящиками с мороженым. Два таких ящика Сашка с Пашкой приволокли в вагончик. Малую часть мороженого мы с ребятами уничтожили, а львиную растолкали по шкафчикам. Прапорщик Высоцкий (двумя взводами нашей роты командовали два прапорщика Высоцких!), открыв утром дверь вагончика, обнаружил такую картину: воины спят на своих шконках, по полу вагончика широкой рекой течёт растаявшее (июль за окном!) мороженое, а у окна сидит воин-грузин по фамилии Ликликадзе, дрожит мелкой дрожью и выковыривает столовой ложкой содержимое из тех стаканчиков, которые не успели растаять до конца...

Тем, кто имеет смутное представление о стройбате (он же – королевские войска, он же – морская конница, он же – подземная авиация), поясню: только в этот род войск брали служить ребят, судимых по молодости за «хулиганку», имевших ранее условные срока или отсидевших год-два в зонах. Ну и, естественно, парней, получивших на гражданке строительные специальности, к коим относился я. В нашем отряде служили воины, коих призвали в армию и в восемнадцать лет, и в двадцать пять (призывной ценз срочной службы в армию – 27 лет). В бане воины разденутся – каких только татуировок и нет на их телах, особенно у тех, кто прошёл зону. Так что можно себе представить всю прелесть такой службы, заключавшуюся, в основном, в тяжёлой работе. Недаром кто-то из моих предшественников сочинил надгробный мадригал нашему брату:

Остановитесь! Здесь лежит
Солдат советского стройбата.
Нет, не в бою он был убит,
А зае-ла его лопата...

А, как говаривал мой покойный дядя Александр Иванович Воронин: раз попал в собачью свадьбу, то не сношайся, а бегай... На втором году службы отправили наш взвод в командировку, под город Зеленогорск, на берег Финского залива. Прикомандировали нас, то есть поселили на лесной ракетной точке, в казарме ракетчиков. Название точки такое сказочное: почтовое отделение Красавица. И действительно, места кругом – дух захватывает. Наш взвод должен был довести до ума, то есть подготовить к сдаче профилакторий для военных лётчиков, построенный на берегу залива: кое-что подштукатурить, подкрасить, положить перегородки из стеклянных блоков. У нас это называлось – «бросить на недоделки».

Командир нашего взвода прапорщик Высоцкий привёз нам из Питера получку – по 4 рубля 50 копеек на брата, по тем временам – большие деньги. Привёз, выдал и укатил обратно в Питер, поручив своему заместителю, младшему сержанту Шуману, блюсти среди нас трудовую и воинскую дисциплину. Весь наш взвод – одного призыва, в том числе и младший сержант Шуман – обрусевший немец. Ни «молодых», ни «стариков» в нашем взводе не было, всю службу мы прошли плечо к плечу: одновременно призвались и вместе ушли на ДМБ, то есть на дембель.

А как раз день получки счастливо совпал с банным днём. Младший сержант Шуман, сразу же по отъезду прапорщика, откомандировал троих наших ребят в магазин с поручением купить красного вина по рубль двадцать копеек бутылку – по два «пузыря» на брата. По одному «пузырю» мы уговорили, не сходя с рабочего места. Вскоре подкатил военный «МАЗ» – ракетчики удружили, мы погрузились в кузов, засунули под скамейку большой брезентовый рюкзак, затаренный под завязку бутылками с вином, и нас повезли в Зеленогорск – в баню.

В бане кроме нас мылась рота краснопогонников – солдат внутренних войск. Сопровождающий их офицер сразу определил, что мы, стройбатовцы, – под «мухой». И не только определил, но и «вычислил» наш рюкзак с вином. Он подозвал двоих своих солдатиков, те под его чутким руководством подняли рюкзак, вынесли на улицу и там, раскачав, шмякнули его об асфальт с такой силой, что, казалось, оконная рама вылетела с девятого этажа и с грохотом разбилась о землю. Сделав своё дело, краснопогонники ушли в баню, наши же ребята подхватили рюкзак, потащили его в разбитый тут же, около бани, парк и там повесили за обе ляжки на сук взрослой берёзы. Рюкзак брезентовый, завязан плотно, хоть и разбились в нём бутылки, но вино не вылилось. Кто-то достал из кармана гвоздь, проковырял в дне рюкзака дырку, и вино тонкой струйкой полилось на землю. Мы, соблюдая очередь, начали подставлять рты под эту струю и выпили весь рюкзак до капельки.

На Красавицу наш взвод прибыл вдребезги пьяный. Ракетчики прямо дара речи лишись от такого явления «королевских войск» народу. Шутки шутить с нами никто не собирался: нас кое-как построили и всем кагалом, под дулами автоматов, повели на «губу» – местную гауптвахту, занимающую маленькое, четыре на четыре метра помещение без окон. Ракетчики здесь по одному, два человека наказание отбывали, а нас целым взводом засунули – ни сесть, ни лечь. Но, как гласит народная мудрость – пьяным море по колено, а не то, что «губа».

Утром нас на работу в профилакторий не пустили, а посадили под охраной в один конец казармы и позвонили нашему начальству в Питер. Начальство ответило, что разбираться приедет завтра, а пока трёх воинов из нашего взвода срочно нужно отправить в Сертолово-2, там через месяц (а через месяц наступал Новый год) нужно сдавать жилой девятиэтажный дом для офицеров и их семей, а недоделок – хоть «жопой ешь», как выражался наш прапорщик Высоцкий. Счастливчиками (избежать разборки со стороны начальства – разве это не счастье?!) оказались: я, мой земляк-каргопол Сашка Шевелёв и грузин, отпрыск старинного княжеского рода Володька Джакели.

И вот мы лежим на матрацах в кузове армейского грузовика (матрацы возили с собой) и радуемся: так легко ушли от

наказания!

В Сертолово-2 мы живём целый месяц в вагончике, отапливаемом небольшим котлом, стоящим в коридоре. Котёл топится углём, мы сами его кочегарим, не знаем никаких подъёмов-отбоев, спим, сколько хотим, столуемся в Сертолово-1 – у танкистов.

Я нашёл в вагончике орденскую колодку, нацепил её на свой х/б, мы раздобылись гражданскими свитерами, носим их под «хэбэшками», мы «кадрим» работающих с нами на недоделках молоденьких женщин-малярш, состоящих на службе в Советской Армии.

Им категорически запрещено флиртовать с солдатиками, но мы не огорчаемся, у нас и так не жизнь, а разлюли-малина.

Однажды вечером мы отправляемся в соседний посёлок – Осиновую Рощу, где размещался гарнизон автомобильного батальона – в клуб к ним, в кино. В гарнизон проходим через КПП, смотрим фильм, а обратно, чтоб не делать крюк на КПП, перепрыгиваем через забор – прямо в руки проходящего мимо патруля. Патруль снимает с нас ремни и ведёт в комендатуру. Там сердитый капитан-краснопогонник приказывает нам снять шинели, видит свитера под нашими х/б, орденскую колодку у меня на груди и давится от смеха:

– Откуда вы, служивые?! А ну-ка, предъявите военные билеты и маршрутные листы!

Ни того и другого у нас нет – документы остались у похмельного младшего сержанта Шумана, в спешке мы забыли их захватить. Капитан обыскивает нас и вытаскивает из моего кармана несколько исписанных мной тетрадных листков – я переписывал от нечего делать в вагончике на память песни Высоцкого – не нашего командира взвода, а известного барда. Капитан вчитывается в них, сидя за столом, и поднимает голову:

– Это – Высоцкий?

Я утвердительно киваю – в 1974 году песни эти были так популярны – словами не выскажешь. Правда, тексты их нигде не печатались.

Мы называем по просьбе капитана номер нашей части, он звонит в Питер, в штаб 76-го военно-строительного отряда:

– Это ваши вояки тут бродают? – называет он в телефонную трубку фамилии всех троих.

После пятиминутного молчания оттуда отвечают положительно – наши!

– Так какого же вы х... отпускаете своих раздолбаев без документов? – орёт в трубку капитан. И после ещё некоторых крепких фраз поворачивается к нам:

– Считайте, служивые, что повезло вам – Высоцкого я люблю. И листки эти оставляю у себя. Кабы не они – по десять суток «губы» каждому было бы обеспечено, будьте уверены! Забирайте свою амуницию, и чтобы через минуту духу вашего здесь не было!

Не для кого не секрет, что в Российской армии сейчас – полный бардак. Не могу сказать про другие рода войск, но в стройбате и во времена СССР бардака было не меньше. Уж чего-чего – простого чёрного хлеба нам, бедным солдатам, не хватало. Приходилось всякими путями пропитание себе добывать. Когда близ Финляндского вокзала работали – пустыми бутылками пробавлялись. Электричек от вокзала отходило в достатке, мужская часть пассажиров этих электричек успевала распить до отправления поезда в кустах близ железнодорожных путей пару «пузырей» красного вина на троих, а то и бутылку беленькой. Наши пацаны два раза в день пройдут по этим кустам с мешком, глядь – он полон пустой посуды, которую можно было запросто сдать в ближайшем приёмном пункте. И все полгода, пока мы отделявали шахту лифта нового корпуса военной академии, в наших карманах не переводились сигареты, а лучшим лакомством были пакет молока (молоко тогда продавалось в треугольных пакетах) и булочка за семь копеек.

А ещё тогда забавный случай произошёл. Не помню, какой точно это был месяц лета 1974 года, но аккурат в то самое время, когда мы пустыми бутылками себя поддерживали, с Финляндского вокзала в Финляндию же ехал со своей свитой Леонид Ильич Брежнев – подписывать Хельсинские соглашения насчёт прав человека. Наш солдатик по фамилии Наумов решил скататься в самоволку домой в город Выборг (в нашем взводе три человека из Выборга служили, кроме Наумова – уже упомянутые мною Кривцов и Костин). Но перед этим выпил красного вина и перепутал электричку с диппоездом. Так потом мы и не смогли от него добиться, каким образом проник он в брежневский состав и где прятался там до самой финской границы. Только вот на границе-то его и сняли и под конвоем направили обратно в Питер, а там прямым ходом – на десять суток на Садовую, 3 – гарнизонную гауптвахту.

Потом в казарме вывесили стенгазету, где рядовой Наумов из окна дипломатического поезда махал нам рукой и кричал: «Прощай, Россия!» Спустя год после неудачной самоволки этот самый Наумов ещё раз потешил наш взвод. То ли родители прислали ему денег, то ли другим путём он вина раздобыл, только надрался солдатик до выпученных глаз. Надрался и, не дойдя трёх шагов до КПП, упал в густые заросли крапивы. Был летний воскресный день, мы после обеда валялись на травке около казармы, старшина нашей роты молдаванин прапорщик Дорош поливал из шланга клумбы на казарменном дворе. И вот два солдатика волокут из-за угла пьяного Наумова, он еле-еле ноги переставляет. Дорош увидел – шланг из рук выронил. Но сразу собрался, приказал этим солдатам прислонить Наумова к кирпичной стене казармы, поднял шланг и... Холоднющая вода из шланга с диким напором ударила в лицо Наумова и сбила его с ног. Минут пять поливал Дорош своего подчинённого, вымочил его с ног до головы, аж из сапог у того вода побежала и захлёбываться бедный Наумов стал. И тут же опять его, мокрого, на десять суток на Садовую, три...

Но Дорош умел ещё и не такие штуки выкидывать. Я уже сказал, что элементарного чёрного хлеба нам не хватало. А неподалёку от нашего гарнизона находился хлебозавод. Солдатики по ночам и наладились бегать на него. Бегали обычно вдвоём: снимали с двух подушек наволочки, перемахивали через забор, бежали километра полтора по пустырю и по железнодорожным путям, потом ещё один забор перелезали – заводской, там находили знакомый по описаниям лаз в стене, ныряли в него и выныривали прямо в цехе, где по конвейеру шли круглые, горячие – только что из печи – ковриги чёрного и серого хлеба. Один солдатик стоял на шухере, смотрел, чтобы кто из заводской охраны рядом не появился, а второй набивал поочерёдно обе наволочки сладко пахнущим хлебом. Потом таким же путём бежали солдаты обратно, и в казарме раздавался радостный клич: «Кто хлеба хочет?!» Тут и крепко спящие просыпались и тянули руки со своих шконок за еще тёплым куском. «Гонцы», чувствуя себя героями, щедро ломали ковриги и раздавали куски направо и налево.

Один раз прапорщик Дорош поймал двоих гонцов, отобрал у них хлеб, а утром перед строем устроил (прошу прощения за тавтологию) экзекуцию: вывел этих двоих на середину казармы, дал каждому в руки по ковриге и приказал есть. «Пока не съедите, – прогремел, – рота будет стоять по стойке "смирно"». А ковриги большие, каждая килограмма по полтора. Так мы и стояли, пока бедные «гонцы» справлялись с ними...

Дороша боялись даже старики. Он был крупный, высокого роста, немногословный, на груди его и в будни и в праздники красовалась медаль «За восстановление Ташкента».

Если кто из наших совершал какой-либо проступок, Дорош не жаловался командиру роты капитану Воскресенскому, он просто говорил солдатику: «Зайди ко мне в каптёрку». И в каптёрке пару раз прикладывался своим пудовым кулаком к разным частям тела провинившегося, после чего тому долго не хотелось нарушать дисциплину.

Все два года мы мечтали о дембеле, видели его во сне, пели песни подобные той, что я здесь привожу, на мотив «Если друг оказался вдруг...» В. Высоцкого:

Если ты головой поник,
Я скажу: «Не грусти, «старик».
Если снова в наряд идёшь,
Тихо скажешь: «Ну что ж! –
Всё равно в ноябре – домой»,
Будет кто-то шагать другой,

Слушать ротного на плацу
«Старику» не к лицу.

Вот сентябрь и октябрь прошёл.
Сапоги ты себе нашёл.
С «молодого» ремень содрал –
Он стонал, но отдал.
Ты червонцы себе копил,
Самогонку в казарме пил,
Ты два года приказа ждал –
Наконец он настал!

Не грустите, друзья, о нас –
День такой в жизни только раз.
Побегут поезда на восток –
Отслужили мы срок!
Поезд мчится сквозь ночь и лес,
И на службе мы ставим крест.
Хорошо бы уже никогда
Не вернуться сюда...

Но прежде, чем идти на дембель, каждый взвод или отделение должны были выполнить дембельский аккорд – какую-нибудь сложную работу, и не маленькую, а занимающую три-четыре месяца. Командование говорило: «Сделаете аккорд – поедете домой сразу же, а там уж дело ваше, к первому ноября (с первого ноября начинались увольнения в запас. – **А. Р.**) вы его выполните или к концу декабря...»

Мы такой аккорд делали в городе Пушкине – штукатурили мраморной крошкой фасад пятиэтажного здания будущего ракетного училища. Стояла дождливая осень, мы сами ставили леса, устанавливали на улице прожектора для освещения стен, чтобы в тёмное время суток тоже работать. И работали – лазали по лесам под холодным ветром и дождём днём и вечером – при свете прожекторов, перепачканные раствором и облепленные мраморной крошкой.

В Пушкине, как и везде в те времена под Питером, – сплошь и рядом военные городки были понатыканы. Двоих наших загребли в комендатуру, когда они среди ночи вышли из казармы (мы опять были прикомандированы к ракетчикам – их же училище штукатурили), и отправили на стройку – шланги выколачивать. Вечером в шлангах, по которым подавался раствор на леса, создалась пробка из известкового раствора. А тут нас всех в казарму увезли – на ужин, после которого никого уже за пределы городка не выпустили – разве поймёт ракетчик стройбатовца? А если из шлангов пробку не выбить, за ночь раствор в них схватится – ничем его потом не возьмёшь. Тогда – прощай, шланги! Наши пошли их спасать и оказались в комендатуре.

Офицер-ракетчик, отвечающий за нас, прикомандированных, выручивший наших из комендатуры, отчитывал их перед строем:

– Ишь, нашлись деятели – шланги среди ночи выколачивать! Я вам повыколачиваю!

Да, разве поймёт ракетчик стройбатовца...

Как бы то ни было, а дембельский аккорд, несмотря на неблагоприятные погодные условия и рогатки, чинимые ракетным начальством, мы выполнили в срок – к 1-му ноября. За три месяца, проведённые в Пушкине, я видел только стены ракетного училища, мраморную крошку и казарму. А ведь здесь великий поэт учился в лицее, ходил по этим улицам...

Демобилизовали наш взвод сразу после Октябрьских праздников. А до этого мы неделю на Ленинградской овощной базе апельсины, доставленные из Марокко, перебирали. Хорошие – в один ящик, с гнильцой – в другой. Те, что с гнильцой, нам разрешалось есть. Подумаешь, с одного бока кожура у апельсина потемнела и мягкой стала, внутри-то плод – хороший. Наелись мы этих апельсинов под конец службы на два года вперёд.

А сразу после Октябрьских расчёт в бухгалтерии получили (всё-таки два года нас не убивать учили, а строить, и кое-что было сделано нашими руками в Ленинграде и его окрестностях) – мне 400 рублей причиталось, какие никакие, а деньги: за сто рублей тогда костюм приличный можно было справить. Прапорщик Высоцкий проводил нас до Московского вокзала, бросили мы ему по червонцу на «лапу» – каждый, и всё – служба кончилась...

* * *

А вот я на гражданке. Год 1976... Грандиозное событие: в городе Днепродзержинске установили памятник-бюст Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. При жизни! А мне, за отсутствием в нашей деревне профессионального завклуба, председателем сельского Совета доверено – по совместительству – вечерами (днём я работаю печником) открывать и закрывать дверь деревенского «очага культуры» и выдавать книжки местным грамотеям. За это я получаю 30 рублей в месяц, в моём ведении – бильярд, телевизор, проигрыватель и грудa грампластинок (под них в клубе проходят танцы), а также портреты государственных деятелей на стене – Л.И. Брежнева и А.Л. Косыгина, занимавшего в те годы пост Председателя Совета министров СССР.

И вот, будучи слегка в подпитии, услышав новость об открытии бюста Генсеку, я снял со стены его портрет размером полметра на метр, аккуратно вынул из рамы стекло, засунул стекло за книжный шкаф, раму сломал о колено, портрет же, запечатлённый на толстой глянцевой бумаге, разорвал, сунул в печку и поджжёт. Туда же отправил и обломки рамы. Не знаю, что бы было, узнай о моём антигосударственном поступке высшее начальство – председатель сельсовета и иже с ним. Наверняка мне бы не поздоровилось, если не сказать больше.

Не могу объяснить – почему, но к правящей в стране партии я рано стал относиться негативно. Может быть, оппозиционность любому строю свойственна молодежи, но, скорее всего, она, эта оппозиционность, родилась во мне после того, как я, будучи ещё учеником седьмого класса, прочёл «Тихий Дон» Шолохова. Книга перевернула во мне все существующие до этого представления о Советской власти. Узнав из «Тихого Дона», каким образом она устанавливалась, я кое-что стал понимать. Мне до слёз было жалко Григория Мелехова, других казаков, воевавших против Красной Армии. А вот к Мишке Кошевому жалости во мне не было...

Пионерский галстук я носил, и в комсомол в восьмом классе вынужден был вступить – чисто из жалости к своей классной руководительнице Валентине Егоровне Власовой (Царство ей Небесное!), ибо она очень упрашивала меня сделать это, чтобы не подводить её и наш класс. Но при первой же возможности я вычеркнул себя из рядов ленинского комсомола: по увольнению из рядов Советской Армии нам выдали на руки комсомольские билеты и учётные карточки – для постановки на учёт по месту жительства.

Я порвал то и другое и выбросил из окна вагона «дембельского» поезда. По прибытию домой пришлось соврать, что комсомольские документы остались в армии. Райком ВЛКСМ делал запрос в штаб 76-го ВСО, там, по всей видимости, ответили, что и билет и карточка были мной получены. И районные комсомольские руководители внесли мою фамилию в «чёрные» списки, что и сыграло свою отрицательную роль при вызове меня в 1980 году на областное совещание молодых литераторов, проводящимся под лозунгом «Тебе, партия, тебе, комсомол!»

А история с брежневским портретом сошла мне с рук: передавая ключи от «очага культуры» новому штатному его руководителю, я не упомянул про портрет, а он, точнее – она, молодая девушка по имени Люба, не спросила. Председатель

же сельсовета при данном акте передачи не присутствовал. Местные жители, приходившие в клуб в кино, на концерты и другие мероприятия, как-то не замечали пропажи изображения Генсека. Так и висел несколько лет на стене один Косыгин, пока и тот не ушёл по болезни со своего поста.

* * *

Зима... С печными работами – глухо. Мы с другим моим подсобником Васькой Макаровым заняты тем, что разгружаем лесовозы на пилораме. Лесовозы приходят прямо с делянок, гружённые до самого верха круглыми сосновыми и еловыми брёвнами. Некоторые брёвна столь здоровые – двумя руками в комле не обхватить.

Разгрузка тяжёлых машин требует умения, чуть зазевался – можно запросто оказаться задавленным кругляками. Лесовоз подходит к эстакаде (эстакада – два длинных бревна, закреплённых на стойках параллельно на расстоянии пяти-шести метров друг от друга в полуметре от земли) и встаёт так, чтобы кругляк, когда покатится вниз, попал тем и другим концом на эстакадные поперечины. Под «брюхом» лесовозного прицепа, с одной его стороны, есть два замка, которые нужно открыть нам с Васькой, открыть одновременно, чтобы стойки лесовоза разом упали и брёвна дружно покатались вниз, на эстакаду. Если один из нас поторопится или запоздает, лес покатится с пятиметровой высоты не двумя, а одним концом, нагромоздится друг на друга как попало, и потом замучаешься растаскивать и раскатывать его по эстакаде заточенными на концах железными крючьями,

Нам необходимо подлезть под «брюхо» лесовоза, открыть замки и вовремя отскочить, чтобы не быть зацепленными покотившимися сверху брёвнами.

Васька командует:

– Р-раз, два... Открываем!

Я дёргаю ручку замка и бросаюсь в сторону. Зачастую мы работаем не в унисон, брёвна встают на земле дыбом, некоторые катятся мимо эстакадных поперечин – выкорчёвывай их потом из снега и закатывай на эстакаду по лежакам.

Даже когда лес с машины катится гладко – половина его всё равно остаётся наверху, и тут также нужно работать крючьями – стаскивать кругляк вниз. К концу рабочего дня от меня и от моего напарника, несмотря на мороз, пар идёт, как из водогрейных котлов. Ночью спишь как убитый, утром суставы и жилы сладко ноют, а в голове мысль: «Только бы сегодня прошло всё гладко...», в смысле – под бревно не угодить. Но – Бог милостив...

* * *

А вот я возвращаюсь из Архангельска в Каргополь. Лето 1982 года. Авантюрист Шура Ипатов завернул ко мне проездом из Москвы и сагитировал меня поехать в Северодвинск. Ему-то всё равно, он – отпускник, а я топором машу в плотницкой бригаде, дом строю. Но соблазн велик, я плюю на работу, и вот, после четырёх дней прогулов, возвращаюсь с повинной головой в свою деревню. Тогда ещё гражданская авиация была в силе, самолёты летали летом из Архангельска в Каргополь два раза в сутки – ранним утром и вечером. Я стою в аэропорту «Талаги» перед стойкой, где проверяют вещи пассажиров. Все мои вещи: авоська – такая сетчатая сумка типа рыбацкой сетки с ячеей пять на пять сантиметров. Сейчас таких авосек нет, а во второй половине прошлого века авоськи были весьма популярны: идёт человек с авоськой и сквозь дыры в ней видно, чего он несёт. У меня в авоське лежала Библия, которую я давно мечтал почитать и которую удружил на время мне Шура Ипатов. У меня длинные – до плеч – чёрные волосы, одежда на мне оставляет желать лучшего, я выкладываю на стойку Библию и проверяющий милиционер смотрит на меня со странной улыбкой. Я вижу, как стоящие позади и впереди меня попутчики отодвигаются от моей персоны на целый метр. Они наверняка думают, что сейчас меня арестуют: Библия в то время была что-то типа боевой гранаты в наше время. Но страж закона, проверив мой паспорт, пропускает меня в накопитель. Но и там я стою отдельно от всех, точнее, они, сбившись в кучу, стоят отдельно и смотрят на меня с опаской, как на сектанта какого-нибудь.

Ах, как я был рад, получив в свои руки Священное Писание! Кто бы видел, как я потом, уладив всё на работе, светлыми летними вечерами сидел допоздна у себя дома под окошком и старательно переписывал из Библии в школьные тетрадки в клеточку Книгу пророка Екклезиаста или проповедника, Книгу Иова, Книги Притчей и Премудростей Соломоновых. Нет, не зря Шура потащил меня в Северодвинск, не зря я стоял с повинной головой на заседании рабочего комитета, где строгие дяди отчитывали меня за прогулы: Библия, которую я вдруг возмечтал почитать, в очень скором времени пришла ко мне в руки. Книга Книг многое перевернула в моём мировоззрении. Что четыре прогула по сравнению с заключённым в ней смыслом жизни!..

* * *

Дурдом... То есть психбольница номер два. Сюда я попал после неудавшегося любовного романа. Неудача эта была щедро залита спиртным, настолько щедро, что после выхода из алкогольного штопора я услышал потусторонние голоса, обещавшие вырезать мою печёнку и съесть её, ещё тёплую, на моих глазах.

И вот – «палата №6»... Первую ночь по прибытии я кантовался на полу за дверью из железных прутьев. Лампочка под потолком горела до утра. Привели меня сюда, когда обитатели палаты, человек шесть, уже спали на своих железных койках, и только утром я смог по-настоящему рассмотреть общество, в которое попал. Оно было не из приятных – тупые лица с ничего не выражающими глазами. Один такой толстый тип подошёл ко мне и равнодушно сообщил:

Ленин родился в апреле,
Когда расцветает земля,
Когда позабыты метели
И в рощах цветут тополя...

Нас выпустили из палаты – умыться и оправиться. В умывальнике, в барачном коридоре толпились обитатели других палат – с такими же сомнабулическими лицами. Вскоре две женщины в белых халатах принесли бачки с завтраком и поставили их на край длинного стола – коридор барака служил заодно и столовой. Знатор стихов о Ленине подошёл к ним и одним движением руки скинул с себя штаны: мужская плоть в крайне возбуждённом состоянии предстала перед взорами женщин. Я думал: сейчас произойдёт нечто. Но одна из представительниц прекрасного пола равнодушно сказала занявшемуся онанизмом у всех на глазах придурку:

– Кузя, иди мой руки, а то жрать не получишь.

«Вот это попал, так попал», – подумал я про себя и поник буйной головушкой...

Через три года Межиров, познакомившись с моим «дурдомовским» циклом стихов, спросил:

– Вы читали ветхозаветную Книгу Иова?

– Да,— кивнул я, и мы без дальнейших слов поняли друг друга...

Да, всякое было в моей жизни. Что ж, как любил говорить мой покойный дядя Александр Иванович Воронин: жизнь, она такая— и по миру находишься, и с нищими поспишь. Но, как бы там ни было, в самые трудные её моменты я находил успокоение и отдохновение в стихах. Я никогда не забывал о них, нет – я жил ими, бредил ими! В моей голове, хоть в трезвой, хоть в похмельной, всегда крутились какие-то поэтические строчки, свои или чужие – разницы в этом нет.

«...Дни хмурые утрат и тяжкое похмелье – всё в сердце береги как медленное зелье, и, может, в старости тебе настанет срок пять-шесть произнести как бы случайных строк», – сказал поэт. И я берёг, старался беречь. В мои бессонные, безлунные ночи блистали мне не Рубцов так Есенин, не Кедрин так Жигулин, в тяжкие минуты жизни меня спасали стихи великих предшественников: «Я люблю судьбу свою и бегу от помрачений. Суну морду в полынью и напьюсь, как зверь вечерний...»

– эти рубцовские строчки на протяжении нескольких лет были моим девизом. Я верил, я знал – стихи выведут меня с кривой дороги на прямую. Да, верил! Но никогда не думал, что так легко, как по мановению волшебной палочки, перешагну черту, отделяющую печника от поэта. Как-то, живя ещё в деревне, я прочёл в «Литературной газете» статью одного критика, фамилию которого впоследствии забыл. «Печнику никогда не стать поэтом!» – обидная фраза из этой статьи глубоко и надолго запала мне в душу. «А накося выкуси!» – с полным правом сказал бы я сейчас тому критику. «Накося выкуси!»...

Тот, кто ждёт, всё снесёт,
Как бы жизнь не била,
Лишь бы всё, это всё
Не напрасно было. –

Спели мы с Донцовым и выпили ещё по стакану пива. И тут все треволнения, пережитые за последние дни, отступили от нас, а вместе с ними отлетела куда-то и память, и всё дальнейшее покрылось мраком: кто из нас вынес канистру с пивом на балкон и закрыл дверь на ключ, – тайна сия велика есть...

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД...

Славное утро на балконе «Олимпийца» с весёлыми химкинскими и шереметьевскими соловьями, с останкиным пивом и воспоминаниями о вчерашнем дне закончились с последней каплей хмельной жидкости, выжатой Серёгой Донцовым из голубой канистры.

Я вдруг с ужасом вспомнил, что денег у меня – ни копейки. А как же – свадебный костюм? А билет на самолёт до Архангельска? – в то время Аэрофлот был доступен практически каждому гражданину СССР.

Я отыскал в кармане дерматинowego пиджака «двушку», сбежал вниз – в холл и набрал квартирный номер Федя Михайловского, благо телефонное сообщение между Химками и столицей не было междугородним.

Федя снял трубку на том конце провода – оказалось, что он ещё только встал и только ещё собирается выпить чашечку кофе:

– Шура, чего тебе не спится в такую рань? Время-то ещё – шесть утра! Какие новости?

И я ошеломил его новостью – тем, что меня приняли в Союз писателей СССР.

– Да ну? – не поверил Федя. Но, помолчав немножко, всё-таки поверил:

– Поздравляю! Я считаю – заслуженно! Молодец, Шура! Кстати, тут перевод на моё имя и адрес от Константина Савельева из Харькова. Но деньги тебе предназначены – 200 рублей. Когда приедешь к нам? Сегодня? Я буду дома после трёх часов. Жду! И ещё раз поздравляю!

У меня камень с души упал! Авиабилет до Архангельска стоил 25 рублей, приличный мужской костюм-тройка 140–150 рублей. А от Архангельска до моего родного Каргополя можно было долететь тогда за 15 рублей. О-кей! Всё хорошо, что хорошо кончается!

В 8.00. к «Олимпийцу» подкатили уже знакомые нам «Икарусы», чтобы доставить участников совещания в Первопрестольную. Участники собирались долго – многие, несмотря на строгие запреты безалкогольной зоны, ещё только продирали глаза с глухого похмелья.

Мы с Донцовым и Хомяковым – поникшим и грустным – вышли с нехитрыми вещичками на улицу и там в течение почти двух часов описывали круги около «Икарусов». Действие пива начало проходить, на душе, после стольких дней возлияний, становилось мутно и противно. Ко мне подошёл Великий Магистр Ордена куртуазных маньяристов Вадим Степанцов и поздравил со вступлением в Союз.

Теперь Степанцов частенько мелькает на телеэкране вместе с музыкальной группой «Бахыт-компот», для которой пишет тексты песен. В одной центральной газете я прочёл статью о нём под названием «Вадим Степанцов сварил на Мальте "Бахыт-компот"». Вон куда занесло Вадима – аж на остров Мальту. Ну и пусть его, парень он талантливый, одна идея основания Ордена куртуазных маньяристов чего стоит! Когда мы заканчивали Литинститут, маньяристы издали в Москве сборник своих стихов – его расхватали за несколько дней, весь тираж! Один из «куртуазников» – Виктор Пеленягрэ стал также известен в России благодаря написанному им тексту песни «Как упоительны в России вечера». Правда, в последних двух сборниках маньяристов «Клиенты Афродиты» и «Услады киборгов» (они стоят у меня на полке) авторы ушли от настоящей куртуазности, стихи их стали пошлыми – в угоду «новым русским» воспевающим в основном постельные сцены в залитых дорогами винами альковах. Что ж, каждый в условиях дикого рынка выживает, как умеет. Только жаль, что талант того же Вадима растрачивается не на то.

...А потом мы поехали в Москву, где неисповедимые пути Господни привели нас с Серёгой Донцовым на Тверской бульвар, в скверик около «Макдональса» между Пушкинской площадью и нашим Литинститутом.

Перед отъездом из «Олимпийца» я занял у новосибирского фантаста Женьки Носова пару червонцев – до осени. В палатке около «Макдональса» мы с Серёгой купили на эти червонцы по бутылке пива, присели на скамеечку спиной к бронзовому

Пушкину и стали медленно потягивать пиво прямо из горлышек. Нам предстояла разлука, отчего на душе тоже лежала печаль – за эти несколько дней мы многое пережили вместе.

– Я теперь в Леонтьево поеду, к Андрею Алексееву, – обнарудовал свой план Донцов, – может, поработаю в его бригаде – на прополке или ещё где-нибудь...

Той же осенью Серёга прогремел на весь Союз – журнал «Литературная учёба», выходящий тогда миллионным тиражом, дал с лёгкой руки Коли Шипилова – донцовского земляка – громадную подборку его стихов.

В следующий раз я встретил Серёгу только уже в 1991 году, будучи на сессии, в самом конце её. Донцов уже жил с Леночкой Чукиной, он сидел весь такой ухоженный на подоконнике третьего этажа и курил хорошую сигарету. Мы с Серёгой Бойцовым, безденежные и жалкие с похмелья, попытались стрельнуть у него денег на пару кружек пива. Но он отказал нам, хотя по выражению его глаз деньги у Донцова были. Он докурил сигарету, обменялся со мной парой ничего не значащих фраз и пошёл на верхние этажи – к своей Леночке Чукиной. Больше я его не видел. Правда, в 2002 году наткнулся в Интернете на его имя – Донцов возглавлял писательскую организацию одной из областей средней полосы России. Я написал ему письмо по данному на сайте электронному адресу, но ответа так и не получил.

А пока мы с Донцовым сидели на скамеечке на Тверском бульваре и смотрели, как газонокосильщик «причёсывает» молодую травку в сквере. Спустя три месяца у меня родилось стихотворение, посвящённое этому моменту и Донцову, правда, в свои сборники я его не включал, считая не совершенным:

В Москве начался сенокос
Без митингов и матерщины.
Трещит, как тысяча стрекоз,
Стригущая траву машина.

Идёт машина по кривой
Вблизи от шума городского,
И пахнет скошенной травой
На всех скамеечках Тверского.

Мы на скамеечке сидим,
В московское вникаем лето,
Смакуем сигаретный дым
И скорбно горбимся при этом.

Нам хорошо сидеть, молчать,
Мы поплутали по столице –
Лежит усталости печать
На наших башмаках и лицах.

Где только не бывали мы,
В каких застольях не сидели!
Нас знали разные умы –
В нас все поэтов разглядели!

Идя по кругу, тарахтит
Стригущая траву машина.
И Пушкин бронзовый глядит
На наши сторбленные спины...

А потом была радостная встреча с Федей. Мы с ним и его женой Леной сходили в магазин, купили мне костюм, потом целый вечер сидели на кухне за бутылкой армянского коньяка и потихоньку цедили его, обмывая мой «триумф».

Я ночевал у Феде, на следующее утро он поехал провожать меня в Шереметьево, мы вышли из подъезда и здесь же, с лотка, я купил два килограмма спелой черешни – первой летней ягоды. Так – с черешней, с новым свадебным костюмом и пока ещё не подтверждённым заветным билетом членством в Союзе писателей, через каких-то три часа я стоял у двери квартиры любимой мной женщины в городе Архангельске. И была чудесная встреча, чудесный вечер и не менее чудесная ночь.

А через день я уже докладывал начатую мной неделю назад печку в новой школе в своей деревне. Володька Иванус – мой помощник – сдержал своё слово: ни одного кирпича в моё отсутствие не положил...

КОНЕЦ

2000–2003